



Флоринда Доннер

ШАБОНО

ПУТЬ ЖЕНЩИНЫ-ВОЙЩИЦЫ ИЗ ПАРТИИ НАТКА И
КАРЛОСА КАСТАНЕДЫ

LITRU.RU

Annotation

Редкая, прекрасная книга Флоринды Доннер, женщины-сталкера из группы магов Нагваля Карлоса Кастанеды, приглашает читателя совершить путешествие в мир индейцев племени Яномама из Южной Америки. Объединяя в себе правду и вымысел, она передает захватывающие картины призрачного света джунглей, необычные настроения и чувства, и, что самое главное, она передает ощущение волшебства и силы индейского ритуала. Очаровательная, тонкая, волшебная и правдивая книга...

Шабонo

Доннер Флоринда

Шабано

Истинное приключение в магической глуши южноамериканских джунглей

Пятиногому пауку, который носил меня на своей спине

«По-моему, „Шабано“ — это шедевр литературы, магии и социальной науки».

Карлос Кастанеда

Редкая, прекрасная книга Флоринды Доннер, женщины-сталкера из группы магов нагваля Карлоса Кастанеды, приглашает читателя совершить путешествие в мир индейцев племени Яномама из Южной Америки. Объединяя в себе правду и вымысел, она передает захватывающие картины призрачного света джунглей, необычные настроения и чувства и, что самое удивительное, она передает ощущение волшебства и силы индейского ритуала.

... Книгу переполняет ощущение неистовой мифической мистери...

Флоринда Доннер провела год среди людей, жизнь которых не изменилась с каменного века, в мире, где мужчины и женщины все еще выполняют странные ритуалы, где «шапори» излечивают недуги, призывая духов-хекур, где верят в освобождение души от тела после смерти, когда душа поднимается в Дом Грома — незабываемый мир изысканной красоты и магии.

Кроме всего прочего, описание Доннер — это язык и образы, перед которыми невозможно устоять. Она уверенно представляет нам миф о примитивных первобытных людях, делая образы самих Итикотери незабываемыми для читателя.

Kirkus Reviews

Очаровательный рассказ... Полон пронизательных наблюдений, зовущих читателя к приключениям.

Bestsellers

Очаровательная... тонкая, волшебная и правдивая книга.

Fort Worth Star Telegram

Путешествие в отдаленный волшебный мир Итикотери...

Шабано это особенный роман. Он захватывает интерес читателя с первой страницы. Книгу переполняет ощущение неистовой мифической мистери.

Grand Rapids Press

Если бы Маргарет Миид и Карлос Кастанеда сотрудничали, они могли бы написать что-нибудь похожее на *Шабано*. Здесь, конечно же, есть антропологическая информация, но она органично вплетена в повествование. Книга содержит описание значительно глубже требуемого для объективного антропологического исследования... Вы, безусловно, с наслаждением прочтете эту книгу. Ее просто переполняют приключения и атмосфера безудержной жизни.

The Chattanooga Times

Необычайный... и странный рассказ.

Newsweek

Вступление

Индейцы *Яномама*, известные также в антропологической литературе как *Ваика*, *Шаматару*, *Барафири*, *Ширишана* и *Гвахарибо*, населяют наиболее изолированные районы вдоль южных границ Венесуэлы и северных — Бразилии. По приблизительной оценке, их от двадцати до тридцати тысяч, и живут они на площади приблизительно в семь тысяч квадратных миль. Эта территория заключена между истоками рек Ориноко, Мавака, Сьяпо, Окамо, Падамо и Вентуари — в Венесуэле и Урарикоэра, Катримани, Димини и Арача — в Бразилии.

Яномама живут в разбросанных по лесу деревушках, называемых *шабоно*, которые состоят из крытых пальмовыми листьями хижин. Население каждого из этих отдаленных друг от друга поселений варьируется между sixtyю и сотней человек. Некоторые *шабоно* располагаются неподалеку от католических или протестантских миссий или в других районах, доступных белому человеку, другие — глубже в джунглях. И в наше время существуют настолько изолированные деревни, что у них до сих пор отсутствуют всякие связи с внешним миром.

Эта книга повествует о моей жизни с Итикотери, жителями одного из таких неизвестных *шабоно*, и представляет собой что-то вроде субъективного антропологического исследования, которое я проводила, изучая целительские практики в Венесуэле.

Моя работа как антрополога основывается на том, что именно объективность определяет качество антропологического исследования. Но так случилось, что во время моего совместного существования с этой группой людей *Яномама* мне не удалось сохранить дистанцию и независимость, необходимые для такого исследования. Особые узы признательности и дружбы с ними сделали для меня невозможным интерпретировать факты или делать выводы из того, что я видела или чему научилась. Возможно, оттого, что я женщина, или из-за моих физических особенностей и некоторых черт характера вначале я была склонна не доверять индейцам. Они же приняли меня как послушную чудачку, и я могла, уловив удобный момент, приспособливаться к особому ритму их жизни.

Работая над этой книгой, я сделала в предварительных записях два изменения. Первое нужно было сделать с именами — название Итикотери так же, как и имена всех описанных в книге людей, вымышленное. Второе изменение коснулось стиля. Для драматического эффекта я изменила последовательность событий, а для удобства чтения представила диалоги, используя свойственный английскому синтаксис и грамматические структуры. Разве можно было литературно перевести их язык, если я не способна даже достаточно компетентно судить о его сложности, гибкости и высокопоэтических метафорических выражениях. Многообразие суффиксов и префиксов придает языку *Яномама* тончайшие оттенки значений, которые не имеют аналогов в английском языке.

Несмотря на то что я долго и настойчиво училась, пока сумела различить и воспроизвести большинство их слов, я никогда не смогу говорить на их языке свободно. Однако неспособность овладеть языком не стала помехой при общении с ними. Я научилась «говорить» намного раньше, чем овладела адекватным словарем. Общение было скорее физическим ощущением, чем фактическим обменом словами. Насколько точным был такой взаимообмен, — это уже другое дело. И для меня, и для них это было эффективно. Они извиняли меня за то, что я не всегда могла себя выразить или понять все то, что они передавали словами; кроме того, они и не рассчитывали, что я справлюсь со всеми тонкостями и сложностями их языка. *Яномама* так же, как и мы сами, имеют свои собственные предубеждения: они считают, что белые инфантильны и поэтому менее понятливы.

Основные имена

Иतिकотери (*Eetee Co Teh Ree*)

Действующие лица

Анхелика (*An geh lee ca*)

Старая индеанка из католической миссии, которая организовала путешествие в деревню

Иतिकотери.

Милагрос (*Mee la gros*)

Сын Анхелики, человек, принадлежащий двум мирам, — индейцев и белых людей.

Пуривариве (*Puh ree wah ree weh*)

Брат Анхелики, старый шаман поселения Иतिकотери.

Камосиве (*Kah mah see weh*)

Отец Анхелики.

Арасуве (*Arah suh weh*)

Зять Милагроса, вождь Иतिकотери.

Хайяма (*Hah yah mah*)

Старшая сестра Анхелики, теща Арасуве, бабушка Ритими.

Этева (*Eh teh wah*)

Зять Арасуве.

Ритими (*Ree tee mee*)

Дочь Арасуве, старшая жена Этевы.

Тутеми (*Tuh teh mee*)

Вторая, молодая жена Этевы.

Тешома (*Teh sho tuh*)

Четырехлетняя дочь Ритими и Этевы.

Сисиве (*See see wee*)

Шестилетний сын Ритими и Этевы.

Хоашиве (*How ba shee weh*)

Новорожденный сын Тутеми и Этевы.

Ирамамове (*Eerah mah moh weh*)

Брат Арасуве, шаман поселения Иतिकотери.

Шорове (*Shoh roh weh*)

Сын Ирамамове.

Матуве (*Mah tuh weh*)

Младший сын Хайямы.

Шотоми (*Shoh toh weh*)

Дочь Арасуве, невестка Ритими.

Мокототери (*Moh coh toh teh ree*)

Жители соседнего шабоно.

Я почти спала, но все же могла ощущать людей,двигающихся вокруг меня. Как будто очень издалека доносилось тихое шуршание босых ног по грязному полу хижины, покашливание, отхаркивание и слабые голоса женщин. Я медленно открыла глаза. Еще не совсем стемнело. В полутьме я могла видеть Ритими и Тутеми, их обнаженные тела, склонившиеся над очагом, где еще тлели угли ночного огня. Листья табака, наполненные водой бутылки из тыквы, колчаны, полные стрел с отравленными наконечниками, черепа животных и пучки зеленых бананов, подвешенные к потолку из пальмовых листьев, казалось, замерли в воздухе под слоем поднимающегося дыма.

Зевнув, Тутеми встала. Она потянулась, затем, перегнувшись через край гамака, взяла Хоашиве на руки.

Тихонько хихикая, она приблизила лицо к животу ребенка.

Пробормотав что-то неразборчивое, она запихнула свой сосок в рот ребенка и со вздохом опустила в гамак.

Ритими достала несколько сухих листьев табака и окунула их в тыквенную флягу с водой, затем взяла один влажный лист и, прежде чем свернуть его в шарик, посыпала золой. Положив шарик между десной и нижней губой, она принялась шумно сосать его, продолжая готовить два других. Один она дала Тутеми, а потом подошла ко мне. Я закрыла глаза, притворяясь, что сплю. Присев на корточки у изголовья моего гамака, Ритими сунула свой пахнувший табаком, влажный от слюны палец между моей десной и нижней губой, но не оставила шарик у меня во рту. Посмеиваясь, она направилась к Этеве, который наблюдал за ней из своего гамака. Она сплюнула свой шарик на ладонь и протянула ему. Легкий вздох вырвался из ее губ, когда она поместила третий шарик себе в рот и улеглась сверху на Этеву.

Хижина наполнилась дымом от очага, и огонь окончательно согрел прохладный сырой воздух. Пылающий день и ночь очаг был центром каждого жилища. Пятна копоти, остающиеся на пальмовых перекрытиях, отделяли один семейный очаг от другого, так что никто не строил стен между хижинами. Они располагались так близко, что смежные крыши частично перекрывали друг друга, создавая впечатление одного громадного кольцевого жилища. Главный проход в *шабоно* состоял из нескольких узких промежутков между двумя-тремя хижинами. Каждая хижина поддерживалась двумя длинными и двумя короткими шестами. Более высокая сторона хижины была открыта и обращена к расчищенному месту в центре *шабоно*. Снаружи низкая сторона хижины была закрыта закрепленной у крыши клиньями стеной из коротких столбов.

Тяжелый туман окутывал деревья вокруг. Листья пальм, свисающие с внутренней стороны хижины, причудливо вырисовывались на сером фоне неба.

Охотничья собака Этевы подняла голову и, не проснувшись полностью, широко зевнула. Я закрыла глаза, впадая в дремоту от запаха бананов, жарящихся на огне. У меня затекла спина и болели ноги после того, как я практически целый день провела на корточках, выпалывая сорняки в садах неподалеку.

Я неожиданно открыла глаза от того, что гамак сильно раскачивался, а маленькое колено давило мне на живот.

Инстинктивно я опустила сетку гамака, чтобы уберечься от тараканов и пауков, постоянно падавших с пальмовой крыши.

По крыше и вокруг меня смеясь ползали дети. По сравнению с моей кожа у них была нежнее и теплее. Практически каждое утро с тех пор, как я приехала, дети приходили ко мне и

трогали своими пухлыми руками мое лицо, грудь, живот и ноги, уговаривая меня назвать каждую часть тела. Я притворилась, что сплю, и громко захрапела. Два малыша приютились у меня по бокам, а маленькая девочка сверху, давя своей темной головкой в мой подбородок. Они пахли дымом и пылью.

Когда я впервые пришла в их деревню глубоко в джунглях между Венесуэлой и Бразилией, то не знала ни слова на их языке. Но для восьмидесяти человек, населяющих *шабоно*, это не стало препятствием для того, чтобы принять меня. Для индейцев не понимать их язык равносильно тому, что ты *ака boreki* — немой. То есть меня кормили, любили и прощали; ошибки не замечались, как будто я была ребенком. Большинство моих промахов сопровождалось неистовыми взрывами смеха, который сотрясал их тела до тех пор, пока они не валились на землю и слезы не наполняли их глаза.

Давление крошечной ручки на мою щеку прервало мои воспоминания. Тешома, четырехлетняя дочь Ритими и Этевы, лежащая на мне, открыла глаза и, пододвинув свое лицо к моему, начала моргать густыми ресницами напротив моих.

— Разве ты не хочешь встать? — спросила малышка, запуская свой палец в мои волосы. — Бананы готовы.

Мне не хотелось покидать теплый гамак.

— Интересно, сколько месяцев я провела здесь? — спросила я.

— Много, — в унисон ответило три голоса.

Я не удержалась от улыбки. В ответе слышалось звучание более трех голосов.

— Да, много месяцев, — тихо произнесла я.

— Ребенок Тутеми еще спал у нее в животе, когда ты пришла, — прошептала Тешома, приютившись напротив меня.

Я не то чтобы перестала отдавать себе отчет о времени, но дни, недели и месяцы потеряли свои четкие границы.

Только настоящее имело здесь значение. Для этих людей важно было лишь то, что происходило каждый день среди зеленых покровов леса. Вчера и завтра, говорили они, так же неопределенны, как и мимолетные сны, хрупкие, как паутина, которая заметна лишь когда луч света проникает сквозь листву.

В течение нескольких первых недель отсчет времени был у меня навязчивой идеей. Я не снимала самозаводящиеся часы днем и ночью и записывала в дневник каждый восход солнца, как будто от этого зависело мое существование. Я не могу точно определить, когда именно во мне произошло странное коренное изменение. Но верю, что все это началось даже до того, как я приехала в поселение Итикотери, — в маленьком городке восточной Венесуэлы, где я изучала целительские практики.

После транскрибирования, перевода и анализа многочисленных магнитофонных записей и сотен страниц заметок, собранных в течение многих месяцев работы с тремя целителями в районе Барловенто, я начала серьезно сомневаться в целях и обоснованности моих исследований. Все попытки впихнуть информацию в имеющие смысл теоретические рамки оказались бесплодными, потому что материал изобилует противоречиями и несоответствиями.

Основной смысл моей работы был в том, чтобы определить значение, которое целительские практики имеют для самих целителей и для их пациентов в контексте повседневной деятельности. Особый интерес представляло исследование того, как социальные условия в терминах здоровья и болезни отражались на их совместной деятельности.

Я убедилась, что необходимо овладеть особой манерой, при помощи которой целители относятся друг к другу и к своим знаниям; только таким образом я смогу ориентироваться в их социуме и внутри их собственной системы интерпретаций. И тогда отчет превратился бы в

систему, которой я могла бы оперировать, не налагая собственный культурный опыт.

Занимаясь этой работой, я жила в доме доньи Мерседес, одной из трех целителей, с которыми работала. Я не только записывала на магнитофон, наблюдала и интервьюировала целителей и их многочисленных пациентов, но также принимала участие в лечебных сеансах, полностью погружаясь в новую обстановку.

Но несмотря на все свои усилия, я день за днем сталкивалась с вопиющим несоответствием их лечебных практик с их собственным толкованием этих практик.

Донья Мерседес смеялась над моим замешательством и считала его следствием недостатка гибкости в принятии изменений и новшеств.

— Ты уверена, что я говорила это? — спросила она после прослушивания одной из записей по моему настоянию.

— Ну не я же! — едко заметила я и начала читать свои заметки, надеясь, что она осознает противоречивость информации, которую мне дает.

— Это прекрасные звуки, — сказала донья Мерседес, прерывая мое чтение. — И ты действительно имеешь в виду меня? Ты сделала из меня настоящего гения. Прочти мне заметки о твоих сеансах с Рафаэлем и Серафино.

Так звали двух других целителей, с которыми я работала.

Я сделала, как она просила, потом перемотала пленку и прослушала запись еще раз, надеясь, что это поможет мне разобраться с противоречивой информацией. Однако донью Мерседес абсолютно не интересовало то, что она сказала месяц назад. Для нее это было чем-то давно прошедшим, и поэтому не имело значения. Она бесцеремонно дала мне понять, что магнитофон ошибся, записав нечто, чего она не говорила.

— Если я действительно сказала все это, то это твоих рук дело. Всякий раз, когда ты спрашиваешь меня о целительстве, я начинаю говорить, не зная заранее, о чем.

Именно ты всегда помещаешь слова в мой рот. Если знаешь как лечить, тебе не нужно суесться, делая записи или разговаривая об этом. Тебе нужно только делать это.

Я не могла согласиться с тем, что моя работа бесполезна, и решила познакомиться с двумя другими целителями.

К моему огромному разочарованию, это совершенно не помогло мне. Они подтвердили все несоответствия и описали их еще более явно, чем донья Мерседес.

Теперь, когда прошло много времени, мне кажется смешным все это беспокойство по поводу моих неудач.

Однажды в приступе гнева я спровоцировала донью Мерседес сжечь все мои заметки. Она охотно согласилась и, сжигая лист за листом, зажгла одно из кадил у статуи Девы Марии на алтаре в ее рабочей комнате.

— Я действительно не могу понять, почему ты так огорчилась из-за того, что сказала твоя машина и что — я, — заметила донья Мерседес, зажигая второе кадило на алтаре. — Какая разница в том, что делаю я сейчас и что делала несколько месяцев назад? Единственное, что имеет смысл, это то, что больные выздоровели. Несколько лет тому назад сюда приезжали психолог и социолог. Они записали все, что я сказала, на такую же машину, как у тебя. Я полагаю, их машина была лучше: она была намного больше. Они побыли здесь всего неделю. По полученной информации они написали книгу о целительстве.

— Знаю я эту книгу, — огрызнулась я. — И не думаю, что это настоящее исследование. Оно примитивно, поверхностно и неверно истолковано.

Донья Мерседес лукаво посмотрела на меня, в ее взгляде читалась смесь сострадания и мольбы. Я молча смотрела на последнюю страницу, превращающуюся в пепел, но не беспокоилась о том, что она сделала; у меня был еще английский перевод записей и заметок.

Она встала со своего стула и села рядом со мной на деревянной скамье.

— Ты очень скоро почувствуешь, какой тяжкий груз свалился с твоих плеч, — утешила меня она.

Я была вынуждена пуститься в многословное объяснение, касающееся важности изучения незападных лечебных практик. Донья Мерседес внимательно слушала с неискренней улыбкой на лице.

— На твоём месте, — посоветовала она, — я бы приняла предложение твоих друзей поехать на охоту на реку Ориноко. Я думаю, ты не пожалеешь об этом.

Несмотря на то, что мне хотелось вернуться в Лос-Анжелес как можно скорее, чтобы закончить работу, я серьёзно обдумывала приглашение моего друга отправиться в двухнедельную поездку в джунгли. Охота меня не интересовала, но я верила, что может предоставиться возможность встречи с шаманом или посещения целительской церемонии при помощи одного индейского гида, которого мой друг планировал нанять по прибытии в католическую миссию, бывшую последним оплотом цивилизации.

— Я думаю, мне стоит поехать, — сказала я донье Мерседес. — Может быть, я встречу великого индейского целителя, который расскажет мне то, чего не знаешь даже ты.

— Я уверена, ты услышишь множество интересных вещей, — засмеялась донья Мерседес. — Но не спеши их записывать, там тебе не следует делать никаких исследований.

— В самом деле? Откуда ты это знаешь? — Вспомни, я — bruja, — сказала она, потрепав меня по щеке.

Ее глаза были полны невыразимой доброты.

— И не беспокойся о твоих английских записях, спрятанных в столе. К тому времени, когда ты вернешься, они тебе уже не будут нужны.

Неделю спустя я вместе со своим другом летела в маленьком самолете в одну из католических миссий в верхнем течении Ориноко. Там мы должны были встретиться с остальными членами группы, которые несколькими днями раньше тронулись в путь на лодке с охотничьим снаряжением и запасом продуктов, достаточным для двухнедельного пребывания в джунглях.

Мой друг жаждал показать мне все прелести мутного и бурного Ориноко. Он отважно и мастерски маневрировал своим самолетиком. В какой-то момент мы так низко пролетели над поверхностью воды, что распугали аллигаторов, нежившихся под солнышком на песчаной отмели. В следующее мгновение мы уже были высоко в воздухе над бескрайним непроходимым лесом. Не успевала я перевести дух, как он снова пикировал, причем так низко, что мы могли разглядеть черепах, гревшихся на древесных стволах у речных берегов.

Меня трясло от тошноты и головокружения, когда мы наконец приземлились на небольшой площадке рядом с возделанными полями миссии. Нас радушно встретили отец Кориолано, священник, возглавлявший миссию, остальные члены группы, прибывшие днем раньше, и несколько индейцев, которые, возбужденно галдя и толкаясь, пытались забраться в маленький самолетик.

Отец Кориолано повел нас мимо посевов маиса, маниоки, банановых и тростниковых плантаций. Это был тощий, длиннорукий и коротконогий человек. Под тяжелыми бровями прятались глубоко сидящие глаза, а все лицо покрывала густая, давно не стриженная борода. С его черной сутаной явно не вязалась потрепанная соломенная шляпа, которую он постоянно сдвигал на затылок, чтобы дать ветерку подсушить вспотевший лоб.

Пока мы дошли до грубо сколоченного причала из вбитых в илистый берег свай, к которому была привязана лодка, одежда влажно облепила мое тело. Здесь мы остановились, и отец Кориолано заговорил о нашем завтрашнем отъезде. А меня окружила группа индейских женщин, не говоривших ни слова, лишь робко мне улыбавшихся. Их мешковатые платья задирались спереди и обвисали сзади, так что можно было подумать, что все они беременны.

Среди них была одна старушка, такая маленькая и сморщенная, что походила на старого ребенка. Она не улыбалась, как другие. В глазах старушки, протянувшей мне руку, стояла немая мольба. Я испытала какое-то странное чувство, увидев ее полные слез глаза; я не хотела, чтобы они покатались по ее щекам цвета глины. Я подала ей руку. С довольной улыбкой она повела меня к фруктовым деревьям, окружавшим длинное одноэтажное здание миссии.

В тени широкого навеса, как бы продолжавшего шиферную крышу, сидели на корточках несколько стариков с эмалированными жестяными кружками в дрожащих руках. Все они были в одежде цвета хаки, их лица наполовину скрывали пропотевшие соломенные шляпы.

Они смеялись и болтали высокими визгливыми голосами, причмокивая над кофе, щедро сдобренным ромом. На плечах одного из них восседала пара крикливых попугаев с яркими подрезанными крыльями.

Я не разглядела ни лиц этих людей, ни цвет их кожи.

Говорили они вроде бы по-испански, но я их не понимала.

— Кто эти люди, индейцы? — спросила я старуху, когда та привела меня в комнатку в дальней части одного из окружавших миссию домов.

Старушка рассмеялась. Она направила на меня спокойный взгляд глаз, еле видных сквозь узкие щелочки век.

— Это *racionales*. Тех, кто не индейцы, называют *racionales*, — повторила она. — Эти

старики здесь уже очень давно. Они приходили сюда искать золото и алмазы.

— Нашли что-нибудь? — Многие нашли.

— Почему же они все еще здесь? — Это те, кто не может вернуться туда, откуда пришли, — сказала она, положив костлявые руки мне на плечи.

Меня не удивил этот жест. В ее прикосновении было столько сердечности и нежности. Я просто подумала, что она немного не в себе.

— Они потеряли в лесу свои души.

Глаза старухи расширились; они были цвета табачных листьев.

Не зная, что сказать, я отвела глаза от ее пристального взгляда и осмотрела комнату. Покрывавшая стены голубая краска выгорела на солнце и слущивалась от сырости. Возле узкого окна стояла грубо сколоченная деревянная кровать. Она походила на огромную колыбель, затянутую противомоскитной сеткой. Чем дальше я на нее смотрела, тем больше она напоминала клетку, в которую можно попасть, лишь подняв тяжелый затянутый сеткой колпак.

— Меня зовут Анхелика, — сказала старуха, не сводя с меня внимательных глаз. — Это все, что ты с собой привезла? — спросила она, снимая у меня со спины оранжевый рюкзак.

В немом изумлении я смотрела, как она достает оттуда мое белье, пару джинсов и длинную майку.

— Это все, что понадобится мне на две недели, — сказала я, указывая на фотоаппарат и туалетный набор на дне рюкзака.

Она осторожно вынула фотоаппарат, расстегнула пластиковую косметичку и вытряхнула ее содержимое на пол. Там был гребень, маникюрные ножницы, зубная паста и щетка, флакончик шампуня и кусок мыла. Удивленно покачав головой, она вывернула рюкзак наизнанку и рассеянным жестом убрала прилипшую ко лбу прядь темных волос. В глазах ее промелькнуло какое-то смутное воспоминание, а лицо сморщилось в улыбке. Она снова уложила все в рюкзак и, ни слова не говоря, отвела меня обратно к друзьям.

После того как вся миссия погрузилась в тишину и мрак, я еще долго не спала, прислушиваясь к незнакомым ночным звукам, доносившимся через раскрытое окно. Не знаю, то ли из-за усталости, то ли из-за пронизывающей всю миссию атмосферы покоя, но в тот вечер, перед тем как заснуть, я решила не ехать с друзьями в охотничью экспедицию. Вместо этого я собралась провести две недели в миссии. Никто, к счастью, не возражал. Напротив, все, кажется, почувствовали облегчение. Не говоря этого вслух, кое-кто из моих друзей считал, что человеку, не умеющему обращаться с ружьем, на охоте делать нечего.

Я заворожено смотрела, как прозрачная синева воздуха растворяет ночные тени. По всему небу разливался этот мягкий оттенок, выявляя очертания ветвей и листья, качающейся на ветерке у моего окна. Одинокий крик обезьяны-ревуна был последним, что я услышала, прежде чем провалиться в глубокий сон.

— Стало быть, вы антрополог, — сказал на следующий день за ланчем отец Кориолано. — Все антропологи, которых мне доводилось видеть до сих пор, были нагружены звукозаписывающей и снимающей аппаратурой и еще Бог весть какой всячиной. — Он предложил мне еще порцию запеченной рыбы и кукурузы в тесте. — Вас интересуют индейцы? Я объяснила ему, чем занималась в Барловенто, упомянув и те трудности, с которыми столкнулась при получении данных.

— Пока я здесь, я хотела бы увидеть несколько сеансов исцеления.

— Боюсь, что здесь вы вряд ли что-нибудь такое увидите, — сказал отец Кориолано, выбирая застрявшие в бороде крошки маниоковой лепешки. — У нас тут хорошо оборудованный диспансер. Индейцы издалика приводят сюда больных. Но я, возможно, смогу устроить вам посещение какой-нибудь деревни поблизости, где вы могли бы повидать шамана.

— Если такое возможно, я была бы вам очень признательна, — сказала я. — Не могу сказать, что я приехала сюда заниматься работой в поле, но увидеть шамана было бы интересно.

— Не очень-то вы похожи на антрополога. — Густые брови отца Кориолано поднялись и сдвинулись. — Конечно, большинство тех, кого я встречал, были мужчины, но было и несколько женщин. — Он почесал голову. — Вы как-то не соответствуете моему представлению о женщине-антропологе.

— Не можем же мы все быть похожими друг на друга, — легким тоном сказала я, подумывая, кого это он мог встретить.

— Пожалуй, верно, — сказал он застенчиво. — Я просто хочу сказать, что на вид вы не совсем взрослая. Сегодня утром после того, как уехали ваши друзья, разные люди спрашивали меня, почему они оставили ребенка у меня.

Его глаза живо засветились, когда он стал подтрунивать над индейцами, ожидающими, что взрослый белый непременно должен превосходить их ростом.

— Особенно когда у них светлые волосы и голубые глаза, — сказал он. — Считается, что они-то должны быть настоящими великанами.

В эту ночь в моей затянутой сеткой колыбели мне привиделся жуткий кошмар. Мне приснилось, будто ее крышка намертво прибита гвоздями. Все мои попытки вырваться на свободу разбивались о плотно пригнанную крышку. Меня охватила паника. Я закричала и стала трясти раму, пока вся эта хитроумная конструкция не опрокинулась вверх дном. Все еще в полусне я лежала на полу, голова моя покоилась на обвисшей груди старухи.

Какое-то время я не могла вспомнить, где я. Детский страх заставил меня теснее прижаться к старой индеанке, я знала, что здесь я в безопасности.

Старуха растирала мне макушку и нашептывала на ухо непонятные слова, пока я окончательно не проснулась.

Уверенность и покой вернулись ко мне от ее прикосновения и непривычного гнусавого голоса. Это чувство не поддавалось разумному объяснению, но было в ней нечто такое, что заставляло меня прижиматься к ней. Она отвела меня в свою комнатку за кухней. Я улеглась рядом с ней в привязанном к двум столбам тяжелом гамаке. Чувствуя оберегающее присутствие этой странной старой женщины, я без всякого страха закрыла глаза. Слабое биение ее сердца и капли воды, просачивающейся сквозь глиняный жбан, увели меня в сон.

— Тебе намного лучше будет спать здесь, — сказала на другое утро старуха, подвешивая мой хлопчатобумажный гамак рядом со своим.

С того дня Анхелика не отходила от меня ни на шаг.

Большую часть времени мы проводили у реки, болтая и купаясь у самого берега, где красно-серый песок напоминал золу, смешанную с кровью. В полном умиротворении я часами наблюдала за тем, как индеанки стирают одежду, и слушала рассказы Анхелики о былых временах. Словно бредущие по небу облака, ее слова сливались с образами женщин, полощущих белье и раскладывающих его на камнях для просушки.

В отличие от большинства индейцев в миссии, Анхелика не принадлежала к племени Макиритаре. Совсем молоденькой ее выдали за мужчину из этого племени. Она любила повторять, что он хорошо с ней обращался. Она быстро усвоила их обычаи, которые не особенно отличались от обычаев ее народа. А еще она побывала в городе. Она так и не сказала мне, в каком именно. Не сказала она и своего индейского имени, которого, согласно обычаям ее народа, нельзя было произносить вслух.

Стоило ей заговорить о прошлом, как ее голос обретал непривычное для моих ушей звучание. Она начинала гнусавить и часто переходила с испанского языка на родной, путая место и время событий. Нередко она останавливалась посреди фразы; лишь несколько часов

спустя, а то и на другой день она возобновляла разговор с того самого места, на котором остановилась, словно беседа в такой манере была самым обычным делом на свете.

— Я отведу тебя к моему народу, — сказала Анхелика как-то после полудня, взглянув на меня с мимолетной улыбкой. Я почувствовала, что она готова сказать больше, и подумала, не знает ли она, что отец Кориолано договорился с мистером Бартом, чтобы тот взял меня с собой в ближайшую деревню Макиритаре.

Мистер Барт был американским старателем, который больше двадцати лет провел в венесуэльских джунглях. Он жил ниже по течению с женой-индеанкой и по вечерам частенько по собственной инициативе заходил в миссию на ужин. Хотя желаниа возвращаться в Штаты у него не было, он с огромным удовольствием слушал рассказы о них.

— Я отведу тебя к моему народу, — повторила Анхелика. — Туда много дней пути. Милагрос поведет нас через джунгли.

— Кто такой Милагрос? — Индеец, как и я. Он хорошо говорит по-испански. — Анхелика с явным ликованием потерла руки. — Он должен был быть проводником у твоих друзей, но решил остаться.

Теперь я знаю, почему.

В голосе Анхелики была странная глубина; глаза ее блестели, и снова, как в день приезда, мне показалось, что она немного не в себе.

— Он с самого начала знал, что понадобится нам как проводник, — сказала старуха.

Веки ее опустились, словно у нее не осталось больше сил поднять их. Внезапно, будто испугавшись что уснет, она широко раскрыла глаза.

— И неважно, что ты мне сейчас скажешь. Я знаю, что ты пойдешь со мной.

Эту ночь я лежала в гамаке, не в силах заснуть. По дыханию Анхелики я знала, что она спит. А я молилась, чтоб она не забыла о своем предложении взять меня с собой в джунгли. В голове у меня вертелись слова доньи Мерседес: «К тому времени, как ты вернешься, твои записи тебе уже не понадобятся». Может, у индейцев я проведу кое-какую полевую работу. При этой мысли мне стало весело.

Магнитофона я с собой не взяла; не было у меня ни бумаги, ни карандашей — только маленький блокнот и шариковая ручка. Я привезла фотоаппарат, но к нему было лишь три кассеты с пленкой.

Я беспокойно завертелась в гамаке. Нет, у меня не было ни малейшего намерения отправляться в джунгли со старухой, которую я считала немного сумасшедшей, и индейцем, которого никогда в жизни не видела. И все же в этом переходе через джунгли был такой соблазн. Я без труда могла бы устроить себе небольшой отпуск. Никакие сроки меня не поджимали, никто меня не ждал. Друзьям я могла бы оставить письмо с объяснением своего внезапного решения.

Да их это и не особенно встревожит. Чем больше я об этом думала, тем сильнее меня интриговала эта затея. Отец Кориолано, разумеется, снабдит меня достаточным количеством бумаги и карандашей. И, возможно, донья Мерседес была права. Старые записи о практике целительства могут оказаться ненужными, когда — и если, — закралась зловещая мысль, — я вернусь из этого путешествия.

Я выбралась из гамака и посмотрела на спящую тщедушную старуху. Словно почувствовав мой взгляд, ее веки затрепетали, губы зашевелились: — Я не умру здесь, а умру среди моего народа. Мое тело сожгут, а мой пепел останется с ними.

Глаза ее медленно раскрылись; они были тусклы, затуманены сном и ничего не выражали, но в ее голосе я уловила глубокую печаль. Я прикоснулась к ее впалым щекам. Она улыбнулась мне, но мысли ее были где-то далеко.

Я проснулась, ощутив на себе чей-то взгляд. Анхелика сказала, что ждала, пока я проснусь. Она жестом пригласила меня взглянуть на лубяной коробок величиной с дамскую сумочку, стоявший рядом с ней. Она подняла плотно пригнанную крышку и с большим удовольствием принялась показывать мне каждый предмет, всякий раз взрываясь бурей радостных и удивленных восклицаний, словно видела их впервые в жизни. Там было зеркальце, гребешок, бусы из искусственного жемчуга, несколько пустых баночек из-под крема «Пондс», губная помада, пара ржавых ножниц, вылинявшая блузка и юбка.

— А это что, по-твоему, такое? — спросила она, пряча что-то за спиной.

Я созналась в своем невежестве, и она рассмеялась: — Это моя книжка для письма. — Она открыла блокнот с пожелтевшими от времени страницами. На каждой странице виднелись ряды корявых букв. — Смотри. — Достав из коробка карандашный огрызок, она стала выводить печатными буквами свое имя. — Я научилась этому в другой миссии. Намного большей, чем эта. Там еще была школа. Это было много лет назад, но я не забыла, чему там научилась. — Она снова и снова писала свое имя на поблекших страницах. — Тебе нравится? — Очень. — Я зачарованно смотрела, как эта старая женщина сидит на корточках, сильно наклонись вперед и почти касаясь головой лежащего на земляном полу блокнота. Умудряясь сохранять равновесие в такой позе, она продолжала старательно выписывать буквы своего имени.

Внезапно закрыв блокнот, она выпрямилась.

— Я побывала в городе, — сказала она, глядя куда-то в окно. — В городе полно людей и все на одно лицо. Сначала мне это нравилось, но потом я быстро устала. Слишком за многим надо было уследить. Да еще столько шума. Говорили не только люди, но и вещи. — Она помолчала, нахмурившись и изо всех сил стараясь сосредоточиться; все морщины на ее лице обрисовались резче. Наконец она сказала: — Город мне совсем не понравился.

Я спросила, в каком городе она была и в какой миссии выучилась писать свое имя. Она посмотрела на меня так, словно не расслышала вопросов, и продолжала свой рассказ. Как и раньше, она начала путать место и время событий, временами сбиваясь на родной язык. То и дело она смеялась, повторяя одно и то же: — Я не отправлюсь на небеса отца Кориолано.

— Ты всерьез собираешься идти к своему народу? — спросила я. — А ты не думаешь, что двум женщинам опасно отправляться в лес? Ты хоть знаешь дорогу? — Конечно, знаю, — сказала она, резко выходя из состояния, близкого к трансу. — Старухе бояться нечего.

— Но я-то не старуха.

Она погладила меня по волосам.

— Ты не старуха, но у тебя волосы цвета пальмовых волокон и глаза цвета неба. Ты тоже будешь в безопасности.

— Я уверена, что мы заблудимся, — тихо сказала я. — Ты даже не помнишь, как давно ты в последний раз видела свой народ. Ты сама мне говорила, что они все дальше уходят в лес.

— С нами идет Милагрос, — убежденно заявила Анхелика. — Он хорошо знает лес. Он знает обо всех людях, какие живут в джунглях. — Анхелика начала укладывать свои пожитки в лубяной коробок. — Пойду-ка я поищу его, чтобы мы смогли тронуться в путь как можно скорее. Тебе надо будет дать ему что-нибудь.

— У меня нет ничего такого, что ему бы хотелось, — сказала я. — Может, я договорюсь с друзьями, чтобы они оставили привезенные с собой мачете в миссии для Милагроса.

— Отдай ему свой фотоаппарат, — предложила Анхелика. — Я знаю, что он хочет иметь фотоаппарат не меньше, чем еще одно мачете.

— А он знает, как пользоваться фотоаппаратом? — Не знаю. — Она хихикнула, прикрыв рот ладонью. — Он мне как-то сказал, что хочет делать снимки белых людей, которые приезжают в миссию поглазеть на индейцев.

Я отнюдь не жаждала расставаться с фотоаппаратом.

Он был хороший и очень дорогой. Я пожалела, что не взяла с собой другого, подешевле. — Я отдам ему фотоаппарат, — сказала я в надежде, что когда объясню Милагросу, как сложно им пользоваться, он сам выберет мачете.

— Чем меньше нести, тем лучше, — сказала Анхелика, со стуком захлопывая крышку короба. — Все это я отдам какой-нибудь здешней женщине. Мне оно больше не понадобится. Когда идешь с пустыми руками, никому от тебя ничего не нужно.

— Я хотела бы взять гамак, который ты мне дала, — пошутила я.

— А что, неплохая мысль, — посмотрела на меня Анхелика и кивнула. — Ты беспокойно спишь и, наверное, не сможешь спать в гамаках из лыка, как мой народ. — Взяв короб, она собралась уходить из комнаты. — Я вернусь, когда разыщу Милагроса.

Допивая свой кофе, отец Кориолано смотрел на меня так, словно впервые видел. Опершись о стул, он с большим усилием поднялся с места. Он глядел на меня в полной растерянности, не говоря ни слова. Это было молчание старого человека. Увидев, как он провел по лицу негнуздимися скрюченными пальцами, я впервые осознала, какой он, в сущности, хилый старик.

— Вы с ума сошли, собираясь идти в джунгли с Анхеликой, — сказал он наконец. — Она очень стара; далеко она не пойдет. Пеший переход по лесу — это вам не экскурсия.

— С нами пойдет Милагрос.

Глубоко задумавшись, отец Кориолано отвернулся к окну, то и дело дергая себя за бороду. — Милагрос отказался идти с вашими друзьями. Не сомневаюсь, что он и Анхелику откажется вести в джунгли.

— Он пойдет. — Моя уверенность была совершенно необъяснимой. Она полностью противоречила всякому здравому смыслу.

— Станный он человек, хотя и вполне надежный, — задумчиво сказал отец Кориолано. — Он был проводником в разных экспедициях. И все же... — Отец Кориолано снова сел и, наклонившись ко мне, продолжал: — Вы не готовы идти в джунгли. Вы даже не представляете, с какими трудностями и опасностями связано такое предприятие. У вас даже обуви подходящей нет.

— Разные люди, побывавшие в джунглях, говорили мне, что для этого нет ничего лучше теннисных туфель.

Они, не сжимаясь, быстро высыхают на ногах, и от них не бывает волдырей.

Отец Кориолано пропустил мое замечание мимо ушей.

— Почему вы так хотите идти? — спросил он раздраженно. — Мистер Барт отведет вас на встречу с шаманом Макиритаре; вы увидите сеанс исцеления, и вам не надо будет так далеко ходить.

— Я и в самом деле не знаю, почему хочу туда идти, — беспомощно сказала я, посмотрев на него. — Возможно, я хочу увидеть нечто большее, чем сеанс исцеления. Собственно, я хотела попросить вас дать мне бумагу и карандаши.

— А как же ваши друзья? Что я им скажу? Что вы просто взяли и исчезли вместе с выжившей из ума старухой? — спрашивал он, наливая себе еще кофе. — Я здесь вот уже тридцать лет и ни разу не слышал о таком нелепом плане.

Время сиесты уже прошло, но в миссии все еще царил тишина, когда я растянулась в своем гамаке в тени густо сплетенных ветвей и зубчатых листьев двух деревьев *pomarosa*.

Вдалеке я увидела высокую фигуру мистера Барта, направлявшегося к миссии. Странно, подумала я, ведь он обычно приходил по вечерам. А потом я догадалась, зачем он пришел.

Он присел на корточки у ступенек, ведущих на веранду неподалеку от места, где я лежала, и закурил одну из привезенных моими друзьями сигарет.

Мистеру Барту, похоже, было не по себе. Он встал и прошелся туда-сюда, словно часовой на посту. Я совсем было собралась его позвать, когда он заговорил сам с собой, выдыхая слова с дымом. Он почесал белую щетину на подбородке, поскреб один ботинок о другой, чтобы счистить налипшую грязь, будто пытался избавиться от не дававших ему покоя мыслей.

— Вы пришли рассказать мне об алмазах, которые нашли в Гран-Сабана? — спросила я вместо приветствия, надеясь развеять меланхолическое выражение в его добродушных карих глазах.

Он затянулся сигаретой и выпустил дым через нос короткими клубами. Выплюнув несколько табачных крошек, прилипших к кончику языка, он спросил: — Почему вы хотите идти с Анхеликой в лес? — Я уже говорила отцу Кориолано, что не знаю.

Мистер Барт тихо повторил мои слова, но уже с вопросительной интонацией. Закурив очередную сигарету, он медленно выпустил дым, глядя, как его завитки постепенно тают в прозрачном воздухе.

— Идемте-ка пройдемся, — предложил он.

Мы не спеша шли по берегу реки, где огромные переплетенные корни выползали из земли, словно изваяния из дерева и ила. Теплая липкая влажность очень скоро пропитала всю мою кожу. Из-под толстого слоя веток и листьев мистер Барт вытащил каноэ, столкнул его в воду и жестом велел мне сесть в него. Он направил лодку прямо через реку, держа курс на небольшую заводь на левом берегу, которая давала некоторую защиту от мощного течения.

Точными сильными движениями он направлял каноэ против течения, пока мы не добрались до узкого притока.

Бамбуковые заросли уступили место мрачной густой растительности, бесконечной стене деревьев, тесно столпившихся у самого берега. Корневища и ветви нависали над водой; по деревьям ползли лианы, словно змеи обвиваясь вокруг стволов, стремясь сокрушить их в смертельной хватке.

— Ага, вот она, — сказал мистер Барт, указав на просвет в этой, казалось бы, непроницаемой стене.

Мы протащили лодку по болотистому берегу и надежно привязали к стволу дерева. Солнце едва пробивалось сквозь густую листву; чем дальше я шла сквозь заросли следом за мистером Бартом, тем больше все краски сливались в прозрачную зелень. Лианы и ветки цеплялись за меня как живые. Жара здесь уже не была такой сильной, но из-за липкой влажности одежда пристала ко мне, как слизь.

Вскоре лицо мое покрылось слоем растительной трухи и паутины, от которой шел запах разложения.

— Это и есть тропа? — недоверчиво спросила я, чуть не вступив в лужу зеленоватой воды. Ее поверхность кишела сотнями насекомых, беспокойно суесящихся в мутной жиже. Куда-то улетели вспугнутые птицы, и в этой сплошной зелени я не смогла различить ни их цвета, ни величины, а только услышала их возмущенные крики в знак протеста против нашего вторжения. Я поняла, что мистер Барт старается напугать меня. Мысль о том, что он, возможно, ведет меня в другую католическую миссию, тоже приходила мне в голову. — Это и есть тропа? — спросила я еще раз.

Мистер Барт резко остановился перед деревом, таким высоким, что его верхние ветви, казалось, задевали небо.

Ползучие растения тянулись вверх, обвиваясь вокруг ствола и веток.

— Я собирался преподать вам урок и напугать до полусмерти, — мрачно сказал мистер Барт. — Но все, что я готовился вам сказать, сейчас прозвучало бы глупо. Так что передохнем немного и пойдем обратно.

Мистер Барт позволил лодке плыть по течению, берясь за весло лишь тогда, когда ее заносило слишком близко к берегу.

— Джунгли — это мир, который невозможно себе представить, — сказал он. — Я не могу вам его описать, хотя так часто испытывал его на своей шкуре. Это дело личное. Опыт каждого человека уникален и не похож на другие.

Вместо того чтобы вернуться в миссию, мистер Барт пригласил меня к себе домой. Это была большая круглая хижина с конической крышей из пальмовых листьев.

Внутри было довольно темно; свет попадал внутрь только через небольшой вход и прямоугольное окно в крыше с люком из пальмовых листьев, который открывался с помощью блока из сыромятной кожи. Посреди хижины висели два гамака. Вдоль побеленных стен стояли корзины, полные книг и журналов; над ними висели калабаши, кухонная утварь, мачете и ружье.

С одного из гамаков поднялась нагая молодая женщина. Она была высока ростом, полногруда, с широкими бедрами, но лицо ее было лицом ребенка, круглым и гладким, с раскосыми темными глазами. Улыбнувшись, она потянулась за платьем, висевшим у плетеного опахала для раздувания огня.

— Кофе? — спросила она по-испански, усаживаясь у очага на земляной пол, уставленный алюминиевыми кастрюлями и сковородками.

— Вы хорошо знаете Милагроса? — спросила я у мистера Барта после того, как он познакомил меня со своей женой, и все мы расселись в гамаках, причем мы с молодой женщиной сели вдвоем в один гамак.

— Трудно сказать, — ответил он, берясь за стоящую на полу кружку с кофе. — Он приходит и уходит; он как река.

Он никогда не останавливается и, похоже, никогда не отдыхает. Как далеко Милагрос уходит, как долго он там остается, этого никто не знает. Все, что я слышал, — это то, что какие-то белые люди забрали его в юности из родного племени. Рассказывает он об этом всегда по-разному. То он говорит, что это были сборщики каучука, то — что это были миссионеры, а в другой раз может сказать, что это были старатели, ученые. Неважно, кто это был, но с ними он путешествовал много лет.

— А из какого он племени? Где живет? — Он из племени Макиритаре, — сказал мистер Барт. — Но никто не знает, где он живет. Время от времени он возвращается к своим сородичам. Но из какой он деревни, я не знаю.

— Анхелика ушла его искать. Интересно, знает ли она, где его можно найти? — Знает наверняка, — сказал мистер Барт. — Они очень близки. Я не удивлюсь, если они окажутся в каком-то родстве. — Он поставил кружку на землю, выбрался из гамака и на мгновение исчез в густом кустарнике рядом с хижиной. Спустя несколько секунд мистер Барт появился снова с небольшой жестяной в руках. — Откройте ее, — сказал он, вручая мне жестянку.

Внутри был маленький кожаный мешочек. — Алмазы? — спросила я, пробуя его на ощупь. Мистер Барт, улыбнувшись, кивнул и жестом пригласил меня подсесть к нему поближе на земляном полу. Он снял рубашку, расстелил на полу и попросил меня высыпать на нее содержимое мешочка. Я едва могла скрыть разочарование. Эти камни не сверкали; они были скорее похожи на мутный кварц.

— Вы уверены, что это алмазы? — спросила я.

— Совершенно уверен, — ответил мистер Барт, кладя мне в ладонь камень величиной с ягодный помидор. Если его как следует огранить, получится очень славное колечко.

— Вы здесь нашли эти алмазы? — Нет, — рассмеялся мистер Барт. — Недалеко от Сьерра Паримы, много лет назад. — Полуприкрыв глаза, он стал раскачиваться взад-вперед. Щеки его покрывала багровая сетка склеротических сосудов, щетина на подбородке была чуть влажной. —

Давным-давно единственной целью в моей жизни было найти алмазы, чтобы вернуться домой богачом. — Мистер Барт тяжело вздохнул, уставясь глазами куда-то за пределы хижины. — А потом в один прекрасный день я понял, что моя мечта разбогатеть, так сказать, пересохла; она перестала быть навязчивой идеей, да и сам я уже не хотел возвращаться в мир, который знал когда-то. И я остался здесь. — В глазах мистера Барта блеснули слезы, когда он сделал жест в сторону алмазов. — С ними — Он часто замигал, потом взглянул на меня и улыбнулся. — Я люблю их, как люблю эти края.

Я так много хотела у него спросить, но побоялась вконец его расстроить. И мы умолкли, прислушиваясь к ровному, тихому журчанию реки.

Мистер Барт заговорил снова: — А знаете, антропологи и миссионеры одного поля ягода. Для этой земли плохи и те, и другие. Антропологи даже лицемернее; они жульничают и лгут ради того, чтобы заполучить нужную информацию. По-моему, они свято верят, что во имя науки всякие средства хороши. Нет, нет, не перебивайте меня, — предупредил мистер Барт, замахав рукой у меня перед лицом.

— Антропологи, — продолжал он тем же резким тоном, — жаловались мне на заносчивость миссионеров, на их бесцеремонное и высокомерное отношение к индейцам.

А сами-то хороши, никто так нагло не сует нос в дела других людей, как они, да еще так, будто имеют на это полное право. — Мистер Барт глубоко вздохнул, словно эта вспышка исчерпала его силы.

Опасаясь новой вспышки, я решила не защищать антропологов и утешилась разглядыванием алмаза, лежавшего у меня на ладони.

— Очень красивый, — сказала я, возвращая камень.

— Оставьте его себе, — сказал он и начал собирать остальные камешки. Один за другим он бросал их в кожаный мешочек.

— Боюсь, что не смогу принять такой ценный подарок, — хихикнула я и в свое оправдание добавила: — Я не ношу драгоценностей.

— А вы не считайте это ценным подарком. Считайте его талисманом. Это только горожане считают его драгоценностью, — сказал он небрежно, сжав мои пальцы на камне.

— Он принесет вам удачу. — Он поднялся, расправив ладонями отсыревшие сзади штаны, и растянулся в гамаке.

Молодая женщина снова наполнила наши кружки.

Потягивая приторно сладкий кофе, мы смотрели, как с приходом сумерек выбеленные стены приобретают пурпурный оттенок. Тени не успели вырасти, потому что сразу же упала темнота.

Меня разбудила Анхелика, прошептавшая на ухо: — Мы выходим утром.

— Что? — мгновенно проснувшись, я выпрыгнула из гамака. — Я думала, что на поиски Милагроса у тебя уйдет пара дней. Сейчас я соберусь в дорогу.

Анхелика рассмеялась. — Соберусь? Нечего тебе собирать. Вторую пару твоих трусиков и топ я отдала мальчишке-индейцу. Две пары тебе ни к чему. Иди-ка лучше спать. Завтра будет долгий день. Милагрос ходит быстро.

— Не могу я спать, — взволнованно сказала я. — Скоро начнет светать. Я напишу записку друзьям. Надеюсь, гамак и тонкое одеяло поместятся у меня в рюкзаке. А что с едой? — Отец Кориолано отложил для нас на завтра сардины и маниоковые лепешки. Я понесу их в корзине.

— Ты говорила с ним этим вечером? Что он сказал? — Он сказал, что все в руках Божьих.

Когда зазвонил к службе церковный колокол, я уже полностью собралась в дорогу. В первый раз со дня приезда в миссию я пошла к мессе. Индейцы и *racionales* заполнили деревянные скамьи. Они смеялись и болтали, словно на пирушке. Отцу Кориолано пришлось

довольно долго их унимать, прежде чем он смог начать мессу.

Сидевшая рядом со мной женщина пожаловалась, что отец Кориолано всегда умудряется разбудить ее младенца своим громким голосом. Младенец и в самом деле заплакал, но не успел раздаться его первый громкий вопль, как женщина выпростала грудь и прижала ее ко рту ребенка.

Опустившись на колени, я подняла глаза к изображению Девы над алтарем. На Ней было расшитое золотом голубое одеяние. Лицо было поднято к небесам, глаза голубые, щеки бледные, а рот темно-красный. На одной руке у Нее сидел младенец Христос; другую руку, белую и нежную, Она протягивала к этим странным дикарям у Ее ног.

Милагрос с мачете в руке вел нас по узкой тропе вдоль реки. Сквозь дырявую красную рубаху просвечивала его мускулистая спина. Защитного цвета штаны, закатанные до колен и подвязанные выше пояса шнурком, делали его на вид ниже его среднего роста. Он шел резвым шагом, опираясь на внешние края стоп, узких в пятке и веером расширявшихся к пальцам. Коротко стриженные волосы и широкая тонзура на макушке делали его похожим на монаха.

Перед тем как идти дальше по тропе, уводящей в лес, я остановилась и оглянулась. За рекой, почти скрытая в излучине, лежала миссия. Пронизанная сиянием утреннего солнца, она, казалось, стала чем-то неосязаемым. Я почувствовала странную отчужденность не только от этого места и людей, с которыми провела минувшую неделю, но и от всего, что было столь привычно мне прежде. Я ощутила в себе какую-то перемену, словно переправа через реку стала отметиной в судьбе, поворотным пунктом. Что-то, видимо, отразилось на моем лице, потому что поймав на себе взгляд Анхелики, я уловила в нем тень сочувствия.

— Уже далеко, — сказал Милагрос, остановившись рядом с нами. Сложив руки на груди, он блуждал взглядом по реке. Ослепительно сверкавший на воде утренний свет отражался на его лице, придавая ему золотистый оттенок.

У него было угловатое, костлявое лицо, которому маленький нос и полная нижняя губа придавали неожиданное выражение ранимости, резко контрастировавшее с мешками и морщинами вокруг раскосых карих глаз. Они неуловимо напоминали глаза Анхелики, в них было такое же вневременное выражение.

В полном молчании мы зашагали под громадами деревьев по тропам, затерянным в густом кустарнике, сплошь увитом лианами, в переплетении веток, листвы, ползучих растений и корней. Паутина невидимой вуалью липла к моему лицу. Перед глазами у меня была одна лишь зелень, а единственным запахом был запах сырости. Мы перешагивали и обходили упавшие стволы, переходили ручьи и болота в тени высоких бамбуковых зарослей. Иногда впереди меня шел Милагрос; иногда это была Анхелика со своей высокой узкой корзиной за плечами, которая удерживалась на своем месте надетой на голову специальной лубяной повязкой. Корзина была наполнена тыквенными сосудами, лепешками и жестянками сардин.

Я не имела представления, в каком направлении мы идем. Солнца я не видела — только его свет, сочащийся сквозь густую листву. Вскоре шея у меня занемела от глядения вверх, в немыслимую высь недвижных деревьев.

Одни лишь стройные пальмы, неукротимые в своем вертикальном порыве к свету, казалось, расчищали серебристыми верхушками редкие заплатки чистого неба.

— Мне надо передохнуть, — сказала я, тяжело плюхнувшись на ствол упавшего дерева. По моим часам шел уже четвертый час дня. Мы без остановок шагали вот уже больше шести часов. — Я умираю от голода.

Передав мне калабаш из своей корзины, Анхелика присела рядом со мной.

— Наполни его, — сказала она, указав подбородком на протекавший поблизости неглубокий ручей.

Сев посреди потока на корточки с широко расставленными ногами и упершись ладонями в бедра, Милагрос наклонялся вперед, пока его губы не коснулись воды. Он напился, не замочив носа.

— Пей, — сказал он, выпрямившись.

Ему, должно быть, около пятидесяти, подумала я.

Однако неожиданная грация плавных движений делала его намного моложе. Он коротко

усмехнулся и побрел вниз по течению ручья.

— Осторожно, не то искупаешься! — воскликнула Анхелика с насмешливой улыбкой.

Вздрогнув от ее голоса, я потеряла равновесие и бултыхнулась в воду вниз головой.

— Не получится у меня напиться так, как это сделал Милагрос, — небрежно сказала я, отдавая ей наполненный сосуд. — Лучше уж мне пить из калабаша.

Усевшись возле нее, я сняла промокшие теннисные туфли. Тот, кто сказал, что такая обувь лучше всего годится для джунглей, никогда не топал в ней шесть часов подряд.

Мои ноги были стертые и покрылись волдырями, коленки исцарапаны и кровоточили.

— Не так уж плохо, — сказала Анхелика, осмотрев мои стопы. Она легонько провела ладонью по подошвам и покрытым волдырями пальцам. — У тебя ведь отличные жесткие подошвы. Почему бы тебе не идти босиком? Мокрые туфли только еще сильнее размягчат стопы.

Я посмотрела на свои подошвы; они были покрыты толстой ороговевшей кожей в результате многолетних занятий каратэ.

— А вдруг я наступлю на змею? — спросила я. — Или на колючку? — Хотя ни одна рептилия мне еще не попадалась, я замечала, как Милагрос и Анхелика время от времени останавливаются и вытаскивают засевшие в ступнях колючки.

— Надо быть круглым дураком, чтобы наступить на змею, — сказала она, сталкивая мои ноги со своих колен.

— А по сравнению с москитами колючки тоже не так уж плохи. Тебе еще повезло, что эти мелкие твари не кусают тебя так, как этих *racionales*. Она потерла мои ладони и руки, словно надеясь отыскать в них ответ на эту загадку. — Интересно, почему это? Еще в миссии Анхелика изумлялась тому, как я, подобно индейцам, сплю без москитной сетки. — У меня зловредная кровь, — сказала я с усмешкой. Встретив ее озадаченный взгляд, я пояснила, что еще ребенком часто уходила с отцом в джунгли искать орхидеи. Он неизменно бывал искусан москитами, мухами и вообще всякими кусачими насекомыми. Но меня они почему-то никогда не донимали. А однажды отца даже укусила змея.

— И он умер? — спросила Анхелика.

— Нет. Это вообще был очень необычный случай. Та же змея укусила и меня. Я вскрикнула сразу вслед за отцом.

Он решил было, что я его разыгрываю, пока я не показала ему крохотные красные пятнышки на ноге. Только моя нога не распухла и не побагровела, как у него. Друзья отвезли нас в ближайший город, где моему отцу ввели противозмеиную сыворотку. Он болел много дней.

— А ты? — А со мной ничего не было, — сказала я и добавила, что именно тогда его друзья и пошутили, что у меня зловредная кровь. Они, в отличие от доктора, не верили, что змея истощила весь запас, яда на первый укус, а того, что осталось, было недостаточно, чтобы причинить мне какой-то вред. Еще я рассказала Анхелике, как однажды меня искусали семь ос, которых называют *mata caballo* — убийцами лошадей. Доктор подумал, что я умру. Но у меня только поднялась температура, и несколько дней спустя я поправилась.

Никогда прежде я не видела, чтобы Анхелика так внимательно слушала, слегка наклонившись вперед, словно боясь упустить каждое слово. — Меня тоже однажды укусила змея, — сказала она. — Люди подумали, что я умру. — Она помолчала немного, задумавшись, потом ее лицо сморщилось в робкой улыбке. — Как по-твоему, она тоже успела на кого-то известить свой яд? — Конечно, так оно и было, — сказала я, тронув ее иссохшие руки.

— А может, у меня тоже зловредная кровь, — сказала она, улыбнувшись. Она была так тщедушна и стара. На мгновение мне показалось, что она может растаять среди теней.

— Я очень старая, — сказала Анхелика, посмотрев на меня так, словно я произнесла свою мысль вслух. — Мне давно уже пора бы умереть. Я заставила смерть долго ждать. — Она

отвернулась и стала смотреть, как муравьиное войско уничтожает какой-то куст, отгрызая целые куски листьев и унося их в челюстях. — Я знала, что именно ты доставишь меня к моему народу, знала с той самой минуты, как тебя увидела. — Наступило долгое молчание. Она либо не хотела говорить больше, либо пыталась найти подходящие слова. Она посмотрела на меня, загадочно улыбаясь. — Ты это тоже знала, иначе тебя бы здесь не было, — наконец сказала она с полной убежденностью.

На меня напал нервный смешок; всегда ей удавалось смущать меня этим своим особым блеском глаз.

— Я не знаю толком, что я здесь делаю, — сказала я. — Я не знаю, зачем иду вместе с тобой.

— Ты знала, что тебе предназначено сюда приехать, — настаивала Анхелика.

Было в этой ее уверенности нечто такое, что пробудило во мне охоту поспорить. Согласиться с нею было не так просто, особенно если учесть, что я и сама не знала, с какой стати бреду по джунглям Бог весть куда.

— Честно говоря, у меня вообще не было намерения куда-либо идти, — сказала я. — Ты же помнишь, я даже не отправилась, как планировала, с друзьями вверх по реке охотиться на аллигаторов.

— Вот об этом я и говорю, — убеждала она меня так, словно разговаривала с бестолковым ребенком. — Ты нашла повод отменить поездку, чтобы получить возможность пойти со мной. — Она положила костлявые ладони мне на голову. — Поверь мне. Мне-то не пришлось долго над этим раздумывать. И тебе тоже. Решение пришло в ту минуту, когда ты попалась мне на глаза.

Чтобы подавить смех, я уткнулась лицом в колени старой женщины. Спорить с ней было бесполезно. К тому же она, возможно, права, подумала я. Я и сама не находила этому объяснения.

— Я долго ждала, — продолжала Анхелика. — Я уже почти забыла, что ты должна ко мне приехать. Но как только я тебя увидела, я поняла, что тот человек был прав. Не то чтобы я в нем когда-нибудь сомневалась, но он сказал мне об этом так давно, что я уже начала думать, что упустила свой случай.

— Какой человек? — спросила я, подняв голову с ее колен. — Кто тебе сказал, что я приеду? — В другой раз расскажу. — Анхелика пододвинула корзину и достала большую лепешку. — Давай-ка поедим, — добавила она и открыла банку с сардинами.

Настаивать не было смысла. Если уж Анхелика решила молчать, нечего было и думать заставить ее заговорить снова. Не утолив любопытства, я довольствовалась изучением аккуратного ряда жирных сардин в густом томатном соусе. Я видела такие же в супермаркете Лос-Анжелеса; одна моя подруга обычно покупала их для своего кота.

Я подцепила одну пальцем и размазала по куску белой лепешки.

— Где, интересно, может быть Милагрос, — сказала я, вгрызаясь в сэндвич с сардинкой. На вкус он был совсем неплох.

Анхелика не ответила; она и есть ничего не стала. Время от времени она лишь пила воду из тыквенного сосуда.

В уголках ее рта держалась едва заметная улыбка, и мне захотелось узнать, о чем таком могла задуматься эта старая женщина, что пробудило такую тоску в ее глазах. Внезапно она уставилась на меня, словно очнувшись от сна.

— Смотри, — сказала она, толкнув меня локтем.

Перед нами стоял мужчина, совершенно нагой, за исключением повязок из хлопковой пряжи на предплечьях и шнурка поперек талии, петлей охватывавшего крайнюю плоть и подвязывавшего таким образом пенис к животу.

Его тело сплошь было покрыто коричневато-красными узорами. В одной руке он держал лук и стрелы, в другой — мачете.

— Милагрос? — наконец выдавила я, когда первый шок миновал. Все-таки узнала я его с трудом. И не только из-за его наготы; он как бы стал выше ростом, мускулистее.

Красные зигзагообразные полосы, спускающиеся со лба по щекам, поперек носа и вокруг рта, заострили черты его лица, напрочь стирая всякую уязвимость. Помимо чисто физической перемены было что-то еще, чего я не могла точно определить. Словно избавившись от одежды *racionales*, он сбросил какой-то невидимый груз.

Милагрос расхохотался во все горло. Смех, вырывавшийся, казалось, из самой глубины его существа, сотрясал все тело. Раскатисто разносясь по лесу, он смешался с тревожными криками испуганно взлетевшей стайки попугаев. Присев передо мной на корточки, он резко оборвал смех и сказал: — А ты меня почти не узнала. — Он придвинул свое лицо к моему, так что мы коснулись друг друга носами, и спросил: — Хочешь, я тебе раскрашу лицо? — Да, — сказала я, доставая фотоаппарат из рюкзака. — Только можно я сначала тебя сфотографирую? — Это мой фотоаппарат, — решительно заявил он, потянувшись за ним. — Я думал, что ты оставила его для меня в миссии.

— Я хотела бы им воспользоваться, пока буду находиться в индейской деревне.

Я стала учить его, как пользоваться фотоаппаратом, с того, что вставила кассету с пленкой. Он очень внимательно слушал мои пояснения, кивая головой всякий раз, когда я спрашивала, все ли он понял. Вдаваясь во все подробности обращения с этим хитроумным устройством, я надеялась сбить его с толку.

— А теперь давай я тебя сфотографирую, чтобы ты видел, как надо держать камеру в руках.

— Нет, нет. — Он живо остановил меня, выхватив камеру. Без каких-либо затруднений он открыл заднюю крышку и вынул пленку, засветив ее. — Ты же пообещала, что он мой. Только я один могу делать им снимки.

Лишившись дара речи, я смотрела, как он вешает фотоаппарат себе на грудь. На его нагом теле камера выглядела настолько нелепо, что меня разобрал смех. А он принялся карикатурными движениями наводить фокус, ставить диафрагму, нацеливать объектив куда попало, разговаривая при этом с воображаемыми объектами съемок, требуя, чтобы те то подошли поближе, то отодвинулись.

Мне ужасно захотелось дернуть за шнурок на его шее, на котором висели колчан со стрелами и палочка для добывания огня.

— Без пленки у тебя никаких снимков не получится, — сказала я, отдавая ему третью, последнюю кассету.

— А я не говорил, что хочу делать снимки. — Он с ликующим видом засветил и эту пленку, потом очень аккуратно вложил фотоаппарат в кожаный футляр. — Индейцы не любят, когда их фотографируют, — серьезно сказал он, повернулся к корзине Анхелики и, порывшись в ее содержимом, вытащил небольшой тыквенный сосуд, обвязанный вместо крышки кусочком шкуры какого-то животного. — Это *оното*, — сказал он, показывая мне пасту красного цвета. На вид она была жирной и издавала слабый, не поддающийся определению аромат. — Это цвет жизни и радости, — сказал он.

— А где ты оставил свою одежду? — поинтересовалась я, пока он откусывал кусочек лианы длиной с карандаш. — Ты живешь где-то поблизости? Занятый разжевыванием одного из кончиков лианы, пока тот не превратился в подобие кисточки, Милагрос не счел нужным отвечать. Он плюнул на *оното* и стал размешивать кисточкой красную пасту, пока та не размякла.

Точной твердой рукой он нарисовал волнистые линии у меня на лбу, по щекам, подбородку

и шее, обвел кругами глаза и разукрасил руки круглыми точками.

— Где-то неподалеку есть индейская деревня? — Нет.

— Ты живешь сам по себе? — Почему ты задаешь так много вопросов? — Раздраженное выражение, усиленное резкими чертами его раскрашенного лица, сопровождалось возмущением в голосе.

Я открыла рот, что-то проямлила, но побоялась сказать, что мне важно узнать о нем и об Анхелике побольше: чем больше я буду знать, тем мне будет спокойнее.

— Меня учили быть любопытной, — сказала я чуть погодя, чувствуя, что он не поймет того легкого беспокойства, которое я пыталась сгладить своими вопросами. Мне казалось, что узнав их ближе, я приобрету в какой-то мере чувство владения ситуацией.

Пропустив мимо ушей мои последние слова, Милагрос искоса с улыбкой взглянул на меня, придиричиво изучил раскраску на лице и разразился громким хохотом. Это был веселый, заразительный смех, смех ребенка.

— Светловолосая индеанка, — только и сказал он, утирая слезы с глаз.

Все мои мимолетные опасения улетучились, и я расхохоталась вместе с ним. Внезапно смолкнув, Милагрос наклонился и прошептал мне на ухо какое-то непонятное слово. — Это твое новое имя, — с серьезным видом сказал он, прикрыв мне ладонью рот, чтобы я не повторила его вслух.

Повернувшись к Анхелике, он шепнул это имя и ей на ухо.

Покончив с едой, Милагрос знаком велел нам идти дальше. Я быстро обулась, не обращая внимания на волдыри. То взбираясь на холмы, то спускаясь в долины, я не различала ничего, кроме зелени, — бесконечной зелени лиан, листвы, ветвей и острых колючек, где все часы были часами сумерек. Я уже не задирала голову, чтобы поймать взглядом небо в просветах между листвой, а довольствовалась его отражением в лужах и ручьях.

Прав был мистер Барт, когда говорил мне, что джунгли — это мир, который невозможно себе представить.

Я все еще не могла поверить, что шагаю сквозь эту бесконечную зелень неведомо куда. В моем мозгу вспыхивали жуткие рассказы антропологов о свирепых и воинственных индейцах из диких племен.

Мои родители были знакомы с несколькими немецкими исследователями и учеными, побывавшими в джунглях Амазонки. Ребенком я замороженно слушала их истории об охотниках за головами и каннибалах; все они рассказывали разные случаи, когда им удавалось избежать верной смерти, лишь спасая жизнь больному индейцу, как правило, вождю племени или его родственнику. Одна немецкая супружеская пара с маленькой дочерью, вернувшаяся из двухлетнего путешествия по джунглям Южной Америки, произвела на меня самое сильное впечатление.

Мне было семь лет, когда я увидела собранные ими в странствиях предметы материальной культуры и фотографии в натуральную величину.

Совершенно очарованная их восьмилетней дочерью, я ходила за ней по пятам по уставленному пальмами залу в фойе «Сирз Билдинг» в Каракасе. Не успела я толком разглядеть коллекцию луков и стрел, корзин, колчанов, перьев и масок, развешанных по стенам, как она потащила меня к укромной нише. Присев на корточки, она вытащила изпод кучи пальмовых листьев красный деревянный ящик и открыла его ключом, висевшим у нее на шее. — Это дал мне один мой друг-индеец, — сказала она, доставая оттуда маленькую сморщенную голову. — Это *тсантса*, ссохшаяся голова врага, — добавила она, поглаживая, словно кукле, длинные темные волосы.

Преисполнившись благоговения, я слушала ее рассказы о том, как она не боялась

находиться в джунглях, и что на самом деле все было не так, как рассказывали ее родители.

— Индейцы не были ни ужасными, ни свирепыми, — серьезно сказала она, взглянув на меня большими глубокими глазами, и я ни на секунду не усомнилась в ее словах. — Они были добрые и очень смешливые. Они были моими друзьями.

Я не могла вспомнить имя девочки, которая, пережив все то, что пережили ее родители, не восприняла этого с их страхами и предубеждениями. Фыркнув от смеха, я едва не споткнулась об узловатый корень, затаившийся под скользким мхом.

— Ты разговариваешь сама с собой? — голос Анхелики прервал мои воспоминания. — Или с лесными духами? — А такие есть? — Да. Духи живут среди всего этого, — сказала она негромко, поведя вокруг рукой. — В гуще сплетенных лиан, вместе с обезьянами, змеями, пауками и ягуарами.

— Ночью дождя не будет, — уверенно заявил Милагрос, втянув в себя воздух, когда мы остановились у какихто валунов на берегу мелкой речушки. По ее спокойным прозрачным водам здесь и там плыли розовые цветы с деревьев, стоявших на другом берегу, словно часовые. Я сняла обувь, стала болтать стертymi в кровь ногами в благодатной прохладе и смотреть, как небо, вначале золотисто-алое, становилась постепенно оранжевым, потом багряным и, наконец, темно-фиолетовым. Вечерняя сырость принесла с собой запахи леса, запах земли, жизни и тления.

Еще до того, как темнота вокруг нас сгустилась окончательно, Милагрос сделал два лубяных гамака, обоими концами привязав их к веревкам из лиан. Не скрывая удовольствия, я смотрела, как он подвешивает мой веревочный гамак между этими очень неудобными на вид лубяными люльками.

Предвкушая интересное зрелище, я присматривалась к действиям Милагроса. Он снял со спины колчан и палочку для добывания огня. Велико же было мое разочарование, когда сняв кусок обезьяньей шкурки, прикрывавшей колчан, он достал из него коробок спичек и поджег собранный Анхеликой хворост.

— Кошачья еда, — проворчала я, принимая из рук Милагроса жестянку сардин. Мой первый ужин в джунглях, как я себе представляла, должен был состоять из мяса только что добытого на охоте тапира или броненосца, отлично пропеченного над жарким потрескивающим костром. А эти тлеющие веточки лишь подняли в воздух тонкую струйку дыма, слабый огонек едва освещал наше ближайшее окружение.

Скупой свет костра заострил черты Милагроса и Анхелики, заполнив впадины тенями, высветив виски, выдающиеся надбровные дуги, короткие носы и высокие скулы. Интересно, подумала я, почему свет костра делает их такими похожими? — Вы не родня друг другу? — спросила я наконец, озадаченная этим сходством.

— Да, — сказал Милагрос. — Я ее сын.

— Ее сын! — повторила я, не веря своим ушам. А я-то думала, что он ее младший родной или двоюродный брат; на вид ему было лет пятьдесят. — Тогда ты только наполовину Макиритаре? Оба они захихикали, словно над ведомой лишь им одним шуткой. — Нет, он не наполовину Макиритаре, — сказала Анхелика, давась от смеха. — Он родился, когда я еще была с моим народом. — Больше она не сказала ни слова, а лишь придвинула свое лицо к моему с вызывающим и в то же время задумчивым выражением.

Я нервно шевельнулась под ее пристальным взглядом, заволновавшись, не мог ли мой вопрос ее обидеть. Должно быть, любопытство — это моя благоприобретенная черта, решила я. Я жаждала узнать о них все, а они ведь никогда не расспрашивали меня обо мне. Казалось, для них имеет значение лишь то, что мы находимся вместе в лесу. В миссии Анхелика не проявила никакого интереса к моему прошлому. Ни она не хотела, чтобы и я что-нибудь знала о ее

прошлом, за исключением нескольких рассказов о ее жизни в миссии.

Утолив голод, мы растянулись в гамаках; наши с Анхеликой гамаки висели поближе к огню. Вскоре она уснула, подобрав ноги под платье. В воздухе потянуло прохладой, и я предложила взятое с собой тонкое одеяло Милагросу, которое тот охотно принял.

Светляки огненными точками освещали густую тьму.

Ночь звенела криками сверчков и кваканьем лягушек. Я не могла заснуть; усталость и нервное напряжение не давали мне расслабиться. По ручным часам с подсветкой я следила, как медленно крадется время, и вслушивалась в звуки джунглей, которые уже не в состоянии была различать. Какие-то существа рычали, свистели, кричали и выли. Под моим гамаком прокрадывались тени — так же беззвучно, как само время.

Пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь тьму, я села в гамаке и часто замигала, не соображая, то ли я сплю, то ли бодрствую. За колючим кустарником бросились врассыпную обезьяны со светящимися в темноте глазами. Какие-то звери с оскаленными мордами уставились на меня с нависающих ветвей, а гигантские пауки на тонких, как волосинки, ногах ткали у меня на глазах свою серебристую паутину.

Чем больше я смотрела, тем сильнее меня охватывал страх. А когда моему взору предстала нагая фигура, целящаяся из натянутого лука в черноту неба, по спине у меня покатались калачи холодного пота. Явственно услышав характерный свист летящей стрелы, я прикрыла рот рукой, чтобы не закричать от ужаса.

— Не надо бояться ночи, — сказал Милагрос, коснувшись ладонью моего лица. Это была крепкая мозолистая ладонь; она пахла землей и корнями. Он повесил свой гамак над моим, так что сквозь полоски луба я чувствовала тепло его тела. Он тихонько повел разговор на своем родном языке; потекла длинная вереница ритмичных, монотонных слов, заглушившая все прочие лесные звуки.

Мною постепенно овладело ощущение покоя, и глаза начали смыкаться.

Когда я проснулась, гамак Милагроса уже не висел над моим. Ночные звуки, теперь еле слышные, все еще таились где-то среди окутанных туманом пальм, бамбука, безымянных лиан и растений-паразитов. Небо еще было бесцветным; оно лишь слегка посветлело, предвещая погожий день.

Присев над костром, Анхелика подкладывала хворост и раздувала тлеющие угли, возрождая их к новой жизни.

Улыбнувшись, она жестом подозвала меня. — Я слышала тебя во сне, — сказала она. — Тебе было страшно? — Ночью лес совсем другой, — ответила я чуть смущенно. — Должно быть, я слишком устала.

Кивнув, она сказала: — Посмотри на свет. Видишь, как он отражается с листка на листок, пока не спустится на землю к спящим теням. Вот так рассвет усыпляет ночных духов. — Анхелика погладила лежащие на земле листья. — Днем тени спят. А по ночам они пляшут во мраке.

Не зная, что ответить, я глуповато улыбнулась. — А куда ушел Милагрос? — спросила я немного погодя.

Анхелика не ответила; она поднялась во весь рост и огляделась. — Не бойся джунглей, — сказала она и, подняв руки над головой, заплясала мелкими подпрыгивающими шажками и стала подпевать низким монотонным голосом, неожиданно сорвавшимся на высокий фальцет. — Пляши вместе с ночными тенями и засыпай с легким сердцем. Если позволишь теням запугать себя, они тебя погубят. — Голос ее стих до бормотания и, повернувшись ко мне спиной, она неторопливо пошла к реке.

Вода, в которую я нагишом плюхнулась посреди ручья, оказалась прохладной; в тихих

заводях отражался первый утренний свет. Я смотрела, как Анхелика собирает хворост, каждую веточку, как ребенка, укладывая на сгиб локтя.

Должно быть, она крепче, чем выглядит, подумала я, споласкивая намыленные шампунем волосы. Но тогда, возможно, она вовсе не так стара, как показалось на первый взгляд. Отец Кориолано говорил мне, что к тридцати годам индейские женщины нередко уже бабушки. Доживших до сорока считают старухами.

Я выстирала бывшую на мне одежду, напялила ее на шест поближе к костру и надела длинную майку, доходившую мне почти до колен. В ней было удобнее, чем в облегающих джинсах.

— Ты хорошо пахнешь, — сказала Анхелика, пробежав пальцами по моим мокрым волосам. — Это из бутылочки? Я кивнула. — Хочешь, я и тебе вымою волосы? С минуту поколебавшись, она быстро сняла платье.

Тело ее было таким сморщенным, что на нем не оставалось ни дюйма гладкой кожи. Мне она напомнила одно из окаймлявших тропу чахлых деревьев с тонкими серыми стволами, почти ссохшихся, но все еще выбрасывающих зеленую листву на ветвях. Никогда прежде я не видела Анхелику нагой, потому что она ни днем, ни ночью не снимала своего ситцевого платья. Я уже не сомневалась, что ей гораздо больше сорока лет, что она и в самом деле глубокая старуха, как она мне говорила.

Сидя в воде, Анхелика повизгивала и смеялась от удовольствия, громко плескалась и размазывала пену с волос по всему телу. Ковшиком из разбитого калабаша я смыла пену, вытерла ее тонким одеялом и расчесала гребнем темные короткие волосы, уложив завитки на висках.

— Жаль, что нет зеркала, — сказала я. — На мне еще осталась красная краска?

— Немножко, — сказала Анхелика, придвигаясь к огню. — Придется Милагросу снова разрисовать тебе лицо.

— Не пройдет и минуты, как мы обе пропахнем дымом, — сказала я, поворачиваясь к лубяному гамаку Анхелики. Забираясь в него, я недоумевала, как она может в нем спать, не вываливаясь на землю. Его длины едва хватало для моего роста, а узок он был настолько, что и не повернуться. И все же, несмотря на впившиеся мне в голову и тело острые края лубяных полос, я неожиданно для себя задремала, глядя, как старая женщина разламывает собранный хворост на одинаковые по длине веточки.

Странная тяжесть удерживала меня в том раздвоенном состоянии, которое не было ни сном, ни явью. Сквозь прикрытые веки я видела красное солнце. Где-то слева я ощущала присутствие Анхелики, с тихим бормотанием подкладывающей ветки в огонь, и присутствие леса вокруг, все дальше и дальше втягивающего меня в свои зеленые глубины. Я позвала старую женщину по имени, но с моих губ не слетел ни один звук. Я звала снова и снова, но из меня лишь выплывали беззвучные формы, взлетая и падая на ветерке, как мертвые мотыльки. Потом слова начали звучать без всякого участия губ, будто в насмешку над моим желанием знать и задавать тысячи вопросов. Они взрывались в моих ушах, их отзвуки трепетали вокруг меня, словно пролетающая по небу стайка попугаев.

Почувствовав вонь паленой шерсти, я открыла глаза.

На грубо сколоченной решетке, примерно в одном футе над огнем лежала обезьяна с хвостом, передними и задними лапами. Я тоскливо покосилась на корзину Анхелики, в которой было еще полно сардин и маниоковых лепешек.

Милагрос спал в гамаке, его лук стоял у дерева, колчан и мачете лежали рядом на земле на расстоянии вытянутой руки.

— Это все, что он добыл? — спросила я у Анхелики, выбираясь из гамака. В надежде, что

жаркое никогда не будет готово, я добавила: — Долго она еще будет печься? С нескрываемым весельем Анхелика блаженно мне улыбнулась.

— Еще немного, — ответила она. — Это тебе понравится больше, чем сардины.

Милагрос руками разделал жареную обезьяну, вручив мне ее голову, самый лакомый кусочек. Не в силах заставить себя высосать мозг из разрубленного черепа, я выбрала себе кусочек хорошо прожаренной ляжки. Она была жилистой, жесткой и по вкусу напоминала чуть горьковатую дичь. Покончив с обезьяньим мозгом, пожалуй, с несколько преувеличенным удовольствием, Милагрос и Анхелика принялись поесть ее внутренности, которые пеклись в углях завернутыми в толстые веерообразные листья. Каждый кусочек перед тем, как отправить в рот, они обмакивали в золу. Я сделала то же самое со своим кусочком мяса и к своему удивлению обнаружила, что оно стало чуть подсоленным. То, что мы не доели, было завернуто в листья, крепко обвязало лианами и уложено в корзину Анхелики до следующей трапезы.

Следующие четыре дня и ночи, казалось, слились друг с другом; мы шагали, купались и спали. Чем-то они походили на сон, в котором причудливой формы деревья и лианы повторялись, словно образы, бесконечно отраженные в невидимых зеркалах. Эти образы исчезали при выходе на поляны или к берегам речек, где солнце палило вовсю.

На пятый день волдыри у меня на ногах пропали.

Милагрос разрезал мои туфли и приладил к стелькам размягченные волокна каких-то плодов. Каждое утро он заново подвязывал к моим стопам эти самодельные сандалии, и мои ноги, словно по собственной воле, топали вслед за Милагросом и старухой.

Мы все шли молча по тропам, окаймленным сплошной листвой и колючими зарослями в человеческий рост. Мы проползали под нижними ветвями подлеска или расчищали себе путь сквозь стены из лиан и веток, выбираясь оттуда с перепачканными и исцарапанными лицами. Временами я теряла из виду моих провожатых, но легко находила дорогу по веточкам, которые Милагрос имел обыкновение надламывать на ходу. Мы переходили речки и ручьи по подвесным мостам из лиан, прикрепленных к деревьям на обоих берегах. На вид это были настолько ненадежные сооружения, что всякий раз, переходя очередной мост, я боялась, что он не выдержит нашего веса.

Милагрос смеялся и уверял меня, что его народ хоть и неважно плавает, зато искусен в строительстве мостов.

Кое-где нам попадались в грязи на тропях следы человеческих ног, что по словам Милагроса свидетельствовало о наличии по соседству индейской деревни. Но мы ни разу не подошли ни к одной из них, так как он хотел, чтобы мы дошли до цели без всяких остановок.

— Если бы я шел один, я бы уже давно был на месте, — говорил Милагрос всякий раз, когда я спрашивала, скоро ли мы придем в деревню Анхелики. И взглянув на нас, он сокрушенно добавлял: — С женщинами быстро не походишь.

Но против нашего неспешного темпа Милагрос не возражал. Мы часто разбивали лагерь задолго до сумерек, где-нибудь на широком речном берегу. Там мы купались в прогретых солнцем заводях и обсыхали на громадных гладких валунах, торчащих из воды. Мы сонно смотрели на неподвижные облака, которые так медленно изменяли форму, что спускались сумерки, прежде чем они полностью меняли свое обличье.

Именно в эти ленивые предвечерние часы я размышляла о причинах, побудивших меня удариться в эту немыслимую авантюру. Может, это ради осуществления какой-то моей фантазии? А может быть, я пряталась от какой-то ответственности, которая стала для меня непосильной? Не упускала я из виду и возможности того, что Анхелика могла меня околдовать.

С каждым днем мои глаза все больше привыкали к вездесущей зелени. Вскоре я начала различать синих и красных попугаев ара, редко попадавшихся туканов с черными и желтыми клювами. Однажды я даже заметила тапира, бредущего напролом через подлесок в поисках водопоя. В конечном счете он оказался нашим очередным блюдом.

Обезьяны с рыжеватым мехом следовали за нами по макушкам деревьев, исчезая лишь тогда, когда на нашем пути встречались реки с водоскатами и тихими протоками, в которых отражалось небо. Глубоко в зарослях, на обросших мхом поваленных деревьях, росли красные и желтые грибы, настолько хрупкие и нежные, что рассыпались в цветную пыль при малейшем прикосновении.

Я было пыталась сориентироваться по встречавшимся нам крупным рекам, надеясь, что они будут соответствовать тем, которые я помнила из учебников географии. Но всякий раз, когда я

спрашивала их названия, они не совпадали с теми, какие я знала, поскольку Милагрос называл их индейские имена.

По ночам при слабом свете костра, когда земля, казалось, источала белый туман, и я чувствовала на лице влагу ночной росы, Милагрос начинал низким гнусавым голосом рассказывать мифы своего народа.

Анхелика широко раскрывала глаза, словно стараясь не столько внимательно слушать, сколько не уснуть, и обычно минут десять сидела прямо, а потом крепко засыпала. А Милагрос рассказывал до глубокой ночи, оживляя в памяти времена, когда в лесу обитали некие существа — отчасти духи, отчасти животные, отчасти люди — существа, насылавшие мор и наводнения, наполнявшие лес дичью и плодами и учившие людей охоте и земледелию.

Любимым мифом Милагроса была история об аллигаторе Ивраме, который до того, как стать речным животным, ходил и разговаривал, как человек. Ивраме был хранителем огня и прятал его у себя в пасти, не желая делиться с другими. Тогда лесные обитатели решили устроить аллигатору роскошный пир, ибо знали, что только заставив его расхохотаться, они смогут похитить огонь. Они рассказывали ему одну шутку за другой, пока, наконец, Ивраме не выдержал и не разразился громким хохотом.

Тогда в его раскрытую пасть влетела маленькая птичка, схватила огонь и улетела высоко на священное дерево.

Оставляя нетронутым основное содержание мифов, которые он выбирал для рассказа, Милагрос видоизменял их и приукрашивал по своему вкусу. Он вставлял в них подробности, не приходившие ему прежде в голову, добавлял собственные суждения, возникавшие по ходу повествования.

— Сны, сны, — каждую ночь говорил Милагрос, заканчивая свои истории. — Кто видит сны, тот долго живет.

Наяву ли это было, во сне ли? Спала я или бодрствовала, когда услышала, как зашевелилась Анхелика? Невнятно что-то пробормотав, она села. Еще не очнувшись от сна, она отвела прилипшую к лицу прядь волос, огляделась и подошла к моему гамаку. Она смотрела на меня необычайно пристально; глаза ее казались огромными на худом морщинистом лице.

Она открыла рот; из ее гортани полились странные звуки, а все тело затряслось. Я протянула руку, но там не было ничего — одна лишь неясная тень, удаляющаяся в заросли. — Старая женщина, куда ты уходишь? — услышала я собственный голос. Ответа не было — лишь стук капель тумана, осевшего на листьях. На мгновение я увидела ее еще раз — такой, как в тот же день видела ее купающейся в реке; а потом она растаяла в густом ночном тумане.

Не в силах остановить ее, я видела, как она исчезла в расщелине, скрытой в земле. И сколько я ни искала, я не смогла найти даже ее платья. Это всего лишь сон, уговаривала я себя и продолжала искать ее в потемках, в окутанной туманом листве. Но от нее не осталось даже следа.

Я проснулась в сильной тревоге, с колотящимся сердцем. Солнце уже высоко поднялось над верхушками деревьев. Никогда еще с начала нашего похода я не спала так допоздна, и не потому, что я не хотела спать, — просто Милагрос требовал, чтобы мы поднимались с рассветом.

Анхелики не было; не было ни ее гамака, ни корзины. Под деревом стояли лук и стрелы Милагроса. Странно, подумала я. До сих пор он никогда без них не уходил. Должно быть, он ушел со старой женщиной собирать плоды или орехи, которые нашел вчера, повторяла я про себя, пытаясь загасить растущую тревогу.

Не зная, что делать, я подошла к краю воды. Никогда прежде они не уходили вдвоем, оставив меня одну.

На другом берегу реки стояло дерево, бесконечно одинокое, его ветви склонились над

водой, удерживая на весу целую сеть ползучих растений, на которой виднелись нежные красные цветы. Они походили на мотыльков, попавшихся в гигантскую паутину.

Стайка попугаев шумно расселась на лианах, тянувшихся, казалось, прямо из воды, безо всякой видимой опоры, потому что невозможно было разглядеть, к какому дереву они прикреплены. Я начала подражать крикам попугаев, но они явно не замечали моего присутствия.

Лишь когда я зашла в воду, они взлетели, раскинувшись по небу зеленой дугой.

Я ждала, пока солнце не скрылось за деревьями, а кроваво-красное небо не залило реку своим огнем. Я рассеянно подошла к гамаку, поворошила золу, пытаясь оживить костер. Прямо мне в лицо вперились янтарными глазами зеленая змея, и я онемела от ужаса. Покачивая головкой в воздухе, она, казалось, была напугана не меньше меня. Затаив дыхание, я вслушивалась, как она шуршала опавшей листвой, медленно исчезая в густом сплетении корней.

У меня уже не осталось сомнений, что Анхелику я никогда больше не увижу. Я не хотела плакать, но уткнувшись лицом в сухие листья, не смогла сдержать слез. — Куда же ты ушла, старая женщина? — шептала я те же слова, что и во сне. Я позвала ее по имени сквозь огромное зеленое море зарослей. Из-за старых деревьев не донеслось никакого ответа. Они были немymi свидетелями моей печали.

В густеющих сумерках я еле разглядела фигуру Милагроса.

С почерневшим от золы лицом и телом, он замер передо мной, немного постоял, выдерживая мой взгляд, а потом глаза его закрылись, ноги подкосились, и он устало рухнул на землю.

— Ты похоронил ее? — спросила я, перекинув его руку себе через плечо, чтобы втащить его на мой гамак. Мне это удалось с большим трудом — сначала перекинула туловище, потом ноги.

Он открыл глаза и поднял руку к небу, словно мог дотянуться к далеким облакам. — Ее душа вознеслась на небо, в дом грома, — с трудом выдавил он. — Огонь высвободил ее душу из костей, — добавил он и тут же крепко уснул.

Охраняя его беспокойный сон, я увидела, как перед моими усталыми глазами выросла призрачная чаща деревьев. В ночной тьме эти химерические деревья казались реальнее и выше пальм. Печали больше не было. Анхелика исчезла в моем сне, стала частицей настоящих и призрачных деревьев. Теперь она вечно будет скитаться среди духов исчезнувших зверей и мифических существ.

Перед самым рассветом Милагрос взял лежавшие на земле мачете, лук и стрелы. С отрешенным видом он забросил за спину колчан и, ни слова не говоря, направился в заросли. Я поспешила следом, боясь потерять его в полумраке.

Часа два мы шли молча, а потом Милагрос резко остановился на краю лесной прогалины.

— Дым мертвых вреден для женщин и детей, — сказал он, указав на сложенный из бревен погребальный костер.

Он уже частично обрушился, и в золе виднелись почерневшие кости.

Сев на землю, я стала смотреть, как Милагрос подсушивает над небольшим костром ступу, сделанную им из куска дерева. Со смесью ужаса и какого-то жуткого любопытства я неотступно следила за тем, как Милагрос просеивает золу, выбирая из нее кости Анхелики. Потом он принялся толочь их в ступе тонким шестом, пока те не превратились в черно-серый порошок.

— С дымом костра ее душа добралась к дому грома, — сказал Милагрос. Была уже ночь, когда он наполнил наши тыквенные сосуды истолченными костями и замазал их вязкой смолой.

— Жаль, что она не смогла заставить смерть подождать еще самую малость, — сказала я с тоской.

— Это не имеет значения, — сказал Милагрос, поднимая глаза от ступы. Лицо его было

бесстрастно, но в черных глазах блестели слезы. Его нижняя губа дрогнула, потом скривилась в полуулыбку. — Все, чего она хотела, — это чтобы ее жизненная сущность снова стала частицей ее народа.

— Это не одно и то же, — возразила я, не вполне понимая, что имеет в виду Милагрос.

— Ее жизненная сущность находится в ее костях, — сказал он так, словно прощал мне мое невежество. — Ее пепел вернется к ее народу, в лес.

— Ее нет в живых, — настаивала я. — Что толку от ее пепла, если она хотела увидеть свой народ? — При одной мысли о том, что я никогда больше не увижу эту старую женщину, не услышу ее голоса и смеха, на меня снова нахлынула безудержная печаль. — Она так и не рассказала, почему была уверена, что я пойду вместе с ней.

Милагрос заплакал и, выбрав уголья из костра, стал тереть ими свое мокрое от слез лицо.

— Один наш шаман сказал Анхелике, что хотя она и покинула свою деревню, умрет она среди своего народа, а душа ее останется частью родного племени. — Милагрос жестко взглянул на меня, словно я собиралась его перебить. — Этот шаман уверил ее, что об этом позаботится девушка с волосами и глазами такого цвета, как у тебя.

— Но я думала, что ее народ никак не контактирует с белыми, — сказала я.

Слезы текли по лицу Милагроса, пока он объяснял, что в прежние времена его народ жил ближе к большой реке. — Теперь о тех днях помнят лишь немногие оставшиеся в живых старики, — сказал он тихо. — А позднее мы стали все дальше и дальше уходить в лес.

Я не вижу больше причины продолжать этот переход, подавленно думала я. Без этой старой женщины что мне делать среди ее народа? Она была главной причиной моего пребывания здесь.

— Что мне теперь делать? Ты отведешь меня обратно в миссию? — спросила я и, увидев недоумение на лице Милагроса, добавила: — Ведь принести ее пепел — это не одно и то же.

— Это одно и то же, — произнес он вполголоса. — Для нее это было важнее всего, — прибавил он, цепляя один из калабашей с пеплом мне на пояс.

Мое тело на мгновение застыло, потом расслабилось, когда я заглянула в глаза Милагроса. Его почерневшее лицо было полно благоговения и печали. Мокрыми от слез щеками он прижался к моим щекам и подчеркнул их угольями. Я робко тронула калабаш, висевший у меня на поясе; он был легок, как смех старой женщины.

Два дня мы, все убыстряя ход, без отдыха взбирались и спускались по склонам холмов. Я настороженно следила за безмолвной фигурой Милагроса, то появляющейся, то исчезающей в лесном сумраке. Торопливость его движений лишь усиливала мою неуверенность; временами мне хотелось заорать на него, чтобы он отвел меня обратно в миссию.

День над лесом помрачнел, а тучи из белых стали сначала серыми, затем и вовсе почернели. Тяжко и давяще они нависли над кронами деревьев. Тишину взорвал оглушительный раскат грома; вода потоками хлынула на землю, с беспощадной яростью ломая ветки, срывая листву.

Дав мне знак укрыться под гигантскими листьями, которые он успел нарезать, Милагрос присел на землю. Я же вместо того, чтобы подсесть к нему, сняла рюкзак, сняла висевший у меня на поясе сосуд с истолченными костями Анхелики и стащила с себя майку. Теплая вода благодатными струями забила по моему измученному телу. Намылив шампунем сначала голову, затем все тело, я смыла с кожи весь пепел, весь запах смерти. Я повернулась к Милагросу; его почерневшее лицо изможденно осунулось, а в глазах стояла такая печаль, что я пожалела о той поспешности, с какой принялась отмываться. Нервными движениями я стала стирать майку и, не глядя на него, спросила: — Мы ведь уже почти дошли до деревни? — По моему разумению, выйдя из миссии, мы прошагали далеко за сотню миль.

— Мы придем туда завтра, — сказал Милагрос, разворачивая маленький сверток из обвязанных лианами листьев с жареным мясом. Уголки его рта приподнялись в лукавой улыбке и резче обозначили морщины вокруг раскосых глаз. — То есть, если мы будем идти моим шагом.

Дождь стихал. Тучи разошлись. Я глубоко задыхалась, наполняя легкие чистым свежим воздухом. Долго еще после того, как дождь прекратился, с листвы падали капли.

Поймав отражение солнца, они ослепительно сверкали, словно осколки стекла.

— Я слышу, кто-то идет, — прошептал Милагрос. — Не шевелись.

Я ничего не слышала — ни птичьего голоса, ни шелеста листвы. Только я хотела сказать об этом, как треснула ветка, и на тропе перед нами появился нагой мужчина. Он был немного выше меня — примерно пять футов четыре дюйма. Интересно, подумала я, что делает его более мощным на вид — его мускулистая грудь или нагота. В руках у него был большой лук и несколько стрел. Лицо и тело были покрыты красными извилистыми линиями, которые тянулись по бокам вдоль ног и заканчивались точками вокруг колен.

Чуть позади него на меня таращились две молодые женщины. В их широко раскрытых темных глазах замерло изумление. Пучки волокон, казалось, выросли у них из ушей. В уголках рта и нижней губе торчали палочки величиной со спичку. Вокруг талии, на предплечьях, кистях рук и под коленками виднелись повязки из красных хлопковых волокон. Темные волосы были коротко острижены и так же, как у мужчины, на их макушках были выбриты широкие тонзуры.

Никто не произнес ни слова, и страшно разволновавшись, я выкрикнула: — *Шори нойе, шори нойе!* Анхелика как-то советовала мне, повстречав в лесу индейцев, приветствовать их словами «Добрый друг, добрый друг!» — *Айя, айя, шори,* — ответил мужчина, подходя поближе. Его уши были украшены перьями, торчавшими из обоих концов коротких, с мой мизинец, тростинок, воткнутых в мочки. Он завел разговор с Милагросом, сильно жестикулируя, и то рукой, то кивком головы показывая на тропу, ведущую в заросли. Несколько раз подряд он поднимал руку над головой, вытянув пальцы так, будто хотел дотянуться до солнечного луча.

Я сделала женщинам знак подойти ближе, но они с хихиканьем спрятались в кустах. Увидев бананы в висевших у них за плечами корзинах, я широко открыла рот и показала рукой, что хочу попробовать. Старшая из женщин осторожно подошла, не глядя на меня, отвязала корзину и

отломил от грозди самый мягкий и желтый банан. Одним ловким движением она вынула из рта палочки, впилась зубами в кожуру, надкусила ее вдоль, раскрыла и прямо мне под нос подсунула очищенный плод.

Это был самый толстый банан странной треугольной формы, который я когда-либо видела.

— Очень вкусно, — сказала я по-испански, поглаживая себя по животу. По вкусу он был похож на обычный банан, но оставил во рту толстый налет.

Она подала мне еще два. Когда она начала очищать четвертый, я попыталась дать ей понять, что уже наелась.

Улыбнувшись, она уронила недоочищенный банан на землю и положила руки мне на живот. Руки у нее были загрубевшие, но тонкие нежные пальцы были ласковы, когда она неуверенно потрогала мою грудь, плечи и лицо, словно желая убедиться, что я на самом деле существую. Она заговорила высоким гнусавым голосом, напомнившим мне голос Анхелики. Потом оттянула резинку моих трусов и подозвала свою товарку посмотреть. Только теперь я почувствовала смущение и попыталась отстраниться. Смеясь и радостно повизгивая, они обняли меня и принялись оглаживать спереди и сзади. Они были немного ниже меня ростом, но довольно плотно сложены; рядом с этими полногрудыми, широкобедрыми, с выпуклыми животами женщинами я выглядела совершенным ребенком.

— Они из деревни Иतिकотери, — сказал по-испански Милагрос, повернувшись ко мне. — Этева и две его жены, и еще другие люди из деревни устроили на несколько дней лагерь на старом заброшенном огороде недалеко отсюда. Он взял лук и стрелы, оставленные было у дерева, и добавил: — Дальше мы пойдем вместе с ними.

Тем временем женщины обнаружили мою мокрую майку. Не успела я набросить ее на себя, как они в полном восторге стали тереть ее о свои раскрашенные лица и тела.

Растянутая и вымазанная красной пастой *оното*, она висела на мне, как огромный грязный рисовый мешок.

Я уложила сосуд с пеплом в рюкзак, и когда вскинула его себе на спину, женщины неудержимо захихикали. Подошел Этева и встал рядом со мной; он окинул меня внимательным взглядом карих глаз, потом с широкой улыбкой, осветившей все лицо, провел пальцами по моим волосам.

Точеный нос и нежный изгиб губ придавали его округлому лицу почти девичий облик.

— Я пойду с Этевой по следу тапира, которого он недавно засек, — сказал Милагрос, — а ты пойдешь с женщинами.

Какое-то мгновение я таращилась на него, не веря своим ушам.

— Но... — выдавила я наконец, не зная, что еще сказать. Должно быть, выглядела я очень забавно, потому что Милагрос расхохотался; его раскосые глаза почти скрылись между лбом и высокими скулами. Он положил руку мне на плечо, стараясь быть серьезным, но на губах его держалась озорная улыбка.

— Это народ Анхелики и мой народ, — сказал он, вновь поворачиваясь к Этеве и двум его женам. — Ритими ее внучатая племянница. Анхелика никогда ее не видела.

Я улыбнулась обеим женщинам, а они кивнули так, словно поняли слова Милагроса.

Смех Милагроса и Этевы еще какое-то время раздавался эхом среди лиан, а затем стих, когда они дошли до бамбуковых зарослей, окаймлявших тропу вдоль реки. Ритими взяла меня за руку и повела в гущу зелени.

Я шла между Ритими и Тутеми. Мы молча шагали гуськом к заброшенным огородам Иतिकотери. Интересно, думала я, почему они ходят немного косолапо — из-за тяжелого груза за спиной или потому, что это придает им большую устойчивость. Наши тени то росли, то укорачивались вместе со слабыми солнечными лучами, пробивавшимися сквозь кроны деревьев.

Мои колени совершенно ослабели от усталости. Я неуклюже ковыляла, то и дело спотыкаясь о корни и ветки. Ритими обняла меня за талию, но это сделало ходьбу по узкой тропе еще неудобнее.

Тогда она стащила у меня со спины рюкзак и затолкала его в корзину Тутеми.

Меня охватила странная тревога. Мне захотелось забрать рюкзак, достать оттуда сосуд с пеплом и привязать его к себе на пояс. Я смутно почувствовала, что вот сейчас разорвалась какая-то связь. Если бы меня попросили выразить это чувство словами, я не смогла бы этого сделать. И все же я ощутила, что с этой минуты некое таинственное волшебство, перелитое в меня Анхеликой, растаяло.

Солнце уже скрылось за деревьями, когда мы вышли на лесную прогалину. Среди всех прочих оттенков зелени я отчетливо разглядела светлую, почти прозрачную зелень банановых листьев. По краю того, что некогда было обширным огородом, выстроились полукругом задами к лесу треугольные по форме хижины. Жилища были открыты со всех сторон, кроме крыш из банановых листьев в несколько слоев.

Словно по сигналу, нас мгновенно окружила толпа мужчин и женщин с широко раскрытыми глазами и ртами.

Я вцепилась в руку Ритими; то, что она шла со мной через лес, как-то отличало ее от этих глазевших на меня людей.

Обхватив за талию, она теснее прижала меня к себе. Резкий возбужденный тон ее голоса на минуту сдержал толпу. А затем сразу же их лица оказались всего в нескольких дюймах от моего. С их подбородков капала слюна, а черты искажала табачная жвачка, торчащая между деснами и нижними губами. Я начисто забыла о той объективности, с какой антрополог обязан подходить к иной культуре. В данный момент эти индейцы были для меня не чем иным, как кучкой уродливых грязных людей. Я закрыла глаза и тут же открыла, почувствовав на щеках прикосновение чьей-то сухой ладони. Это был старик. Заулыбавшись, он закричал: — *Айя, сия, айиия, шори!* Эхом повторяя его крик, все тут же бросились наперебой меня обнимать, чуть не раздавив от радости. Они умудрились стащить с меня майку. На лице и теле я почувствовала их руки, губы и языки. От них несло дымом и землей; их слюна, прилипшая к моему телу, воняла гнилыми табачными листьями. От омерзения я разрыдалась.

Они настороженно отпрянули. Хотя слов я не понимала, их интонации явно свидетельствовали о недоумении.

Уже вечером я узнала от Милагроса, как Ритими объяснила толпе, что нашла меня в лесу. Поначалу она приняла меня за лесного духа и боялась ко мне подойти.

Только увидев, как я поедаю бананы, она убедилась, что я человек, потому что только люди едят с такой жадностью.

Между гамаком Милагроса и моим, дымя и потрескивая, горел костер; он тускло освещал открытую со всех сторон хижину, оставляя в темноте сплошную стену деревьев. От этого красноватого света и дыма на мои глаза наворачивались слезы. Вокруг костра, касаясь друг друга плечами, тесно сидели люди. Их затененные лица казались мне совершенно одинаковыми; красные и черные узоры на телах словно жили своей собственной жизнью, шевелясь и извиваясь при каждом движении.

Ритими сидела на земле вытянув ноги и левой рукой опиралась о мой гамак. Ее кожа в неверном свете костра отсвечивала мягкой глубокой желтизной, нарисованные на лице линии сходились к вискам, подчеркивая характерные азиатские черты. Хорошо были видны освобожденные от палочек дырочки в уголках ее рта, в нижней губе и в перегородке между широкими ноздрями. Почувствовав мой взгляд, она встретила со мной глазами, и ее круглое лицо расплылось в улыбке. У нее были короткие квадратные зубы, крепкие и очень белые.

Я стала задремывать под их тихий говор, но спала какими-то урывками, думая о том, что мог им рассказывать Милагрос, когда я то и дело просыпалась от их хохота.

— Когда ты думаешь вернуться? — спросила я Милагроса шесть месяцев спустя, отдавая ему письмо, которое написала в миссию отцу Кориолано. В нем я кратко уведомляла его, что намерена пробыть у Итикотери еще по меньшей мере два месяца. Я просила его дать знать об этом моим друзьям в Каракасе; и самое главное, я умоляла его передать с Милагросом столько блокнотов и карандашей, сколько он сможет. — Когда ты вернешься? — спросила я еще раз.

— Недели через две, — небрежно ответил Милагрос, упрятав письмо в бамбуковый колчан. Должно быть, он заметил озабоченность у меня на лице, потому что добавил: — Наперед никогда не скажешь, но я вернусь.

Я проводила его взглядом по тропе, ведущей к реке. Он поправил висевший за спиной колчан и на мгновение обернулся ко мне, словно хотел сказать что-то еще. Но вместо этого лишь махнул на прощанье рукой.

А я медленно направилась в *шабоно*, миновав нескольких мужчин, занятых рубкой деревьев у края огородов. Я осторожно обходила валявшиеся на расчищенном участке стволы, стараясь не поранить ноги о куски коры и острые щепки, таящиеся в сухой листве.

— Он вернется, как только поспеют бананы, — крикнул Этева, взмахнув рукой, как это только что сделал Милагрос. — Праздника он не пропустит.

Улыбнувшись, я помахала ему в ответ и хотела было спросить, когда же будет этот праздник. Но в этом не было нужды, на этот вопрос он уже ответил, — когда поспеют бананы. Колючие кустарники и бревна, которые каждую ночь нагромождались перед главным входом в *шабоно*, были уже убраны. Было еще раннее утро, но почти все обращенные лицом к открытой круглой поляне хижины были пусты. Мужчины и женщины работали на расположенных поблизости огородах либо ушли в лес собирать дикие плоды, мед и дрова для очагов.

Меня обступили несколько вооруженных миниатюрными луками и стрелами мальчишек. — Смотри, какую ящерицу я убил, — похвалился Сисиве, держа за хвост мертвое животное.

— Только это он и умеет — стрелять ящериц, — насмешливо заявил один из мальчишек, почесывая коленку пальцами другой ноги. — И то почти всегда промахивается.

— Не промахиваюсь! — крикнул Сисиве, покраснев от злости.

Я погладила чуть отросшие волосы на его выбритой макушке. В солнечном свете волосы у него оказались не черными, а красновато-коричневыми. Подыскивая слова из своего небогатого запаса, я постаралась заверить его, что когда-нибудь он станет лучшим охотником в деревне.

Сисиве, сыну Ритими и Этевы, было шесть, максимум семь лет от роду, потому что он еще не носил лобкового шнурка. Ритими, считавшая, что чем раньше подвязать пенис мальчика к животу, тем быстрее сын будет расти, постоянно заставляла его это делать. Но Сисиве отказывался, оправдываясь, что ему больно. Этева не настаивал. Его сын и так рос крепким и здоровым. Скоро уже, доказывал отец, Сисиве и сам поймет, что негоже мужчине показываться на людях без такого шнурка. Как большинство детей, Сисиве носил на шее кусочек пахучего корня, отгонявшего хворь, и как только стирались рисунки на его теле, его тут же заново раскрашивали пастой *оното*.

Заулыбавшись, начисто позабыв о гневе, Сисиве взялся за мою руку и одним ловким движением вскарабкался на меня так, словно я была деревом. Он обхватил меня ногами за талию, откинулся назад и, вытянув руки к небу, крикнул: — Смотри, какое оно голубое — совсем как твои глаза! Из самого центра поляны небо казалось огромным. Его великолепия не затеняли ни деревья, ни лианы, ни листва.

Густая растительность толпилась за пределами *шабоно*, позади бревенчатых заграждений,

охранявших доступ в деревню. Казалось, деревья терпеливо дожидаются своего часа, зная, что их вынудили отступить лишь на время.

Потянув меня за руку, ребяташки свалили нас с Сисиве на землю. Первое время я не могла разобраться, кто чей родитель, потому что дети кочевали от хижины к хижине, ели и спали там, где им было удобно. Только о младенцах я точно знала, чьи они, так как они вечно висели подвязанными к телам матерей. Ни днем, ни ночью младенцы не проявляли никакого беспокойства независимо от того, чем занимались их матери.

Не знаю, что бы я стала делать без Милагроса. Каждый день он по несколько часов обучал меня языку, обычаям и верованиям своего народа, а я жадно записывала все это в блокноты.

Разобраться, кто есть кто у Итикотери, было весьма непросто. Они никогда не называли друг друга по имени, разве что желая нанести оскорбление. Ритими и Этеву называли Отцом и Матерью Сисиве и Тешомы (детей разрешалось называть по имени, но как только они достигали половой зрелости, этого всячески избегали). Еще сложнее обстояли дела с мужчинами и женщинами из одного и того же рода, ибо они называли друг друга братьями и сестрами; мужчины и женщины из другого рода именовались зятьями и невестками. Мужчина, женившийся на женщине из данного рода, называл женами всех женщин из этого рода, но не вступал с ними в сексуальный контакт.

Милагрос часто замечал, что приспособиваться приходится не мне одной. Мое поведение, бывало, точно так же ставило Итикотери в тупик; для них я не была ни мужчиной, ни женщиной, ни ребенком, из-за чего они не знали, что обо мне думать, к чему меня отнести.

Из своей хижины появилась старая Хайяма.

Визгливым голосом она велела детям оставить меня в покое. — У нее еще пусто в животе, — сказала она и, приобняв за талию, повела меня к очагу в своей хижине.

Стараясь не наступить и не споткнуться о какую-нибудь алюминиевую или эмалированную посудину (приобретенную путем обмена с другими деревнями), черепаши панцири, калабаши и корзинки, в беспорядке валявшиеся на земляном полу, я уселась напротив Хайямы.

Полностью вытянув ноги на манер женщин Итикотери и почесывая голову ее ручного попугая, я стала ждать еды.

— Ешь, — сказала она, подавая мне печеный банан на обломке калабаша. С большим вниманием старуха следила за тем, как я жую с открытым ртом, то и дело причмокивая. Она улыбнулась, довольная тем, что я по достоинству оценила мягкий сладкий банан.

Милагрос представил мне Хайяму как сестру Анхелики. Всякий раз, глядя на нее, я пыталась отыскать какое-то сходство с хрупкой старушкой, с которой я навеки рассталась в лесу. Ростом около пяти футов четырех дюймов, Хайяма была довольно высокой для женщин Итикотери. Она не только физически отличалась от Анхелики, не было у нее и легкости души, присущей ее сестре. В голосе и манерах Хайямы ощущалась жесткость, из-за чего я нередко чувствовала себя неуютно. А ее тяжелые обвислые веки вообще придавали лицу особо злое выражение.

— Ты останешься здесь, у меня, пока не вернется Милагрос, — заявила старуха, подавая мне второй печеный банан.

Чтобы ничего не отвечать, я набила рот горячей едой.

Милагрос представил меня своему зятю Арасуве, вождю Итикотери, и всем прочим жителям деревни. Однако именно Ритими, повесив мой гамак в хижине, которую разделяла с Этевой и двумя детьми, заявила на меня свои права. — Белая Девушка будет спать здесь, — объявила она Милагросу, пояснив, что гамаки малышей Сисиве и Тешомы будут повешены вокруг очага Тутеми в соседней хижине.

Никто не стал возражать против замысла Ритими.

Молча, с чуть насмешливой улыбкой, Этева наблюдал за тем, как Ритими носилась между хижинами — своей и Тутеми — перевешивая гамаки привычным треугольником вокруг огня. На небольшом возвышении между двумя столбами, поддерживающими все жилище, она водрузила мой рюкзак среди лубяных коробов, множества разных корзин, топора, сосудов с *оното*, семенами и кореньями.

Самоуверенность Ритими основывалась не столько на том факте, что она была старшей дочерью вождя Арасуве от его первой, уже умершей жены, дочери старой Хайямы, и не столько на том, что она была первой и любимой женой Этевы, сколько на том, что Ритими знала, что, несмотря на порывистый нрав, все в *шабоно* ее уважали и любили.

— Не могу больше, — взмолилась я, когда Хайяма достала из огня очередной банан. — У меня уже полон живот.

И задрав майку, я выпятила живот, чтобы она видела, какой он полный.

— Твоим костям надо бы обрасти жиром, — заметила старуха, разминая пальцами банан. — У тебя груди маленькие, как у ребенка. — Хихикнув, она подняла мою майку повыше. — Ни один мужчина никогда тебя не захочет — побоится, что ушибется о твои кости.

Широко раскрыв глаза в притворном ужасе, я сделала вид, что жадно набрасываюсь на пюре. — От твоей еды я уж точно стану толстой и красивой, — пробубнила я с набитым ртом.

Еще не обсохшая после купания в реке, в хижину вошла Ритими, расчесывая волосы тростниковым гребнем. Сев рядом, она обняла меня за шею и вlepила пару звучных поцелуев. Я едва удержалась от смеха. Поцелуи Иतिकотери вызывали у меня щекотку. Они целовались совсем не так, как мы; всякий раз, приложившись ртом к щеке или шее, они делали фыркающий выдох, заставляя губы вибрировать.

— Ты не станешь перевешивать сюда гамак Белой Девушки, — сказала Ритими, глядя на бабу. Решительность тона совсем не вязалась с просительно мягким выражением ее темных глаз.

Не желая оказаться причиной спора, я дала понять, что не так уж важно, где будет висеть мой гамак. Поскольку стен между хижинами не было, мы жили практически под одной крышей. Хижина Хайямы стояла слева от Тутеми, а справа от нас была хижина вождя Арасуве, где он жил со своей старшей женой и тремя самыми младшими детьми. Две другие его жены со своими отпрысками занимали соседние хижины.

Ритими вперила в меня немой молящий взгляд. — Милагрос просил меня заботиться о тебе, — сказала она, осторожно, чтобы не оцарапать кожу, пройдясь тростниковым гребнем по моим волосам.

Прервав кажущееся бесконечным молчание, Хайяма наконец заявила: — Можешь оставить свой гамак там, где он висит, но есть ты будешь у меня.

Все сложилось очень удачно, подумала я. Этева и без того должен прокормить четыре рта. С другой стороны, о Хайяме хорошо заботился ее самый младший сын. Судя по количеству висящих под пальмовой крышей звериных черепов и банановых гроздей, ее сын был хорошим охотником и земледельцем. После съеденных утром печеных бананов вся семья собиралась за едой еще только один раз, перед закатом. В течение дня люди закусывали всем, что попадалось под руку, — плодами, орехами, либо такими деликатесами, как жареные муравьи или личинки.

Ритими тоже, казалось, была довольна договоренностью насчет питания. Она с улыбкой прошла в нашу хижину, сняла подаренную мне ею корзину, которая висела над моим гамаком, и достала из нее блокнот и карандаши. — А теперь за работу, — заявила она командирским тоном.

В последние дни Ритими передавала мне науку о своем народе так же, как в течение шести минувших месяцев это делал Милагрос. Каждый день он несколько часов уделял тому, что я

называла формальным обучением.

Поначалу мне было очень трудно усвоить язык. Я обнаружила, что у него не только сильное носовое произношение, — мне еще оказалось крайне сложно понимать людей, разговаривающих с табачной жвачкой во рту. Я попыталась было составить нечто вроде сравнительной грамматики, но отказалась от этой затеи, когда поняла, что у меня не только нет должной лингвистической подготовки, но и чем больше я старалась ввести в изучение языка рациональное начало, тем меньше могла говорить.

Лучшими моими учителями были дети. Хотя они отмечали мои ошибки и с удовольствием заставляли повторять разные слова, они не делали осознанных попыток что-либо мне объяснить. С ними я могла болтать без умолку, нимало не смущаясь допущенных ошибок. После ухода Милагроса я все еще многого не понимала, но не могла надивиться тому, как легко стала общаться с остальными, научившись правильно понимать их интонации, выражения лиц, красноречивые движения рук и тел.

В часы формального обучения Ритими водила меня в гости к женщинам то в одну, то в другую хижину, и мне разрешалось вдоволь задавать вопросы. Ошеломленные моим любопытством, женщины обо всем рассказывали легко, словно играя в какую-то игру. Если я чего-то не понимала, они раз за разом терпеливо повторяли свои объяснения.

Я была благодарна Милагросу за создание прецедента.

Любопытство не только считалось у них бестактностью, им вообще было не по душе, когда их расспрашивают. Несмотря на это, Милагрос всячески потакал тому, что называл моей странной причудой, заявив, что чем больше я узнаю о языке и обычаях Итикотери, тем скорее почувствую себя среди них как дома.

Вскоре стало очевидно, что мне вовсе не нужно задавать так уж много прямых вопросов. Нередко мое самое невинное замечание вызывало такой встречный поток информации, о котором я и мечтать не могла.

Каждый день перед наступлением темноты я с помощью Ритими и Тутеми просматривала собранные днем данные и пыталась привести их в некое подобие классификации по таким разделам, как социальная структура, культурные ценности, основные технологические приемы, и по иным универсальным категориям социального поведения человека.

Однако, к моему глубокому разочарованию, была одна тема, которой Милагрос так и не затронул: шаманизм. Из своего гамака я наблюдала два сеанса исцеления, которые подробно впоследствии описала.

— Арасуве — это великий *шапори*, — сказал мне Милагрос, когда я наблюдала за первым ритуалом исцеления.

— Своими заклинаниями он взывает к помощи духов? — спросила я, глядя, как зять Милагроса массирует, лижет и растирает простертое тело ребенка.

Милагрос возмущенно зыркнул на меня. — Есть такие вещи, о которых не говорят. — Он резко поднялся с места и перед тем, как выйти из хижины, добавил: — Не спрашивай о таких вещах. Будешь спрашивать — не миновать тебе беды.

Его ответ меня не удивил, но я не была готова к его неприкрытому гневу. Интересно, думала я, он не желает обсуждать эту тему из-за того, что я женщина, или потому, что шаманизм вообще является темой запретной. Тогда у меня не хватило смелости это выяснить. То, что я женщина, белая, да еще одна-одинешенька, само по себе внушало достаточные опасения.

Мне было известно, что почти во всяком обществе знания, касающиеся практики шаманства и целительства, открываются исключительно посвященным. За время отсутствия Милагроса я ни разу не упомянула слова «шаманизм», однако целыми часами обдумывала, как бы лучше об этом разузнать, не вызвав ни гнева, ни подозрений.

Из моих заметок, сделанных на сеансах исцеления, явствовало, что согласно верованиям Итикотери, тело *шапори* претерпевало некую перемену под воздействием нюхательного галлюциногена *эпены*. То есть шаман действовал, основываясь на убеждении, что его человеческое тело преобразалось в некое сверхъестественное тело. В результате он вступал в контакт с лесными духами. Вполне очевидным для меня был бы приход к пониманию шаманизма через тело — не как через объект, определяемый психохимическими законами, одушевленными стихиями природы, окружением или самой душой, а через понимание тела как суммы пережитого опыта, тела как экспрессивного единства, постигаемого через его жизнедеятельность.

Большинство исследований на тему шаманизма, в том числе и мои, сосредоточиваются на психотерапевтических и социальных аспектах исцеления. Я подумала, что мой новый подход не только даст новое объяснение, но и предоставит мне способ узнать об исцелении, не вызывая подозрений. Вопросы, касающиеся тела, вовсе не обязательно должны быть связаны с шаманизмом. Я не сомневалась, что шаг за шагом понемногу раздобуду необходимые данные, причем Итикотери даже не заподозрят, что именно меня интересует на самом деле.

Всякие угрызания совести по поводу непорядочности поставленной задачи быстро заглушались постоянными напоминаниями себе самой, что моя работа имеет большое значение для понимания незападных методов целительства.

Странные, нередко эксцентричные методы шаманизма станут более понятными в свете совершенно иного интерпретационного контекста, что, в свою очередь, расширит антропологические познания в целом.

— Ты уже два дня не работала, — сказала мне как-то Ритими, когда солнце перевалило за полдень. — Ты не спрашивала про вчерашние песни и танцы. Разве ты не знаешь, что они очень важны? Если мы не будем петь и плясать, охотники вернутся без мяса к празднику. — Нахмурившись, она бросила блокнот мне на колени. — Ты даже ничего не рисовала в своей книжке.

— Я отдохну несколько дней, — ответила я, прижимая блокнот к груди, словно самое дорогое, что у меня было. Не могла же я ей сказать, что каждая оставшаяся драгоценная страничка предназначалась исключительно для записей по шаманизму.

Ритими взяла мои ладони в свои, внимательно их осмотрела и, сделав очень серьезную мину, заметила: — Они очень устали, им надо отдохнуть.

Мы расхохотались. Ритими всегда недоумевала, как я могу считать работой разрисовывание моей книжки. Для нее работа означала прополку сорняков на огороде, сбор топлива для очага и починку крыши шабоно.

— Мне очень понравились и песни, и пляски, — сказала я. — Я узнала твой голос. Он очень красивый.

Ритими просияла. — Я очень хорошо пою. — В ее утверждении была очаровательная прямота и уверенность; она не хвастала, она лишь констатировала факт. — Я уверена, что охотники придут с большой добычей, чтобы хватило накормить гостей на празднике.

Согласно кивнув, я отыскала веточку и схематически изобразила на мягкой земле фигуру человека. — Это тело белого человека, — сказала я, обозначив основные внутренние органы и кости. — Интересно, а как выглядит тело Итикотери? — Ты, должно быть, и впрямь устала, если задаешь такие глупые вопросы, — сказала Ритими, глядя на меня, как на полоумную. Она поднялась и пустилась в пляс, припевая громким мелодичным голосом: — Это моя голова, это моя рука, это моя грудь, это мой живот, это моя...

Вокруг нас моментально собралась толпа мужчин и женщин, привлеченных забавными ужимками Ритими.

Смеясь и повизгивая, они принялись отпускать непристойные шутки насчет тел друг друга. Кое-кто из мальчишек-подростков буквально катался по земле от хохота, держа себя за половые органы.

— Может еще кто-нибудь нарисовать свое тело так, как я нарисовала мое? — спросила я. На мой вызов откликнулось несколько человек.

Схватив кто деревяшку, кто веточку, кто сломанный лук, они стали рисовать на земле. Их рисунки резко отличались друг от друга, и не только в силу вполне очевидных половых различий, которые они всеми силами старались подчеркнуть, но еще и тем, что все мужские тела были изображены с крохотными фигурками в груди.

Я с трудом скрывала радость. По моему разумению, это должны были быть те самые духи, которых призывал Арасуве своими заклинаниями перед тем, как приступить к сеансу исцеления. — А это что такое? — спросила я как можно небрежнее.

— Это лесные *хекуры*, которые живут в груди у мужчины, — ответил один из мужчин.

— Все мужчины *шапори*? — В груди у каждого мужчины есть *хекура*, — ответил тот же мужчина. — Но заставить их себе служить может только настоящий *шапори*. И только великий *шапори* может приказать своим *хекурам* помочь больному или отразить колдовство враждебного *шапори*. — Изучая мой рисунок, он спросил: — А почему на твоём рисунке тоже есть *хекуры*, даже в ногах? Ведь у женщин их не бывает.

Я пояснила, что это никакие не духи, а внутренние органы и кости, и они тут же дополнили ими свои рисунки.

Удовлетворившись тем, что узнала, я охотно составила компанию Ритими, собравшейся в лес за дровами, что было самой трудоемкой и нелюбимой женской обязанностью.

Топлива всегда не хватало, потому что огонь в очагах поддерживался постоянно.

В тот же вечер, давно взяв себе это за правило, Ритими тщательно осмотрела мои ноги на предмет колючек и заноз.

Убедившись, что таковых нет, она удовлетворенно оттерла их ладонями дочиста.

— Интересно, преобразаются ли как-то тела *шапори*, когда на них воздействует *эпена*, — сказала я. Важно было получить подтверждение из их же уст, поскольку изначальной предпосылкой моего теоретического построения было то, что шаман действует на основании неких предположений, связанных с телом. Мне нужно было знать, все ли эти люди разделяют подобные предположения, и являются ли они осознанными или подсознательными по своей природе.

— Ты видела вчера Ирамамове? — спросила Ритими. — Ты видела, как он ходил? Его ноги не касались земли. Он очень могущественный *шапори*. Он стал большим ягуаром.

— Он никого не исцелил, — мрачно заметила я. Меня разочаровало то, что брат Арасуве считается великим шаманом. Пару раз я видела, как он колотил свою жену.

Утратив интерес к разговору, Ритими отвернулась и начала приготовления к нашему вечернему ритуалу. Сняв корзину с моими пожитками с небольшого возвышения в глубине хижины, она поставила ее на землю. Один за другим она доставала оттуда различные предметы и, поднимая высоко над головой, ожидала, пока я их назову. Тогда вслед за мной она повторяла название по-испански, затем по-английски, а ей начинал вторить вечерний хор жен вождя и нескольких других женщин, каждый вечер собиравшихся в нашей хижине.

Я удобно устроилась в гамаке, а пальцы Тутеми принялись прядь за прядью перебирать мои волосы в поисках воображаемых вшей; я-то не сомневалась, что у меня их нет — пока нет. На вид Тутеми была пятью-шестью годами младше Ритими, которой, по моему, было около двадцати. Она была выше ростом и крупнее, а живот ее округляла первая беременность. Она была робка и застенчива. Я часто замечала в ее глазах какое-то печальное, отсутствующее

выражение, и временами она разговаривала сама с собой, словно размышляя вслух.

— Вши, вши! — закричала Тутеми, прервав англоиспанскую декламацию женщин.

— Дай-ка мне посмотреть, — сказала я, в полной уверенности, что она шутит. — Разве вши белые? — спросила я, разглядывая крошечных белых жучков на ее пальце. Я всегда считала, что они темные.

— Белая Девушка — белые вши! — с лукавым видом сказала Тутеми. С явным удовольствием она хрустнула ими на зубах и проглотила. — Вши всегда белые.

Наступил день праздника. С самого полудня надо мной хлопотали Ритими и Тутеми, взявшие на себя заботу меня украсить. Заостренным кусочком бамбука Тутеми остригла мне волосы на общепринятый манер, а острой, как лезвие ножа, травинкой выбрила макушку. Волосы с моих ног она удалила с помощью абразивной пасты, приготовленной из золы, растительной смолы и ила.

Ритими разрисовала мне лицо волнистыми линиями, а все тело расписала затейливыми геометрическими узорами с помощью разжеванной веточки. Мои ноги, красные и опухшие после удаления волос, остались нераскрашенными. К моим сережкам-колечкам, которые мне удалось отстоять, она прикрепила по розовому цветку вместе с пучками белых перьев. К предплечьям, кистям рук и коленкам она привязала красные шнурки из хлопковой пряжи.

— О нет. Только не это, — воскликнула я, отскакивая подальше от Ритими.

— Да это совсем не больно, — заверила она меня, а потом негодуя спросила: — Ты что, хочешь выглядеть, как старуха? Это же не больно, — настаивала Ритими, ходя за мной по пятам.

— Оставь ее в покое, — сказал Этева, доставая с возвышения лубяной короб. Оглядев меня, он расхохотался. Его крупные белые зубы и прищуренные глаза, казалось, насмеялись над моим смущением. — Не так уж много у нее волос на лобке.

Я с облегчением повязала вокруг бедер красный хлопковый пояс, который дала мне Ритими, и рассмеялась вместе с ним. Убедившись, что широкий плоский пояс повязан так, что его бахрома полностью скрывает неуместную растительность, я сказала Ритими: — Вот видишь, ничего не видно.

Ритими оставила это без внимания и, равнодушно пожав плечами, продолжала обследовать собственный лобок в поисках хотя бы одного волоска.

Загорелое лицо и тело Этевы украшали круги и завитушки. Поверх лобкового шнурка он повязал толстый круглый пояс из красной хлопковой пряжи, на предплечьях — узкие полоски обезьяньего меха, к которым Ритими прикрепила загодя отобранные Этевой из короба белые и черные перья.

Запустив пальцы в липкую смолистую пасту, приготовленную сегодня утром женами Арасуве, Ритими вытерла их о волосы Этевы. Тутеми сразу же взяла из другого короба целый пучок белых пушистых перьев и прилепила их к его голове, так что он словно оказался в белой меховой шапке.

— Когда начнется праздник? — спросила я, глядя, как несколько мужчин оттаскивают прочь с уже расчищенной от растительности поляны огромные кучи банановой кожуры.

— Когда будет готов банановый суп и все мясо, — ответил Этева, расхаживая по хижине, чтобы мы вдоволь им налюбовались. Его губы кривились в улыбке, а насмешливые глаза все еще были прищурены. Он взглянул на меня и вынул изо рта табачную жвачку. Положив ее на обломок калабаша, он мощной высокой дугой сплюнул поверх своего гамака. С уверенным видом человека, чрезвычайно довольного своей внешностью, он еще раз повернулся перед нами и вышел из хижины.

Мокрую от его слюны жвачку подобрала малышка Тешома.

Запихнув ее в рот, она принялась сосать с таким же наслаждением, с каким я бы сейчас вгрызлась в шоколадку. Ее мордашка, обезображенная торчащей изо рта жвачкой, выглядела уморительно. Улыбаясь, она забралась в мой гамак и вскоре заснула.

В соседней хижине я видела вождя Арасуве, возлежащего в своем гамаке. Оттуда он присматривал за приготовлением бананов и жаркой мяса, принесенного охотниками,

уходившими за добычей несколькими днями раньше. Словно рабочие у конвейера, несколько мужчин с рекордной скоростью обрабатывали многочисленные связки бананов.

Один, впившись острыми зубами в кожуру, раскрывал ее; другой срывал твердую шкурку и бросал банан в лубяное корыто, сделанное сегодня утром Этевой; третий следил за тремя разведенными под корытом маленькими кострами.

— А почему стряпней занимаются одни мужчины? — спросила я у Тутеми. Я знала, что женщины никогда не готовят крупную дичь, но меня поразило, что ни одна из них и близко не подошла к бананам.

— Женщины большие растяпы, — ответил Арасуве за Тутеми, входя в хижину. Глаза его, казалось, ожидали, хватит ли у меня смелости возразить. И улыбнувшись, он добавил: — Они легко отвлекаются на всякую всячину, а огонь тем временем прожигает корыто.

Не успела я ничего сказать в ответ, как он уже опять был в своем гамаке. — Он приходил только затем, чтобы это сказать? — Нет, — сказала Ритими. — Он приходил, чтобы на тебя посмотреть.

У меня не было охоты спрашивать, прошла ли я инспекцию Арасуве, чтобы не напоминать ей о невьщипанных волосах у меня на лобке. — Смотри, — сказала я, — к нам гости.

— Это Пуривариве, самый старший брат Анхелики, — сказала Ритими, указывая на старика в группе мужчин. — Он — *шапори*, наводящий страх. Однажды его убили, но он не умер.

— Однажды его убили, но он не умер, — медленно повторила я, не зная, как это понимать, — в буквальном или переносном смысле.

— Его убили во время набега, — сказал Этева, заходя в хижину. — Мертвый, мертвый, мертвый, но не умер. — Он отдельно выговаривал каждое слово, усиленно шевеля губами, словно таким способом мог донести до меня истинное значение своих слов.

— А такие набеги еще случаются? На мой вопрос никто не ответил. Этева достал длинную полую тростинку, небольшой тыквенный сосуд, спрятанный за одним из стропил, и вышел встречать гостей, остановившихся посреди поляны лицом к хижине Арасуве.

Мужчины все подходили, и я громко поинтересовалась, приглашались ли на праздник женщины.

— Они снаружи, — пояснила Ритими. — Украшают себя вместе с остальными гостями, пока мужчины принимают *эпену*.

Вождь Арасуве, его брат Ирамамове, Этева и еще шестеро мужчин Иतिकотери, все разукрашенные перьями, мехом и красной пастой *оното*, уселись на корточки напротив уже сидевших гостей. Они немного поговорили, избегая глядеть друг другу в глаза.

Арасуве отвязал висевший у него на шее маленький калабаш, засыпал немного коричневатозеленого порошка в один конец полой тростинки и повернулся к брату Анхелики. Приставив конец тростинки к носу шамана, Арасуве с силой вдул одурманивающий порошок в ноздрю старика. Шаман не сморщился, не застонал и не отшатнулся, как это делали другие мужчины. Но глаза его помутнели, а из носа и рта потекла какая-то зеленая слизь, которую он смахивал веточкой. Медленно, нараспев он начал произносить заклинания. Слов я не могла разобрать; они произносились слишком тихо и тонули в завываниях остальных.

С остекленевшими глазами, со слизью и слюной, стекающей по подбородку и груди, Арасуве высоко подпрыгнул.

Красные перья попугая, висевшие у него в ушах и на руках, затрепетали. Он подпрыгивал, касаясь земли с легкостью, невероятной для человека столь плотного телосложения. Лицо его словно было высечено из камня. Над крутым лбом свисала прямая челка. Нос с широко раздутыми ноздрями и оскаленный рот напомнили мне одного из четырех царей-стражей,

которых я видела когда-то в японском храме.

Кое-кто из мужчин отошел в сторону, пошатываясь и держась за голову; их рвало. Завывания старика становились все громче; один за другим мужчины снова сгрудились вокруг него. Они молча сидели на корточках, обхватив руками колени и уставив глаза в лишь им одним видимую точку, пока *шапори* не завершил своего песнопения.

Каждый мужчина Иतिकотери вернулся в свою хижину, ведя гостя. Арасуве пригласил Пуривариве; Этева вошел в хижину с одним из тех молодых мужчин, которых вырвало. Не удостоив нас взглядом, гость развалился в гамаке Этевы, как в своем собственном; на вид ему было не больше шестнадцати.

— А почему не все мужчины Иतिकотери принимали *эпену* и украсили себя? — шепотом спросила я Ритими, которая хлопотала вокруг Этевы, очищая и заново раскрашивая ему лицо пастой оното.

— Завтра все они будут украшены. В ближайшие дни к нам придут еще гости, — сказала она. — Сегодняшний день только для родственников Анхелики.

— Но ведь здесь нет Милагроса.

— Он пришел сегодня утром.

— Сегодня утром! — повторила я, не веря своим ушам.

Лежащий в гамаке Этевы юноша взглянул на меня, широко раскрыв глаза, и закрыл их снова. Проснулась Тешома и захныкала. Я попыталась успокоить ее, сунув в рот выпавшую на землю табачную жвачку. Выплюнув ее, она заревела еще громче. Я отдала девочку Тутеми, которая стала ее укачивать, пока ребенок не успокоился. Почему Милагрос не дал мне знать, что вернулся, думала я со злостью и обидой. От жалости к себе на глаза у меня навернулись слезы. 1 — Смотри, вот он идет, — сказала Тутеми, указывая на вход в *шабоно*.

В сопровождении группы мужчин, женщин и детей Милагрос подошел прямо к хижине Арасуве. Его глаза и рот были обведены красными и черными линиями. Я не сводила замороженного взгляда с повязанного у него на голове черного обезьяньего хвоста, с которого свисали разноцветные перья попугая. Такие же перья украшали меховые повязки на его предплечьях. Вместо праздничного пояса из хлопковой пряжи на нем была ярко-красная набедренная повязка.

Необъяснимая тревога охватила меня, когда он подошел к моему гамаку. При виде его сурового, напряженного лица сердце у меня заколотилось от страха.

— Принеси свой калабаш, — сказал он по-испански и, отвернувшись, направился к корыту с банановым супом.

Не обращая на меня ни малейшего внимания, все двинулись на поляну вслед за Милагросом. Я молча достала корзину, поставила ее перед собой на землю и вытащила все свои пожитки. На самом дне, завернутый в рюкзак, лежал гладкий, цвета охры калабаш с пеплом Анхелики.

Я часто задумывалась, что мне с ним делать. Ритими, перебирая мои вещи, никогда не трогала рюкзак.

В моих застывших, похолодевших руках сосуд словно потяжелел. А каким легким он был, когда я несла его через лес подвешенным к поясу.

— Высыпь все это в корыто, — сказал Милагрос. Это он тоже сказал по-испански.

— Там же суп, — тупо сказала я. Голос мой дрожал, а руки так ослабели, что мне показалось, я не смогу вытащить смоляную затычку.

— Высыпай, — повторил Милагрос, тихонько подталкивая мою руку.

Я неловко присела и медленно высыпала горелые, мелко истолченные кости в суп, не сводя замороженного взгляда с темного холмика, выросшего на густой желтой поверхности. Запах был

тошнотворный. Пепел так и остался наверху. Туда же Милагрос высыпал содержимое своего сосуда. Женщины завели причитания и плач. Может быть, мне тоже полагается заплакать, подумала я. Но я знала, что несмотря на все старания, не выжму из себя ни слезинки.

Вздвигнув от громкого треска, я выпрямилась. Ручкой мачете Милагрос расколол оба калабаша на половинки. Потом он хорошенько размешал прах в супе, так что желтая масса сделалась грязно-серой.

У меня на глазах он поднес половинку калабаша с супом ко рту и опорожнил ее одним долгим глотком. Утерев подбородок тыльной стороной ладони, он снова наполнил ковшик и передал его мне.

Я в ужасе взглянула на окружавшие меня лица; они с напряженным вниманием следили за каждым моим движением и жестом, в их глазах не оставалось ничего человеческого. Женщины прекратили плач. Я слышала бешеный стук собственного сердца. Часто сглатывая в попытках избавиться от сухости в горле, я протянула дрожащую руку. Затем крепко зажмурилась и одним духом проглотила вязкую жидкость. К моему удивлению сладкий, с чуть солоноватым привкусом суп легко прокатился по горлу. Слабая улыбка смягчила напряженное лицо Милагроса, когда он взял у меня пустой ковшик. А я повернулась и пошла прочь, чувствуя, как в желудке волнами накатывает тошнота.

Из хижины доносилась визгливая болтовня и смех.

Сисиве, сидя на земле в компании своих приятелей, показывал им один за другим мои пожитки, которые я оставила разбросанными в беспорядке. Тошнота мигом растворилась в приступе ярости, когда я увидела свои блокноты тлеющими в очаге.

Захваченные врасплох дети вначале смеялись над тем, как я, обжигая пальцы, пыталась спасти то, что осталось от блокнотов. Постепенно веселье на их лицах сменилось изумлением, когда до них дошло, что я плачу.

Я выбежала из *шабоно* по тропе, ведущей к реке, прижимая к груди обгорелые странички. — Я попрошу Милагроса отвести меня обратно в миссию, — бубнила я, размазывая слезы по лицу. Но эта мысль настолько поразила меня своей абсурдностью, что я расхохоталась. Как я предстану перед отцом Кориолано с выбритой тонзурой? Присев над водой, я заложила палец в рот и попыталась вырвать. Бесполезно. Вконец измученная, я улеглась лицом вверх на плоском камне, нависающем над водой, и стала разбираться, что же осталось от моих записей. Прохладный ветерок ворошил мои волосы. Я перевернулась на живот. Теплота камня наполнила меня мягкой истомой, унесшей прочь всю мою злость и усталость.

Я поискала в прозрачной воде свое лицо, но ветерок мелкой рябью сдул с поверхности все отражения. Река не возвращала ничего. Пойманная, словно в капкан, темными заводями у берегов, яркая зелень растительности казалась сплошной дымчатой массой.

— Пусти свои записи по воде, — сказал Милагрос, садясь на камне рядом со мной. Его внезапное появление меня не удивило. Я ожидала, что он придет.

Чуть кивнув головой, я молча повиновалась, и рука моя свисла с камня. Пальцы разжались. И глядя, как мои записи уплывают по течению, я почувствовала, как с моих плеч упал тяжкий груз. — Ты не ходил в миссию, — сказала я. — Почему ты не сообщил, что отправляешься за родственниками Анхелики? Милагрос, не отвечая, молча глядел на другой берег.

— Это ты велел детям сжечь мои записи? — спросила я.

Он повернул ко мне лицо, но снова промолчал. Судя по плотно сжатым губам, он был чем-то разочарован, но чем — я не в силах была понять. Когда он, наконец, заговорил, голос его был тих, словно пробивался вопреки его желанию. — Иतिकотери, как и другие племена, многие годы уходили все глубже в леса, подальше от миссий и больших рек, где проходят пути белого человека. — Отвернувшись, он глянул на ящерицу, с трудом перебирающуюся через камень. На

какое-то мгновение она уставилась на нас немигающими глазами и скользнула прочь. — Иные племена предпочли поступить иначе, — продолжал Милагрос.

— Они хотят заполучить товары, которые предлагают *racionales*. Они не смогли понять, что только лес может дать им безопасность. Слишком поздно они обнаружат, что для белого человека индеец не лучше собаки.

Он говорил, что всю жизнь прожив между двумя мирами, он знает, что у индейцев нет шансов выжить в мире белого человека, как бы ни старались отдельные немногие представители обеих рас сделать возможным обратное.

Я стала рассказывать об антропологах и их работе, о важности запечатления обычаев и верований, которые, как он только что сам сказал, в противном случае обречены на забвение.

Тень насмешливой улыбки искривила его губы. — Про антропологов я знаю: я работал как-то с одним из них как информатор, — сказал он и засмеялся; смех его был тонок и визглив, но лицо оставалось бесстрастным. В глазах его не было смеха; они светились враждебностью.

Я опешила, потому что его гнев был, казалось, направлен против меня. — Ты же знал, что я антрополог, — неуверенно сказала я. — Ты сам помогал мне заполнить добрую половину блокнота сведениями об Итикотери. Ведь ты же водил меня от хижины к хижине, поощряя других все мне рассказывать и учить вашему языку и обычаям.

Милагрос хранил полную невозмутимость, его раскрашенное лицо походило на лишенную всякого выражения маску. Мне захотелось его встряхнуть. Моих слов он будто не слышал. Милагрос смотрел на деревья, уже почерневшие на фоне угасающего неба. Я заглянула снизу вверх ему в лицо. Голова его резким силуэтом выделялась на фоне неба.

И я увидела небо, словно подернутое огненными перьями попугая и пурпурными кистями длинной обезьяньей шерсти.

Милагрос печально покачал головой. — Ты сама знаешь, что пришла сюда не работать. Ты намного лучше могла бы сделать то же самое в какой-нибудь деревне поближе к миссии. — В уголках его глаз собрались слезы; они дрожа поблескивали на густых коротких ресницах. — Знание наших обычаев и верований дано тебе для того, чтобы ты могла войти в ритм нашей жизни; чтобы ты чувствовала себя под защитой и в безопасности. Это дар, который нельзя ни использовать, ни передавать другим.

Я не в силах была отвести взгляда от его влажных блестящих глаз; в них не было упрека. В его черных зрачках я видела отражение своего лица. Дар Анхелики и Милагроса.

Наконец-то я поняла. Меня провели сюда через леса вовсе не затем, чтобы я увидела их народ глазами антрополога, просеивая, взвешивая и анализируя все увиденное и услышанное, — а для того, чтобы увидеть их так, как увидела бы Анхелика в свой последний раз. Она тоже знала, что ее время и время ее народа подходит к концу.

Я перевела взгляд на воду. Я и не почувствовала, как мои часы упали в реку, но они лежали там на галечном дне, — зыбкое видение крошечных светящихся точек в воде, то сходящихся вместе, то расходящихся. Должно быть, сломалось звено металлического браслета, подумала я, но не стала и пытаться достать часы, это последнее звено, соединявшее меня с миром за пределами этого леса.

Голос Милагроса прервал мои мысли: — Когда-то очень давно, в одной деревне у большой реки я работал у антрополога. Он не жил вместе с нами в *шабоно*, а построил себе отдельную хижину неподалеку от бревенчатого ограждения. У нее были стены и дверь, которая запиралась изнутри и снаружи. — Милагрос немного помолчал, смахнул слезы, подсыхавшие у окруженных морщинками глаз, потом спросил: — Хочешь знать, что я с ним сделал? — Да, — неуверенно сказала я.

— Я дал ему *эпену*, — Милагрос выдержал паузу и улыбнулся, словно моя настороженность

доставила ему удовольствие. — Этот антрополог повел себя так же, как любой другой, кто вдохнет священный порошок. Он сказал, что у него были видения, как у шамана.

— В этом нет ничего удивительного, — сказала я, слегка раздосадованная плутовским тоном Милагроса.

— А вот и есть, — сказал он и рассмеялся. — Потому что я вдул ему в ноздри обычную золу. А от золы только кровь идет из носа, больше ничего.

— Ты и мне собираешься дать то же самое? — спросила я, покраснев от того, как жалостно прозвучал мой голос.

— Я дал тебе частицу души Анхелики, — тихо сказал он, помогая мне подняться.

Границы *шабоно*, казалось, растворялись в темноте. В тусклом свете я все хорошо видела. Собравшиеся вокруг корыта люди показались мне похожими на лесных существ, в их блестящих глазах отражался свет костров.

Я уселась рядом с Хайямой и приняла из ее рук кусок мяса. Ритими потерлась головой о мою руку. Малышка Тешома вскарабкалась ко мне на колени. Среди знакомых запахов и звуков я чувствовала полное удовлетворение и защищенность. Пристально всматриваясь в окружающие меня лица, я думала о том, как много у Анхелики родственников. Не было ни одного лица, походившего на нее.

Даже черты Милагроса, прежде казавшегося таким похожим на Анхелику, теперь выглядели иначе. А может, я уже забыла, как она выглядела, подумала я с грустью. И тут в свете костра я увидела ее улыбающееся лицо. Я трянула головой, пытаясь избавиться от наваждения, и оказалось, что я смотрю на старого шамана Пуривариве, сидящего на корточках чуть поодаль от всех.

Это был маленький, тощий, сухой человечек с коричневато-желтой кожей; мышцы на его руках и ногах уже усохли. Но волосы его все еще были темны и чуть вились.

Он никак не был украшен; все его одеяние состояло из повязанной вокруг талии тетивы. На подбородке торчали редкие волоски, а по краям верхней губы виднелись жалкие остатки усов. Его глаза под тяжелыми сморщенными веками поблескивали крохотными огоньками, отражая свет костра.

Зевнув, он раскрыл зияющий провалами рот, в котором, как сталагмиты, торчали пожелтевшие зубы. Смех и разговоры смолкли, когда он стал нараспев произносить заклинания голосом, который, казалось, принадлежал к иному месту и времени. У него было два голоса: один, гортанный, был высокий и гневный; другой, идущий из живота, был низкий и успокаивающий.

Долго еще после того, как все разошлись по гамакам и угасли костры, Пуривариве, согнувшись в три погибели, сидел у небольшого огня посреди поляны. Он пел тихим приглушенным голосом.

Я выбралась из гамака и присела рядом с ним на корточки, стараясь коснуться ягодицами земли. По мнению Итикотери, это был единственный способ, полностью расслабившись, часами сидеть на корточках. Давая понять, что заметил мое присутствие, Пуривариве коротко взглянул на меня и снова уставился в пустоту, словно я прервала ход его размышлений.

Больше он не шевелился, и у меня возникло странное ощущение, что он уснул. Но тут он чуть передвинул по земле ягодицы, не расслабляя ног, и потихоньку снова еле слышно запел. Ни одного слова я понять не могла.

Начался дождь, и я вернулась в свой гамак. Капли мягко шлепались на пальмовую крышу, порождая странный завораживающий ритм. Когда я снова обратила взгляд к центру поляны, старик уже исчез. И только с поднимающейся над лесом зарей я провалилась в бесконечность сна.

Красный закат пронизывал воздух багряным свечением. Несколько минут небо пылало перед тем, как быстро погрузиться в темноту. Шел третий день праздника.

Сидя в гамаке с детьми Этевы и Арасуве, я наблюдала, как около полусотни мужчин Итикотери и их гостей с самого полудня без еды и отдыха пляшут в центре поляны. В ритме собственных пронзительных криков, под трескучее постукивание луков о стрелы, они поворачивались то в одну сторону, то в другую, ступая вперед и назад. Над всем властвовал глухой назойливый ритм звуков и движений, колыхание перьев и тел, смешение алых и черных узоров.

Над деревьями взошла полная луна, ярко осветив поляну. На мгновение непрерывный гул и движение стихли. Затем плясуны разразились дикими гортанными криками, наполнив воздух оглушительным ревом, и отшвырнули прочь луки и стрелы.

Забежав в хижину, танцоры выхватили из очагов горящие головни и с бешеной яростью принялись лупить ими по столбам, поддерживающим крышу *шабоно*. Полчища всевозможных ползучих насекомых со всех ног бросились спасаться в пальмовой крыше, а оттуда дождем посыпались вниз.

Испугавшись, что хижины могут рухнуть либо разлетающиеся искры подожгут крыши, я с детьми выбежала наружу. Земля дрожала от топота ног мужчин, разворотивших очаги во всех хижинах. Размахивая над головой горящими головнями, они выбежали в центр поляны и возобновили пляску со все нарастающим неистовством. Они обошли поляну по кругу, болтая головами во все стороны, словно марионетки с оборванными ниточками. Пышные белые перья в их волосах, трепеща, ниспадали на блестящие от пота плечи.

Луна скрылась за черной тучей. Поляну освещали теперь только искры, слетающие с горящих головней.

Пронзительные крики мужчин взвились еще выше; размахивая палицами над головой, они стали приглашать женщин принять участие в пляске.

С криками и смехом женщины бросились врассыпную, ловко уворачиваясь от свистящих в воздухе дубинок.

Неистовство плясунов неумолимо нарастало и достигло наивысшей точки, когда юные девушки с гроздьями желтых бананов в высоко поднятых руках влились в их круг, покачиваясь в чувственном самозабвении.

Не помню точно, Ритими или кто другой втолкнул меня в пляшущую толпу, потому что в следующее мгновение я очутилась одна посреди бешеного круговорота исступленных лиц. Зажатая между мраком и телами, я попыталась пробраться к Хайяме, стоявшей на безопасном расстоянии в своей хижине, но не знала, куда мне идти. Я не узнала мужчину, который, размахивая палицей, снова втолкнул меня в гущу пляски.

Я закричала и с ужасом поняла, что мои крики словно онемели, выдохлись внутри меня бесчисленными отголосками. Ничком падая на землю, я почувствовала резкую боль в голове за ухом. Я открыла глаза, стараясь что-нибудь увидеть сквозь густеющий вокруг меня мрак, и только успела подумать, заметил ли хоть кто-то в неистовой круговерти скачущих ног, что я упала. А потом была темнота, помеченная искорками света, влетающими и вылетающими у меня из головы, словно ночные светляки.

Потом я смутно осознала, что кто-то оттаскивает меня подальше от топота пляски и укладывает в гамак. Я с огромным усилием открыла глаза, но склонившаяся надо мной фигура была как в тумане. На лице и затылке я ощутила легкое прикосновение чуть дрожащих рук. На

мгновение мне показалось, что это Анхелика. Но услышав этот ни на что не похожий голос, идущий из глубины живота, я поняла, что это старый шаман Пуривариве распевает свои заклинания. Я попыталась сосредоточить на нем взгляд, но его лицо оставалось размытым, словно видимое сквозь толстый слой воды. Я хотела спросить его, где он был, почему я не видела его с первого дня праздника, но слова оставались лишь образами у меня в голове.

Не знаю, то ли я потеряла сознание, то ли спала, но когда я очнулась, Пуривариве уже не было. Вместо него я увидела лицо Этевы, склоненное надо мной так низко, что я могла бы потрогать красные круги на его щеках, между бровями и в уголках глаз. Я протянула руки. Но рядом уже никого не было. Я снова прикрыла глаза; в голове, словно в черной пустоте, красной вуалью плясали круги. Я крепче зажмурилась, пока это видение не рассыпалось на тысячи осколков. Огонь в очаге разожгли снова; он наполнил хижину уютным теплом, а меня словно спеленало плотное покрывало дыма. Вырванные из темноты пляшущие тени отражались в золотистом налете на свисающих со стропил калабашах.

Весело смеясь, в хижину вошла старая Хайяма и уселась возле меня на земляной пол. — Я думала, ты будешь спать до утра. — Подняв обе руки к моей голове, она стала ощупывать ее, пока не отыскала шишку, вздущуюся за ухом. — Большая, — заметила она. Ее иссохшее лицо выражало сдержанную грусть; в глазах теплился тихий ласковый свет. Я села в лубяном гамаке. Только теперь до меня дошло, что я нахожусь не в хижине Этевы.

— Ирамамове, — сказала Хайяма, опередив мой вопрос. — Его хижина была ближе всех, вот Пуривариве и притащил тебя сюда после того, как тебя толкнули на чью-то дубинку.

Луна уже высоко забралась в небо. Ее бледный мерцающий свет сеялся на поляну. Пляски закончились, но в воздухе все еще висела неуловимая дрожь.

Крича и ударяя стрелами о луки, несколько мужчин встали полукругом перед хижинкой. Ирамамове и один из его гостей шагнули в центр группы живо жестикулирующих мужчин. Я не могла сказать, из какой деревни был этот гость, так как совершенно запуталась в разных группах, приходивших и уходивших с начала праздника.

Ирамамове крепко уперся ногами в землю и поднял левую руку над головой, выпятив грудь. — *Ха, ха, ахаха, аита, аита!* — прокричал он, притопывая ногой. Этим бесстрашным кличем он вызывал противника нанести ему удар.

Молодой гость отмерил вытянутой рукой расстояние до тела Ирамамове; он несколько раз замахивался, и наконец, его сжатый кулак нанес мощный удар в левую сторону груди Ирамамове.

Потрясенная, я сжалась всем телом. На меня накатила тошнота, словно боль прошла мою собственную грудь. — Почему они дерутся? — спросила я Хайяму.

— Они не дерутся, — смеясь, ответила та. — Они хотят услышать, как звучат *хекуры*, жизненные сущности, обитающие у них в груди. Они хотят слышать, как при каждом ударе вибрируют *хекуры*.

Толпа взорвалась подбадривающими криками. Бурно дыша от возбуждения, юный гость отступил и ударил Ирамамове еще раз. С презрительно вздернутым подбородком, твердым взглядом, замерев в гордой стойке, Ирамамове принял одобрительные, возгласы мужчин. Только после третьего удара он изменил стойку. На мгновение его губы скривились в одобрительной усмешке, и тут же снова появилась ухмылка презрения и равнодушия. Постоянное притопывание ногой, как объяснила мне Хайяма, выражало не что иное, как раздражение: противник еще не нанес ему достаточно сильного удара.

С нездоровым оттенком праведного удовлетворения я надеялась, что Ирамамове хорошенько почувствует каждый удар. Поделом ему, думала я. Увидев однажды, как он колотит свою жену, я стала испытывать к нему все нарастающую неприязнь. И все же я не могла не

восхищаться тем, как он храбро держится среди этой толпы. В его прямой, как стрела, спине, в том, как он выпячивает разукрашенную ссадинами грудь, было что-то по-детски задиристое. Его круглое плоское лицо с узким лбом и распухшей верхней губой казалось таким ранимым, когда он в упор глядел на стоящего перед ним молодого противника.

Интересно, подумала я, не выдает ли его чуть дрогнувший взгляд, что ему крепко досталось.

Четвертый удар с сокрушительной силой врезался ему в грудь. Его отголоски походили на катящиеся по реке камни во время бури.

— Пожалуй, я слышала его *хекуры*, — сказала я, уверенная, что у Ирамамове сломано ребро.

— Он *ваутери*! — хором воскликнули Итикотери и их гости. Они восторженно запрыгали на корточках, колотя над головой стрелами о луки.

— Да. Это храбрец, — повторила Хайяма, не сводя глаз с Ирамамове. Тот, весьма довольный тем, как мощно прозвучали его *хекуры*, стоял, выпрямившись в толпе приветствовавших его мужчин, а его покрытая синяками грудь раздувалась от гордости.

Успокоив зрителей, вождь Арасуве шагнул к брату. — А теперь ты прими удар Ирамамове, — сказал он тому, кто нанес ему четыре удара.

Гость встал перед Ирамамове в такую же задиристую позицию. Кровь брызнула у него изо рта, когда он рухнул на землю под третьим ударом Ирамамове.

Ирамамове высоко подпрыгнул и пустился в пляс вокруг упавшего. Пот блестел на его лице, на вздувшихся мускулах шеи и плеч. Но голос его звучал ясно, звеня радостью, когда он воскликнул: — *Ай, ай, айайайай, айай!* Две женщины из числа гостей отнесли побитого в пустой гамак рядом с тем, в котором сидели мы с Хайямой.

Одна из них плакала; другая склонилась над мужчиной и стала отсасывать кровь и слюну из его рта, пока тот не задышал короткими медленными вздохами.

Ирамамове вызвал еще одного гостя нанести ему удар.

После первого он упал на колени и в таком положении потребовал, чтобы противник ударил еще раз. После следующего удара изо рта у него показалась кровь. Гость присел на корточки лицом к Ирамамове. Они обхватили друг друга руками и крепко обнялись.

— Ты хорошо ударил, — едва слышно прошептал Ирамамове. — Мои *хекуры* полны жизни, могущественны и счастливы. Пролилась наша кровь. Это хорошо. Наши сыновья вырастут крепкими. Наши огороды и лесные плоды будут зреть до сладости.

Гость выразил примерно те же мысли. Поклявшись в вечной дружбе, он пообещал Ирамамове мачете, приобретенное у индейцев, живущих у большой реки.

— А вот на это надо будет посмотреть внимательно, — сказала Хайяма, выходя из хижины. В числе мужчин, вышедших в круг для следующего раунда ритуальных ударов, был ее самый младший сын.

Я не хотела оставаться с побитым гостем в хижине Ирамамове. Две женщины, которые его принесли, вышли просить пришедшего с ними шамана, чтобы тот приготовил какое-нибудь снадобье, чтобы снять боль в груди раненого.

Перед глазами у меня все поплыло, когда я встала на ноги. Я медленно прошла через пустые хижины, пока не добралась до хижины Этевы. Там я растянулась в своем хлопковом гамаке, и надо мной сомкнулась жуткая тишина, словно я погрузилась в легкое забытье.

Меня разбудили рассерженные крики. Кто-то говорил: — Этева, ты спал с моей женщиной без моего разрешения! — Голос прозвучал так близко, словно над самым моим ухом. Перед хижинкой собралась группа мужчин и хихикающих женщин. Этева, неподвижно стоя в толпе с лицом, похожим на непроницаемую маску, не отвергал обвинения. Внезапно он крикнул: — Ты и твоя семья все три дня жрали, как голодные собаки! — Это было заведомо несправедливое обвинение; гостям давалось все, что они просили, ибо во время праздника огороды и охотничьи

угодья хозяев были в распоряжении гостей. Подобное оскорбление означало, что данный человек злоупотреблял своим привилегированным положением. — Ритими, подай-ка мою *набруши!* — крикнул Этева, грозно сдвинув брови на стоящего перед ним разъяренного молодого мужчину.

Ритими с рыданиями кинулась в хижину, выбрала подходящую дубинку и, не глядя на мужа, вручила ему четырехфутовую палицу. — Не могу я на это смотреть, — сказала она, плюхаясь в мой гамак. Я обняла ее, стараясь утешить. Не будь она такой расстроенной, я бы рассмеялась. Ни в малейшей степени не встревоженная неверностью Этевы, Ритими боялась, что вечер может закончиться серьезной потасовкой. Глядя на то, как орали друг на друга двое разгневанных мужчин, и на возбужденную реакцию толпы, я тоже невольно прониклась тревогой.

— Ударь меня по голове, — потребовал взбешенный пришелец. — Ударь, если ты мужчина. Увидим, посмеемся ли мы вместе. Увидим, пройдет ли ярость.

— Мы оба разозлены, — кричал Этева с нахальной самоуверенностью, взвешивая в руке *набруши*. — Мы должны умиротворить наш гнев. — Затем без дальнейших разговоров он крепко врезал по выбритой тонзуре противника.

Из раны хлынула кровь. Она медленно растекалась по лицу мужчины, пока не залила его сплошной красной маской. Ноги его дрогнули и чуть было не подкосились. Но он устоял.

— Ударь меня, и мы снова станем друзьями, — воинственно гаркнул Этева, заставив смолкнуть разгоряченную толпу. Опершись на палицу, он подставил в ожидании голову. Удар противника на мгновение ошеломил Этеву; кровь ручьем потекла по бровям и ресницам, заставив его закрыть глаза. Тишину взорвали вопли мужчин, и целый хор одобрительных выкриков потребовал, чтобы они ударили друг друга еще раз.

Со смешанным чувством ужаса и восхищения я следила за стоящими лицом к лицу противниками. Их мускулы были напряжены, вены на шеях вздулись, глаза сверкали, словно омытые яростным потоком крови. Их лица, замершие презрительными красными масками, не выдавали боли, когда они, как два раненых петуха, стали кружить друг против друга.

Тыльной стороной ладони Этева стер кровь, мешавшую ему видеть, и сплюнул. Подняв палицу, он с силой опустил ее на голову соперника, и тот беззвучно рухнул на землю.

Цокая языками, с помутневшими глазами, зрители разразились жуткими воплями. Я не сомневалась, что поединку пришел конец, когда все *шабоно* наполнилось их оглушительными криками. Я взялась за руку Ритими и удивилась, что ее залитое слезами лицо хранило довольное, почти радостное выражение. Она пояснила, что, судя по тону издаваемых мужчинами выкриков, их уже не волновали нанесенные вначале оскорбления. Все, что их интересовало, — это лицемерие могущества *хекур* каждого из соперников. Тут не было ни победителей, ни побежденных.

Если боец падал, это всего лишь означало, что в данный момент его *хекуры* недостаточно сильны.

Кто-то из зрителей вылил на лежащего гостя полный калабаш воды, потянул его за уши, вытер кровь с лица.

Потом, помогая подняться, сунул в руки обалдевшему бойцу его палицу и велел еще раз ударить Этеву по голове. У мужчины едва хватило сил поднять тяжелую палицу; вместо того, чтобы опустить ее на череп Этевы, он нанес ему удар в центр груди.

Этева рухнул на колени, кровь потекла у него изо рта по губам, подбородку и шее, вниз по груди и бедрам, красной струйкой уходя в землю. — Как хорошо ты ударил, — сдавленно произнес Этева. — Пролилась наша кровь. Наши тревоги позади. Наш гнев умиротворен.

Ритими подошла к Этеве. С громким вздохом я откинулась в гамаке и закрыла глаза. За этот вечер я насмотрелась достаточно крови. Опасаясь, нет ли у меня небольшого сотрясения, я

ощупала припухлость на голове.

Когда кто-то схватился за лиану, которой мой гамак был привязан к одному из столбов, я чуть не вывалилась на землю. Вздвигнув от неожиданности, прямо над собой я увидела залитое кровью лицо Этевы. То ли он меня не заметил, то ли ему было все равно, где лежать, но он просто кучей повалился на меня. Запах крови, теплый и острый, смешивался с кислым запахом его кожи. Несмотря на отвращение, я не могла отвести глаз от зияющей раны на его черепе, откуда до сих пор сочилась кровь, и от вздувшейся, побагровевшей груди.

Только а стала обдумывать, как бы высвободить придавленные его тяжестью ноги, как в хижину вошла Ритими, неся в руках калабаш с подогретой на костре водой. Она ловко приподняла Этеву и жестом велела мне сесть в гамаке за его спиной, чтобы можно было опереть его о мои поднятые колени. Осторожными движениями она обмыла ему лицо и грудь.

Этеве было лет двадцать пять, однако с прилипшими ко лбу влажными волосами и чуть приоткрытыми губами он казался беззащитным, как спящий ребенок. Мне вдруг пришло в голову, что он может умереть от внутренних повреждений.

— Завтра он поправится, — сказала Ритими, словно угадав мои мысли. Она тихонько засмеялась; в ее смехе по-детски звенела затаенная радость. — Хорошо, что пролилась кровь. У него сильные *хекуры*. Он *ваитери*.

Довольный похвалой Ритими, Этева открыл глаза. Переведя взгляд на меня, он что-то невнятно пробормотал.

— Да. Он *ваитери*, — поддакнула я.

Вскоре появилась Тутеми с темным горячим варевом.

— Что это такое? — спросила я.

— Лекарство, — улыбаясь, ответила Тутеми. Она сунула палец в снадобье и мазнула им по моим губам. — Пуривариве приготовил его из корней и волшебных растений. — В глазах Тутеми поблескивал довольный огонек.

Пролилась кровь: теперь она была уверена, что родит крепкого, здорового сына.

Ритими осмотрела мои ноги, все в синяках и ссадинах после того, как Пуривариве волок меня через поляну, и обмыла их остатками теплой воды. Я улеглась в неудобном лубяном гамаке Этевы.

Луна в короне желтого сияния добралась уже почти до верхушек деревьев. Несколько мужчин все еще плясали и пели на поляне; потом луна спряталась за тучей, и все потонуло во мраке. Одни лишь голоса, уже не пронзительные, а тихо бормочущие, указывали на то, что плясуны еще не разошлись. Луна выглянула снова, бледный свет озарил кроны деревьев, и темнокожие фигуры снова материализовались из тьмы; длинные тени их тел придавали реальность тихому постукиванию луков о стрелы.

Кое-кто из мужчин пел до тех пор, пока на востоке над деревьями не показался краешек зари. Небо покрывали темные пурпурные облака цвета избитой груди Этевы. Роса сверкала на листве, на бахроме склонившихся над хижинами пальмовых вершин. Голоса постепенно стихали, уносимые прохладным предрассветным ветром.

Сев и высадка рассады изначально относились к мужским обязанностям, но большинство женщин сопровождало своих мужей, отцов и братьев, когда те отправлялись поутру на огороды. Составляя им компанию, женщины помогали в прополке либо пользовались возможностью собрать топливо для очагов, если бывали срублены новые деревья.

Несколько недель я ходила с Этевой, Ритими и Тутеми на их участки. Долгие утомительные часы прополки, казалось, уходили впустую, поскольку не видно было никакого улучшения. Солнце и дожди одинаково способствовали росту всяких растений, без учета человеческих интересов.

У каждой семьи был свой участок земли, отгороженный поваленными стволами деревьев. Огород Этевы соседствовал с огородом Арасуве, который возделывал самый обширный участок из всех Итикотери, ибо в дни праздников гости кормились именно с участка вождя.

Сначала я умела распознавать только несколько видов бананов и различные пальмы, здесь и там растущие на огородах. Плодоносящие пальмы также высаживались целенаправленно, каждое дерево принадлежало тому, кто его посадил. Позднее я к своему удивлению обнаружила в зарослях сорняков великое разнообразие съедобных корнеплодов, таких как маниока, батат, разные тыквенные лианы, хлопчатник, табак и колдовские травы. На огородах и вокруг *шабоно* выращивались также деревья с розовыми цветами и красными стручками, из которых готовилась красная паста *оното*.

Пучки красных остроконечных стручков срезались, очищались, а ярко-алые семена с окружающей их мясистой мякотью помещались в большой калабаш, наполненный водой. Тщательно измельченная и перемешанная *оното* затем полдня кипятилась на медленном огне. Остыв за ночь, наполовину затвердевшая масса заворачивалась в продырявленные банановые листья и подвешивалась для просушки к стропилам хижины. Несколько дней спустя готовая к употреблению красная паста раскладывалась в маленькие калабаши.

В огороде Этевы Ритими, Тутеми и Этева имели свои собственные грядки с табаком и волшебными травами. Так же, как табачные грядки каждого жителя деревни, они были огорожены от непрошенных гостей частоколом из палок и острых костей. Табак не позволялось брать без разрешения, при каждом таком случае вспыхивали ссоры.

Ритими показала мне несколько своих волшебных трав.

Одни применялись для возбуждения любовной страсти и защиты; другие использовались в недобрых целях. Этева никогда не рассказывал о своих волшебных травах, а Ритими и Тутеми делали вид, что ничего о них не знают.

Однажды я увидела, как Этева выкапывает какой-то клубневидный корень. На другой день, уходя на охоту, он натер стопы и ноги этим измельченным в кашу корнем.

В тот день на ужин у нас было мясо броненосца. — Какое могущественное растение, — заметила я. Он долго смотрел на меня в недоумении, потом с усмешкой сказал: — Корни *адома* оберегают от змеиных укусов.

В другой раз, когда я сидела на огороде с малышом Сисиве, слушая его подробные пояснения насчет съедобных муравьев, мы увидели, как его отец выкапывает другой корень. Этева раздробил его, смешал сок с *оното* и натер этой смесью все тело. — На тропе моего отца появится пекари, — прошептал Сисиве. — Я это знаю по тому, какой он взял корень. На каждого зверя есть своя волшебная трава.

— Даже на обезьян? — спросила я.

— Обезьяны пугаются громких криков, — тоном знатока ответил Сисиве. От страха

обезьяны замирают на месте, и тогда стреляй в них сколько хочешь.

Однажды утром, почти скрытая в густом сплетении тыквенных лиан и сорняков, я заметила Ритими. За твердыми стеблями, остроконечными листьями и гроздьями белых, похожих на колокольчики цветов маниоки я видела только ее голову. Казалось, она разговаривает сама с собой; слов я не слышала, но губы ее все время шевелились, словно бормоча заклинания. Я было подумала, что она колдует над своими посевами табака, чтобы те быстрее росли, либо собирается угоститься табаком с грядки Этевы, расположенной по соседству.

Однако Ритими крадучись прошла к середине свой табачной делянки. Торопливыми движениями она принялась обрывать веточки и листья, затем воровато оглянувшись, затолкала их в корзину и прикрыла банановыми листьями.

Потом с улыбкой поднялась и, немного поколебавшись, направилась ко мне.

Почувствовав над собой ее тень, я с деланным удивлением подняла глаза.

Ритими поставила корзину на землю и села рядом со мной. Меня распирало любопытство, но я знала, что спрашивать о том, что она делала, бесполезно.

— Не трогай этого пучка в моей корзине, — сказала она немного погодя, не удержавшись от смеха. — Я знаю, что ты за мной подсматривала.

Я почувствовала, что краснею, и улыбнулась. — Ты стащила табак у Этевы? — Нет, — сказала она в притворном ужасе. — Он так хорошо знает все свои листочки, что сразу заметил бы пропажу.

— А мне показалось, что я видела тебя на его грядке, — заметила я небрежно.

Приподняв банановые листья в своей корзине, Ритими сказала: — Я была на своем участке. Видишь, я взяла несколько веточек волшебной травы *око-шики*, — прошептала она. — Я приготовлю очень сильное зелье.

— Ты собираешься кого-то лечить? — Лечить! Ты что, не знаешь, что лечит только *шапори*? — Чуть склонив голову набок, она немного подумала и продолжила: — Я собираюсь околдовать ту женщину, которая переспала с Этевой во время праздника, — заявила она с улыбкой.

— А может быть, тебе надо бы приготовить зелье и для Этевы, — спросила я, заглянув ей в лицо. Его изменившееся выражение застало меня врасплох. Рот ее сжался в ниточку, глаза сузились. — В конце концов, он виноват не меньше, чем та женщина, — пробормотала я извиняющимся тоном, чувствуя себя неуютно под ее жестким взглядом.

— Ты разве не видела, как эта баба бесстыдно с ним заигрывала? — с упреком сказала Ритими. — Ты разве не видела, как непристойно вели себя все эти женщины, пришедшие в гости? — Ритими довольно комично вздохнула и добавила с нескрываемым разочарованием: — Иногда ты бываешь такой дурехой.

Я не знала, что сказать. По моему убеждению, Этева был виноват не меньше той женщины. Не придумав ничего лучше, я улыбнулась. Впервые я застала Этеву в компрометирующей ситуации совершенно случайно. Каждое утро на заре я, как и все, выходила из хижины облегчиться. Я всегда заходила подальше в лес, за место, отведенное для отправления естественных нужд. Однажды утром я, вздрогнув от неожиданности, услышала тихий стон. Решив, что это какой-нибудь раненый зверь, я как можно тише поползла на звук, и в полном изумлении, вытаращив глаза, увидела Этеву, лежащего на самой младшей жене Ирамамове. Он, глупо улыбаясь, глянул мне в лицо, но не слезая с женщины, продолжал делать свое дело.

В тот же день немного позже Этева угостил меня найденным в лесу медом. Мед был редкостным лакомством, и им делились далеко не так охотно, как всякой другой едой.

Напротив, мед, как правило, поедался на том же месте, где был найден. Я поблагодарила Этеву за угощение, полагая, что получила взятку.

Сладкого мне постоянно не хватало. Я уже не брезговала есть мед с сотами, пчелами, личинками, куколками и пыльцой, как это делали Итикотери. Стоило Этеве принести в дом мед, как я садилась рядом с ним и до тех пор жадно смотрела на вязкое месиво, напиханное пчелами в различных стадиях развития, пока он не угощал меня кусочком. Мне даже не приходило в голову, что по его мнению, я наконец усвоила, что жадно смотреть на желаемый предмет или открыто попросить его как раз и считается хорошим тоном. Однажды, желая напомнить ему, что знаю о его любовных похождениях, я спросила, не боится ли он, что его снова огреет по голове чей-нибудь разъяренный муж.

Этева уставился на меня в полном недоумении. — Это все потому, что ты ничего толком не знаешь, иначе ты бы таких вещей не говорила. — В его тоне послышалась отчужденность, и он высокомерно отвернулся к группе подростков, заострявших бамбуковые щепки для наконечников к стрелам.

Бывали и другие ситуации, причем не всегда случайные, когда я заставала Этеву в момент прелюбодеяния.

Вскоре стало очевидно, что раннее утро — это не только время для удовлетворения низменных телесных нужд, но и самая удобная пора для внебрачных связей. Мне стало ужасно интересно, кто кому наставляет рога. Сговариваясь накануне вечером, парочки на рассвете скрывались в густых зарослях. Спустя несколько часов они как ни в чем не бывало возвращались по разным тропинкам, зачастую неся орехи, плоды, мед, а иногда даже топливо для очагов. Некоторые мужья, узнав о проделках жен, реагировали довольно бурно, даже колотили их, как это на моих глазах сделал Ирамамове. Другие, отлупив жен, требовали еще и дуэли с виновником, что временами приводило к крупной драке, в которую ввязывались и другие.

Мои раздумья были прерваны словами Ритими: — Ты почему смеешься? — Потому что ты права, — ответила я. — Иногда я действительно бываю дурехой. — До меня внезапно дошло, что Ритими знает о похождениях Этевы. Даже может быть, всем и каждому в *шабоно* известно, что происходит. И разумеется, в первый раз Этева угостил меня медом по чистому совпадению. И только я одна отнеслась к этому с подозрением, считая себя соучастницей.

Ритими обняла меня за шею, вlepила в щеку смачный поцелуй и заверила, что никакая я не дуреха, а просто очень многого не знаю. Она пояснила, что до тех пор, пока знает, с кем у Этевы связь, ее не особенно тревожат его любовные похождения. Само собой, радости это ей не доставляло, но она считала, что пока это кто-нибудь из их *шабоно*, она в определенной степени владеет ситуацией.

Выводила ее из себя вероятность того, что Этева может взять себе третью жену из другой деревни.

— А как ты собираешься околдовать эту женщину? — спросила я. — Ты сама приготовишь снадобье? Поднимаясь на ноги, Ритими самодовольно улыбнулась. — Если я тебе сейчас расскажу, колдовство не подействует. — Она помолчала, в глазах ее светилось лукавство. — Я расскажу тебе, когда уже околдую эту бабу. Вдруг тебе тоже когда-нибудь понадобится кого-то околдовать.

— Ты собираешься ее убить? — Нет. У меня на это духу не хватит, — ответила она. — У этой бабы будет болеть поясница, пока не сделается выкидыш. — Ритими забросила корзину за плечи и направилась к одному из немногих деревьев, оставленных нетронутыми у ее табачного участка. — Идем, перед тем, как идти на реку купаться, мне надо передохнуть.

Я немного постояла, пока отошли затекшие мышцы, и двинулась за ней. Ритими села на землю, прислонившись к мощному стволу дерева. Его листья раскрытыми ладонями заслоняли нас от солнца, давая прохладную тень.

Покрытая толстым слоем листвы земля была мягка. Положив голову на бедро Ритими, я

стала смотреть в небо, казавшееся прозрачным в своей чуть выгоревшей голубизне. За нашими спинами ветерок тихо шелестел в тростнике, словно не желая будоражить предполуденный покой.

— Шишка уже прошла, — сказала Ритими, пройдясь пальцами по моим волосам. — Да и на ногах никаких шрамов не осталось, — добавила она насмешливо.

Я сонно ей поддакнула. Ритими посмеивалась над моими опасениями серьезно заболеть от того, что сама она считала незначительным повреждением. Одного того, что Пуривариве выволок меня в безопасное место, уверяла она, вполне достаточно, чтобы гарантировать выздоровление.

Тем не менее я опасалась, что порезы на ногах могут загноиться, и настояла на том, чтобы она ежедневно обмывала их кипяченой водой. В качестве дополнительной предосторожности старая Хайяма втерла в ранки порошок из сгоревшего муравейника, объявив, что это природное дезинфицирующее средство. Никаких осложнений от этого жгучего порошка у меня не было, а порезы быстро зажили.

Сквозь полуприкрытые веки я смотрела на залитую светом и воздухом ширь раскинувшихся перед нами огородов. Потревоженная криками, доносившимися с дальнего конца огородов, я открыла глаза. Из-под огромных банановых листьев, казалось, возник из ничего Ирамамове, прокладывая дорогу в небо. Я зачарованно стала смотреть, как он карабкается по усеянному колючками стволу пальмы *раша*. Чтобы не пораниться о шипы, он действовал с помощью двух пар крестообразно связанных шестов, поочередно переставляя их по стволу. Без всяких усилий, плавными движениями он, становясь попеременно на одну пару шестов, поднимал другую все выше и выше, пока не добрался до желтых гроздьев *раша* самое меньшее в шестидесяти футах над землей. На мгновение он исчез в перистых листьях, серебристой аркой реющих в небе. Срезав плоды, Ирамамове привязал тяжелые гроздья к длинной лиане и спустил их на землю. Затем, неторопливо спустившись по стволу, он исчез в зелени бананов.

— Я люблю эти плоды, если их сварить; по вкусу они похожи на... — сказала я и только теперь сообразила, что не знаю перевода слова «картошка». Я села. Склонив набок голову и чуть приоткрыв рот, Ритими крепко спала. — Идем купаться, — позвала я, пощекотав ей нос травинкой.

Ритими уставилась на меня невидящим взглядом; у нее был немного растерянный вид, как у человека, только что видевшего сон. Она лениво поднялась, зевая и потягиваясь, как кошка. — Да, идем, — сказала она, вешая корзину за плечи. — Вода унесет прочь мой сон.

— Тебе приснилось что-то плохое? Она задумчиво на меня посмотрела и отвела волосы со лба. — Ты стояла одна на вершине горы, — сказала она неуверенно, словно припоминая. — Тебе не было страшно, но ты плакала. — Взглянув пристальнее, Ритими добавила: — А потом ты меня разбудила.

Как только мы свернули на тропу к реке, нас догнал Этева. — Достань-ка листьев *пишаанси*, — велел он Ритими и повернулся ко мне: — Идем со мной.

Я пошла следом за ним через вновь расчищенный участок леса, где уже была высажена банановая рассада и среди щепок от срубленных деревьев уже проглядывали первые ростки. Расстояние между ними выдерживалось от десяти до двенадцати футов, что позволяло взрослым растениям не затенять в будущем друг друга, а лишь касаться листьями.

Всего несколько дней назад Этева, Ирамамове и прочие близкие родственники Арасуве помогали ему отделять боковые побеги от огромного материнского бананового корня.

С помощью сплетенной из лиан и толстых листьев и снабженной лямками волокуши они притащили тяжелые отростки к месту новой посадки.

— Ты что, нашел мед? — спросила я с надеждой в голосе.

— Не мед, — ответил Этева, — а кое-что ничуть не хуже. — Он указал туда, где стояли Арасуве и двое старших его сыновей. Они по очереди пинали ногами старое банановое дерево. Из многослойного зеленого ствола сотнями выпадали личинки.

Как только Ритими вернулась из леса с листьями *пишаанси*, мальчики стали подбирать извивающихся червей и складывать на грубые широкие листья. Арасуве развел маленький костер. Один из его сыновей, крепко упершись ногами в землю, держал овальную по форме деревяшку, в то время как Арасуве с поразительной скоростью вращал между ладонями зажигательную палочку. Воспламенившаяся древесная труха подожгла термитник, поверх которого уже был набросан сухой хворост.

Ритими обжаривала личинок не больше минуты, пока листья *пишаанси* не чернели и не становились ломкими.

Раскрыв один сверток, Этева послунил указательный палец, обкатал его в жареных личинках и преложил все это мне. — Это вкусно, — настаивал он, видя, как я отворачиваюсь. Пожав плечами, он дочиста облизал палец.

Ритими с набитым ртом тоже взялась меня уговаривать снять пробу. — Как ты можешь говорить, что они тебе не нравятся, если ты их даже не пробовала? Взяв двумя пальчиками сероватую, еще теплую личинку, я положила ее в рот. Они ничем не отличаются от улиток, говорила я себе, или от жареных устриц. Но когда я попыталась проглотить личинку, она прилипла к языку.

Вынув ее изо рта, я подождала, пока наберется достаточно слюны и проглотила личинку, словно пилюлю. — По утрам я не ем ничего, кроме бананов, — заявила я Этеве, подсунувшему мне сверток с личинками.

— Ты же работала на огороде, — сказал он. — Тебе надо поесть. Когда нет мяса, вполне сойдет и такое. — И он напомнил, что мне нравились муравьи и сороконожки, которыми он меня иногда угощал.

При виде его полного надежды лица у меня не хватило духу сказать, что они мне нисколечко не нравились, хотя сороконожки и напоминали по вкусу хорошо прожаренные кусочки овощей. С трудом пересилив себя, я проглотила еще несколько жареных личинок.

Следом за мужчинами мы с Ритими двинулись через лес к реке. Плескаясь в воде, ребятишки пели песню про тапира, который упал в глубокий омут и утонул. Мужчины и женщины растирались листьями; их тела гладко и золотисто блестели на солнце. Сверкающие капли на кончиках темных волос играли в его лучах, как алмазные бусины.

Старая Хайяма жестом велела мне сесть рядом с ней на большом валуне у края воды. Подозреваю, что я стала предметом особых забот бабки Ритими, и та сочла делом своей чести во что бы то ни стало меня откормить. Хайяма пеклась о том, что бы мне всегда было чем перекусить в любое время дня, впрочем, как и всем детям в *шабоно*, которых хорошо кормили, чтобы они росли крепкими и здоровыми.

Она всячески потакала моей неутолимой страсти к сладостям. Стоило кому-нибудь найти сладкий густой светлый мед нежалящих пчел, — а только такой и давали детям, — как старая Хайяма заботилась о том, чтобы мне дали хотя бы попробовать. Если в *шабоно* приносился мед от черных жалящих пчел, Хайяма тоже добывала для меня кусочек.

Таким медом лакомились только взрослые, так как, по мнению Иतिकотери, у детей он может вызвать тошноту и даже смерть. В то же время Иतिकотери считали, что не будет никакой беды, если я буду есть оба вида, поскольку они никак не могли для себя решить, взрослая я или ребенок.

— Съешь вот это, — предложила мне Хайяма несколько плодов *сонаа*. Эти зеленовато-желтые плоды были величиной с лимон. Я разбила их камнем (пытаясь на манер Иतिकотери

разгрызать плоды и орехи, я уже сломала зуб) и высосала сладкую белую мякоть, выплюнув коричневые семечки. Липкий сок склеил мне пальцы и рот.

Маленькая Тешома забралась ко мне на спину, а на голову водрузила ручную обезьянку-капуцина, с которой не расставалась ни днем, ни ночью. Зверек обвил мне шею длинным хвостом так крепко, что я чуть не задохнулась.

Одна мохнатая лапка вцепилась в мои волосы, а другая замельтешила перед лицом, стараясь выхватить у меня плод. Боясь проглотить обезьяньи шерстинки и вместе с ними вшей, я попыталась стряхнуть зверька. Но Тешома и ее любимица радостно завопили, решив, что я с ними играю. Тогда, опустив ноги в воду, я попробовала стащить через голову майку. От неожиданности девочка и обезьянка отскочили в сторону.

Ребятишки повалили меня на песок и сами плюхнулись рядом. Хихикая, они один за другим стали прохаживаться у меня по спине, а я полностью предалась благодатному ощущению маленьких прохладных ступней на моих наболевших мышцах. Напрасно я пыталась уговорить женщин помассировать мне шею, плечи и спину после многочасовой работы на огородах. Как бы я ни старалась показать им, что это хорошо для тела, они давали мне понять, что хотя им и нравятся эти прикосновения, но массажем занимается только *шапори*, когда человек болен или околдован. К счастью, они ничего не имели против того, чтобы дети топтались у меня по спине. Для Итикотери было совершенно непостижимо, чтобы кто-то мог получать удовольствие от такого варварского обращения.

Рядом со мной села на песок Тутеми и стала разворачивать сверток *пишаанси*, который дала ей Ритими. Ее огромный живот и набухшие груди, казалось, удерживались на месте только туго натянутой кожей. Она никогда не жаловалась на боли или тошноту; не бывало у нее и никаких причуд с едой. Напротив, для беременной женщины существовало столько табу по части еды, что я часто недоумевала, как они при этом умудряются рожать здоровых младенцев. Им не разрешалось есть крупную дичь. Единственным источником белка для них были насекомые, орехи, личинки, рыба и определенные виды мелких птиц.

— Когда у тебя будет ребенок? — спросила я, погладив ее живот.

Сосредоточенно сдвинув брови, Тутеми на какое-то время задумалась. — Эта луна придет и уйдет; другая придет и уйдет; потом придет еще одна, и до того, как она исчезнет, я рожу здорового сына.

Я усомнилась. По ее подсчетам оставалось еще три месяца. А по моему, она готова была вот-вот родить.

— Выше по реке есть рыба, такая, как ты любишь, — сказала, улыбаясь, Тутеми.

— Я сейчас быстренько поплаваю, а потом пойду с тобой ловить рыбу.

— Возьми меня с собой плавать, — стала упрашивать меня Тешома.

— Тогда оставь обезьянку на берегу, — сказала Тутеми.

Тешома усадила обезьянку на голову Тутеми и рысью пустилась за мной. Визжа от удовольствия, она устроилась в воде на моей спине, ухватившись руками за плечи. При каждом гребке я полностью неспешно расправляла руки и ноги, пока мы не доплыли до заводи на другом берегу.

— Хочешь нырнуть на дно? — спросила я.

— Хочу, хочу! — закричала она, возя мокрым носиком по моей щеке. — Я буду держать глаза открытыми, я не буду дышать, я буду крепко держаться, но не так, чтобы ты задохнулась.

Вода была не слишком глубока. Смутно различимые сероватые, красные и белые камешки ярко светились в янтарном песке, несмотря на затенявшие заводь деревья.

Почувствовав, как сжались у меня на шее ручки Тешомы, я быстро всплыла.

— Выходи! — прокричала Тутеми, едва завидев наши головы. — Мы тебя ждем. — Она

указала на стоящих рядом с ней женщин.

— Я сейчас уйду обратно в *шабоно*, — сказала Ритими. — Если увидишь Камосиве, отдай ему вот это. — Она протянула мне последний оставшийся сверток с личинками.

Я пошла следом за женщинами и несколькими мужчинами по хорошо протоптанной тропе. Вскоре мы встретили стоявшего на дороге Камосиве. Опершись на лук, он, казалось, крепко спал. Я положила сверток у его ног.

Старик открыл свой единственный глаз; яркое солнце заставило его сощуриться, превращая в гримасу покрытое морщинами лицо. Он поднял личинки и медленно начал есть, переступая с ноги на ногу.

Взбираясь вслед за Камосиве на невысокий, густо заросший холм, я удивлялась непринужденной ловкости его движений. Никогда не глядя под ноги, он, однако, ни разу не наткнулся на колючки и корни.

Тщедушный, весь какой-то иссохший, он казался мне самым глубоким стариком, которого я когда-либо видела.

Волосы у него не были ни черными, ни с проседью, ни совсем седыми; это была неопределенного цвета свалывшаяся копна, которую явно не расчесывали годами. Волосы, однако, были короткими, словно их время от времени стригли.

Может быть, они просто перестали расти, решила я, как и щетина у него на подбородке, всегда бывшая одной и той же длины. Шрамы на сморщенном лице были от удара палицы, лишившего его глаза. Говорил он тихим бормочущим голосом, так что о содержании его речей приходилось лишь догадываться.

По ночам он часто стоял в центре деревенской поляны и целыми часами беспрерывно что-то говорил. У его ног сидели на корточках дети, которые поддерживали разведенный для него огонь. В его сиплом голосе таились сила и нежность, казалось, несовместимые с его внешностью. В его словах, разлетавшихся в ночь, всегда было ощущение чего-то насущно важного, предупреждения о чем-то, чувство волшебства. — В памяти этого старика хранятся слова знания, слова традиции, — пояснил как-то Милагрос.

Только после праздника он вскользь упомянул, что Камосиве был отцом Анхелики. — То есть это твой дед? — недоверчиво переспросила я тогда.

Милагрос, кивнув, добавил: Когда я родился, Камосиве был вождем Иतिकотери.

Камосиве жил один в хижине, стоящей недалеко от входа в *шабоно*. Он уже не охотился и не работал на огородах; но он никогда не оставался без еды и топлива. Он сопровождал женщин на огороды или в лес, когда те ходили собирать орехи, ягоды и дрова. Пока женщины работали, Камосиве стоял на часах, опершись на лук и прикрыв от солнца лицо надетым на кончик стрелы банановым листом.

Иногда он взмахивал рукой — может, птице, а может, облаку, в котором, как он полагал, жила душа Иतिकотери.

Иногда он посмеивался про себя. Но обычно он стоял неподвижно и молча, то задремывая, то прислушиваясь к шелесту ветра в листве.

Хотя он никогда не признавал моего присутствия среди его народа, я часто ловила на себе взгляд его единственного глаза. Временами я явственно ощущала, что он стремится оказаться поближе ко мне, потому что он всегда сопровождал ту группу женщин, в которой была и я. И в сумерках, когда я уходила посидеть одна у реки, он был тут как тут, сидя на корточках где-нибудь поблизости.

Мы остановились в том месте, где река заметно расширялась. Темные камни, кое-где видневшиеся на желтом песке, были словно нарочно разложены кем-то в симметричном порядке. Спокойная, укрытая тенью вода темным зеркалом отражала воздушные корни

гигантского *matapalos*. Свесившись с девяностофутовой высоты, они задушили дерево в смертельных объятиях. А зародились эти гибельные корни из маленького семени, случайно занесенного птицей на ветку. Я не могла сказать, какое это было дерево; скорее всего, сейба (*ceiba*), поскольку исполненные трагического величия ветви были усеяны шипами.

Вооружившись ветками дерева *аранури*, росшего неподалеку, несколько женщин забрели на мелководье. С громкими пронзительными криками, взорвавшими тишину, они стали бить ветками по воде. Испуганная рыба бросилась удирать под гниющую листву у другого берега, где остальные женщины хватили ее голыми руками.

Откусив рыбам головы, они швыряли трепещущие тушки в плоские корзины на песке.

— Идем со мной, — сказала одна из жен вождя. Взяв за руку, она повела меня вверх по течению. — Попытаем удачи с мужской снастью.

Сопровождавших нас мужчин и подростков окружили несколько женщин и крикливо потребовали, чтобы те одолжили им на время свои луки и стрелы. Рыболовство считалось женским занятием. Мужчины приходили лишь ради того, чтобы посмеяться и пошутить над ними. И все же это была единственная ситуация, в которой они разрешали женщинам пользоваться своими луками и стрелами.

Некоторые мужчины отдали женщинам оружие, а сами резво убежали подальше на берег, боясь, что их могут случайно поранить. К их удовольствию, ни одной женщине не удалось подстрелить рыбу.

— Попробуй, — сказал Арасуве, протягивая мне лук.

Еще в школе я занималась стрельбой из лука и не сомневалась в своем навыке. Однако взяв в руки его лук, я поняла, что ничего не получится. Я с трудом могла натянуть тетиву, а выпуская короткую стрелу, чувствовала в руке неуправляемую дрожь. Я сделала несколько попыток, но в рыбу так и не попала.

— Смело стреляешь, — заметил Камосиве, подавая мне лук поменьше, принадлежащий одному из сыновей Ирамамове.

Парнишка отдал его безропотно, но с очень мрачным видом. В его возрасте ни один мужчина не отдаст женщине свое оружие добровольно.

— Попробуй еще раз, — настаивал Камосиве. В его единственном глазу горел странный огонек.

Без тени сомнения я снова натянула лук, целясь в блестящее серебристое тело, на мгновение замершее в воде. Я почувствовала, как лук резко ослабел; стрела легко ушла в цель. Я отчетливо услышала ее жесткий удар о воду и увидела кровавый след. С восторженными криками женщины достали из воды подстреленную рыбу. Она была не больше средней форели. Я вернула оружие мальчику, глазевшему на меня с восхищенным удивлением.

Я оглянулась на старого Камосиве, но того и след простыл.

— Я сделаю тебе маленький лук, — сказал Арасуве, — и тонкие стрелы специально для рыбной ловли.

Вокруг меня столпились мужчины и женщины. — Ты в самом деле подстрелила рыбу? — спросил кто-то из мужчин. Попробуй еще раз. Я не видел.

— Подстрелила, подстрелила, — заверила его жена Арасуве, показывая добычу.

— Ахахаха, — воскликнул мужчина.

— Где ты научилась стрелять из лука? — спросил Арасуве.

Я, как могла, постаралась объяснить, что такое школа.

Видя недоумевающие глаза Арасуве, я пожалела, что не сказала, что этому меня научил отец. Попытка что-либо объяснить более чем в нескольких фразах, бывало, оказывалась безрезультатной не только для меня, но и для моих слушателей. И далеко не всегда причина

крылась в незнании нужных слов. Трудность была скорее в том, что некоторых слов в их языке просто не существовало. Чем больше я говорила, тем растеряннее становилось лицо Арасуве.

Хмурясь в недоумении, он потребовал, чтобы я еще раз объяснила, откуда знаю, как управляться с луком и стрелами. Я пожалела, что Милагрос ушел в гости в другую деревню.

— Я знаю, что среди белых есть меткие стрелки из ружья, — сказал Арасуве. — Но я никогда не видел, чтобы белый хорошо стрелял из лука.

Я сочла за благо принизить значение моего меткого выстрела, предположив, что это была чистая случайность, тем более, что так оно и было. Арасуве, однако, упорно настаивал, что я умею пользоваться индейским оружием. Даже Камосиве заметил, как я держу лук, громко заявил он.

Думаю, мне все же как-то удалось растолковать им, что такое школа, потому что они стали расспрашивать, чему еще меня там учили. Мои слова о том, что выводить узоры, которыми я разукрашиваю свой блокнот, меня тоже научили в школе, мужчины встретили оглушительным хохотом. — Плохо тебя учили, — убежденно сказал Арасуве. — Твои узоры никуда не годятся.

— А ты знаешь, как делать мачете? — спросил какойто мужчина.

— Для этого нужны сотни людей, — ответила я. — Мачете делают на заводе. — Чем усерднее я старалась им объяснить, тем более косноязычной становилась. — Мачете делают только мужчины, — наконец заявила я, довольная тем, что нашла понятное им объяснение.

— А чему ты еще научилась? — спросил Арасуве.

Я пожалела, что у меня с собой нет какого-нибудь прибора, скажем, магнитофона или карманного фонаря, или чего-то в этом роде, чтобы произвести на них впечатление. И тут я вспомнила о том, что несколько лет занималась гимнастикой. — Я умею высоко прыгать, — выпалила я. Расчистив на песчаном берегу квадратную площадку, я расставила по ее углам корзины с рыбой. — Пусть сюда никто не заходит. — Встав в центре моей арены, я обвела глазами окружавшие меня любопытные лица. После нескольких упражнений на гибкость они взорвались одобрительными криками. Хотя песок не пружинил так, как ковер для вольных упражнений, я утешила себя тем, что хотя бы не покалечусь, если ошибусь при приземлении.

Я сделала пару стоек на руках, перевороты боком вперед и назад и наконец сальто вперед и назад. Моему приземлению было далеко до изящества опытного гимнаста, но меня вознаградили восторженные лица зрителей.

— Каким странным тебя учили вещам, — сказал Арасуве.

— Сделай-ка еще раз.

— Такое можно делать только один раз. — Я села на песок перевести дух. Такого представления я не смогла бы повторить, даже если бы очень захотела.

Мужчины и женщины подошли поближе, не сводя с меня внимательных глаз. — А что ты еще умеешь? — спросил кто-то.

Я на секунду растерялась; я-то думала, что сделала вполне достаточно. Чуть поразмыслив, я заявила: — Я умею сидеть на голове.

Их тела затряслись от смеха, пока по щекам не покатались слезы. — Сидеть на голове, — все твердили они между новыми приступами хохота.

Поставив предплечья на землю, я уперлась лбом в сплетенные пальцами ладони и медленно подняла тело вверх.

Убедившись, что держу равновесие, я скрестила поднятые ноги. Смех умолк. Арасуве лег ничком на землю, приблизив ко мне лицо. Улыбка собрала морщинки вокруг его глаз. — Белая Девушка, я не знаю, что о тебе думать, зато я знаю, что если пойду с тобой по лесу, обезьяны замрут на месте, чтобы посмотреть на тебя. И пока они будут так сидеть, я настреляю их целую кучу. — Он тронул мое лицо большой мозолистой ладонью. — А теперь садись-ка обратно на

задок. Лицо у тебя красное, словно разрисованное пастой *оното*. Как бы у тебя глаза не вылезли на лоб.

Когда мы вернулись в *шабоно*, Тутеми положила передо мной на землю рыбу, запеченную в листьях *пишаанси*. Рыба была моей любимой едой. Ко всеобщему удивлению, я предпочитала ее мясу броненосца, пекари или обезьяны.

Листья *пишаанси* и соленый раствор из золы дерева *курори* придавали рыбе приятный пряный привкус.

— Твой отец хотел, чтобы ты научилась стрелять из лука? — спросил Арасуве, подсев ко мне. И не дав мне ответить, продолжил: — Может, он хотел мальчика, когда родилась ты? — Вряд ли. Он был очень рад, когда я родилась. К тому времени у него уже было двое сыновей.

Арасуве раскрыл свой сверток и неторопливо подвинул рыбу к середине листа, словно глубоко размышлял над загадкой, которой не находил объяснения. Он жестом предложил мне угоститься из его порции. Тремя пальцами я отщипнула порядочный кусок рыбы и отправила в рот. Как того требовали правила хорошего тона, я слизала сок, потекший у меня по руке, а наткнувшись на косточку, выплюнула ее на землю, оставив все мясо во рту.

— Зачем ты научилась стрелять из лука? — требовательно спросил Арасуве.

И я, не задумываясь, ответила: — Может быть, во мне что-то знало, что однажды я приду сюда.

— Тогда тебе надо бы знать, что девушки не стреляют из лука. — И коротко усмехнувшись, он принялся за еду.

Тихое лopotание дождя и голоса поющих у хижины мужчин пробудили меня от послеполуденной дремоты.

Тени стали длиннее, а ветер играл в верхушках склонившихся над хижинами пальм. Как-то разом хижины наполнились звуками и образами. Повсюду растапливались очаги. Вскоре все пропахло дымом, сыростью, стряпней и мокрыми собаками. Мужчины пели под дождем, не чувствуя капель, стучащих по их спинам, по похожим на маски лицам. Их остекленевшие от *эпены* глаза, широко раскрытые навстречу лесным духам, неотрывно глядели на далекие облака.

Я вышла под дождь и направилась к реке. Барабанная дробь тяжелых капель по листьям сейбы разбудила крошечных лягушек в высокой траве вдоль берега. Я села у края воды. Не думая о времени, я смотрела, как расходятся по речной глади круги от дождевых капель, как проплывают мимо розовые цветы, словно сны, где-то канувшие в забвение. Небо потемнело; очертания облаков сливались, становясь все более размытыми. Деревья превратились в безликую массу. Листья утратили свои характерные формы и стали неотличимыми от вечернего неба.

За спиной у меня послышался тихий скулящий звук; я обернулась, но увидела лишь чуть заметный отблеск дождя на листве. Охваченная необъяснимой тревогой, я стала подниматься по тропе в *шабоно*. По ночам вся моя уверенность улетучивалась; я лишь ощущала присутствие реки и леса, но никогда их не понимала. Поскользнувшись на раскисшей тропе, я больно ударилась пальцем о торчащий корень и снова услышала тихий скулеж. Он напомнил мне исполненный боли плач охотничьего пса Ирамамове, которого разъяренный хозяин подстрелил отравленной стрелой за то, что тот не вовремя залаял. Раненый пес вернулся в деревню, спрятался за деревянным частоколом и скулил там несколько часов, пока Арасуве не прекратил его мучений второй стрелой.

Я тихонько позвала. Плач прекратился, и я явственно услышала болезненный стон. Может быть, это правда, что существуют лесные духи, подумала я, поднимаясь во весь рост. Иतिकотери утверждают, что есть существа, преступившие тонкую грань, которая отделяет животное от человека. Эти существа зовут по ночам индейцев, заманивая их в смертельные ловушки. Я с трудом подавила крик, — во мраке мне привиделся смутный образ, какая-то полускрытая фигура, шевелящаяся в лесной чаще в каком-нибудь шаге от меня. Я снова присела, сама пытаюсь спрятаться, и услышала еле уловимое дыхание с хриплыми всхлипами.

В голове у меня мигом пронеслись истории о мести и кровавых набегах, о которых мужчины так любят рассказывать по вечерам. Особенно мне запомнилась история брата Анхелики, старого шамана Пуривариве, который был вроде бы убит, и все же не умер.

— Стрела сначала попала ему в живот, туда, где прячется смерть, — рассказывал однажды вечером Арасуве.

— Но он не лег в свой гамак, а остался стоять в центре деревенской поляны, опираясь о лук. Он шатался, но не падал.

— Нападавшие словно к месту приросли, не решаясь выпустить еще одну стелу в старика, заклинавшего духов.

Со стрелой, торчащей в месте, где гнездится смерть, он скрылся в лесу. Его не было много дней и ночей. Он жил в сумраке лесов без еды и питья. Он пел заклинания *хекурам* зверей и деревьев, существам, безобидным при ясном свете дня, но в ночном мраке наводящим ужас на тех, кто не умеет ими повелевать. Из своего укрытия старый *шапори* заманил врагов и одного за другим перебил волшебными стрелами.

Я опять услышала хрипящие всхлипы и поползла, старательно избегая колючек. Наткнувшись на чью-то руку, я охнула от ужаса; ее пальцы крепко сжимали сломанный лук. Я не узнавала распростертое тело, пока не коснулась покрытого шрамами лица Камосиве. — Дедуля, — окликнула я, опасаясь, что он уже умер.

Он повернулся на бок и подогнул ноги, как ребенок, ищущий тепла и покоя. Беспомощно взглянув, он попытался сосредоточить на мне взгляд своего единственного глубоко запавшего глаза. Он словно возвращался из страшного далека, из иного мира. Опираясь о сломанный лук, он попытался встать на ноги, однако вцепившись в мою руку, с истошным криком рухнул на землю. Удержать его я не смогла. Я встряхнула его, но он даже не шевельнулся.

Я пощупала пульс, чтобы убедиться, что он еще жив.

Камосиве открыл глаз; в его взгляде была немая мольба.

Расширенный зрачок не отражал света; словно глубокий мрачный туннель, он, казалось, вытягивал все силы из моего тела. Опасаясь сделать что-нибудь не так, я тихо, как с ребенком, заговорила с ним по-испански в надежде, что он закроет свой жуткий глаз и уснет.

Подхватив под мышки, я поволокла его к *шабоно*. Хотя в нем были лишь кожа да кости, его тело, казалось, весило целую тонну. Спустя несколько минут я была вынуждена сесть и передохнуть, не зная, жив он или мертв. Губы его задрожали, и он выплюнул табачную жвачку. Темная слюна тонкой струйкой потекла у меня по ноге. Его глаз налился слезами. Я воткнула жвачку ему в рот, но он ее не принял. Тогда я взяла его ладони и стала тереть о свое тело, чтобы передать ему немного тепла. Он попытался что-то сказать, но я услышала лишь невнятное бормотание.

Какой-то подросток, спавший недалеко от входа рядом с хижинкой старика, помог мне взгромоздить Камосиве в гамак. — Подбрось дров в очаг, — велела я одному из глазевших на все это мальчишек. — И позови Арасуве, Этеву или кого-нибудь, кто может помочь старику.

Камосиве открыл рот, чтобы легче дышалось. Неверный свет маленького костра подчеркивал его мертвенную бледность. Лицо скривилось в жалкой улыбке; это убедило меня, что я все сделала правильно.

Хижина заполнилась людьми. В их глазах блестели слезы, и по всему *шабоно* разнеслись горестные вопли.

— Смерть не похожа на ночную темень, — еле слышно прошептал Камосиве. Слова его пали в тишину, ибо столпившиеся вокруг гамака люди мгновенно смолкли.

— Не оставляй нас одних, — застонали, громко рыдая, мужчины. Они заговорили о былой отваге старика, об убитых им врагах, о его детях, о временах, когда он был вождем Итикотери, и том процветании и благоденствии, в каком пребывала при нем деревня.

— Я пока еще не умру. — Слова старика снова заставили их умолкнуть. — Ваши рыдания очень меня огорчают. — Он открыл глаз и обвел им лица окружающих. — *Хекуры* еще живут у меня в груди. Заклинайте их, ибо только они удерживают меня при жизни.

Арасуве, Ирамамове и еще четверо мужчин вдули друг другу в ноздри *эпену*. С помутневшими глазами они завели песнопения духам, обитающим под землей и над нею.

— Что у тебя болит? — спросил немного погодя Арасуве, наклонившись над стариком. Его сильные руки стали массировать хилую сморщенную грудь; его губы вдували тепло в бездвижную плоть.

— Я только опечален, — прошептал Камосиве. — Скоро уже *хекуры* покинут мою грудь. Это моя печаль делает меня таким слабым.

Вместе с Ритими я вернулась в нашу хижину. — Он не умрет, — сказала она, утирая слезы. — Не знаю, почему он хочет так долго жить. Он такой старей, он уже не мужчина.

— А кто же он? — Его лицо так съежилось, так осунулось... — Ритими взглянула на меня,

словно ища подходящие слова. Она сделала неопределенный жест рукой, будто пытаюсь ухватить нечто такое, чему не находила выражения, и пожав плечами, улыбнулась: — Мужчины будут петь заклинания всю ночь, и *хекуры* оставят старика в живых.

Монотонный дождь, теплый и неустанный, сливался с песнями мужчин. Всякий раз, просыпаясь и садясь в гамаке, я видела их, сидящих на корточках у очага в хижине Камосиве. Они пели мощно и требовательно в убеждении, что их заклинания могут сохранить жизнь человеку, пока остальные Иतिकотери спят.

Голоса стихли с розовой грустью зари. Я поднялась и перешла поляну. Воздух был зябкий, земля отсырела после дождя. Огонь угас, но в хижине держалось тепло от густого дыма. Мужчины все еще сидели тесной кучкой вокруг Камосиве. Их лица осунулись, под глазами появились темные круги.

Когда я снова забралась в гамак, Ритими встала, чтобы раздуть огонь в очаге. — Похоже, Камосиве пошел на поправку, — сказала я, укладываясь спать.

Как-то раз, поднявшись из-за куста, я увидела самую младшую жену Арасуве и ее мать, медленно пробирававшихся сквозь заросли к реке. Я потихоньку пошла следом за женщинами. У них с собой не было корзин — один лишь заостренный кусочек бамбука. Беременная женщина обхватила руками живот, будто держа его на весу. Они остановились под деревом *аранури*, где был расчищен подлесок, а земля устелена широкими банановыми листьями. Беременная встала на колени на подстилку и обеими руками надавила на живот. Из губ ее вырвался тихий стон, и она родила младенца.

Я прикрыла рот рукой, чтобы подавить смешок. Я и представить себе не могла, что роды могут быть такими скорыми и легкими. Обе женщины переговаривались шепотом, но ни одна не взглянула и не подобрала лежащего на листьях мокрого блестящего младенца.

Старуха перерезала бамбуковым ножом пуповину, потом, оглядевшись, отыскала прямую ветку. У меня на глазах она положила ветку поперек шеи ребенка и наступила ногами на оба ее конца. Раздался легкий треск — не то ветки, не то шейки новорожденного.

Из банановых листьев они сделали два свертка, в одном — послед, в другом — безжизненное тельце. Обвязав свертки лианами, они сложили их под деревом.

Когда женщины собрались уходить, я попыталась забраться поглубже в кусты, но ноги меня не слушались. Все мои чувства пересохли, словно мне привиделся какой-то чудовищный кошмар. Женщины встретились со мной глазами. По их лицам промелькнуло легкое удивление, но не было в них ни боли, ни сожаления.

Как только они ушли, я развязала лианы. В листьях лежало, будто спало мертвое тельце девочки. Длинные черные волосы шелковыми ниточками прилипли к скользкой головке. Припухшие веки без ресниц прикрывали глаза.

Струйка крови из носа и рта уже подсохла и стала похожа на жуткий узор *оното* на тонкой багрового оттенка коже. Я разжала крошечные кулачки, убедилась что есть все пальцы на ножках, — не было никаких явных дефектов.

Долго тянувшийся к вечеру день наконец выдохся. Сухая листва уже не шуршала у меня под ногами; на нее упала ночная сырость. Ветер гнул широколистые ветви сейб. На меня, казалось, смотрели тысячи глаз, равнодушных, подернутых зеленоватой дымкой. Я спустилась к реке и села на упавшее, но все еще живое дерево. Потрогала молодые побеги, отчаянно рвущиеся к свету. Крик сверчка будто насмехался над моими слезами.

Запах дыма тянулся ко мне из хижин, и я вдруг возненавидела эти очаги, горящие днем и ночью, пожирающие время и события. Черные тучи закрыли луну и окутали реку траурным покрывалом. Я стада прислушиваться к лесным обитателям, просыпающимся от дневного сна, чтобы скитаться ночами по лесу. Страх не было. Вокруг меня мягкой звездной пылью

осыпалась тишина. Я хотела заснуть и проснуться, зная, что все это был лишь сон.

В просвете чистого неба я заметила падающую звезду и невольно улыбнулась. Я всегда успевала загадать желание, но сейчас мне ни одно не пришло в голову.

Я почувствовала руку Ритими, обнявшую меня за шею. Беззвучно, как лесной дух, она присела рядом. Светлые палочки в уголках ее рта светились в темноте, как золотые. Я была рада, что она со мной, и что не говорит ни слова.

Ветер унес тучи, закрывавшие луну; ее свет залил нас прозрачной голубизной. Только теперь я заметила старого Камосиве, на корточках сидевшего у поваленного дерева и не сводившего с меня глаза. Он медленно заговорил, тщательно выговаривая каждое слово. Но я не слушала. Тяжело опираясь о лук, он встал и велел нам идти за ним в *шабоно*.

У своей хижины он остановился, а мы с Ритими пошли дальше в свою.

— Всего неделю назад плакали и мужчины, и женщины, — сказала я, садясь в гамак. — Они плакали, думая, что Камосиве умрет. А сегодня я видела, как жена Арасуве убила свое новорожденное дитя.

Ритими дала мне воды. — Как может женщина кормить нового младенца, имея ребенка, который еще сосет грудь? — резко спросила она. — Ребенка, который уже так долго прожил.

Рассудком я поняла слова Ритими. Мне было известно, что детоубийство — это не столь уж необычное дело у индейцев бассейна Амазонки. Детей как правило рожают с интервалами в два-три года. Все это время у матери есть молоко, и она воздерживается от рождения в этот период очередного ребенка, чтобы сохранить достаточный его запас. Если же в это время появляется на свет младенец с дефектами или девочка, такое дитя убивается, чтобы у сосущего грудь ребенка было больше шансов выжить.

Но сердцем я не могла с этим смириться. Ритими взяла в руки мое лицо и заставила посмотреть на нее. Глаза ее блестели, губы взволнованно дрожали. — Тот, кто еще не успел увидеть небо, должен вернуться туда, откуда пришел. — Она вытянула руку в огромную черную тьму, которая начиналась у наших ног и уходила в небо. — В дом грома.

Однажды утром вместо негромкой женской болтовни меня разбудили крики Ирамамове, возглашавшего, что сегодня он будет готовить кураре.

Я села в гамаке. Ирамамове стоял посреди поляны.

Широко расставив ноги, со скрещенными на груди руками он придирчиво осматривал собравшихся вокруг него молодых мужчин. Он громогласно предупредил их, что если они намереваются помогать ему сегодня в приготовлении яда, то не должны спать в эту ночь с женами. Продолжая ворчать так, словно мужчины уже провинились, Ирамамове напомнил, что непременно, узнает об их ослушании, ибо испытает яд на обезьяне. Если только зверек выживет, он никогда больше не попросит этих мужчин помогать ему.

Еще он сказал, что если они хотят идти с ним в лес за различными лианами, необходимыми для приготовления *мамукори*, они должны воздерживаться от еды и питья, пока наконечники их стрел не будут смазаны ядом.

С уходом мужчин в *шабоно* снова воцарилось спокойствие. Тутеми, разведя огонь в очагах, свернула из табачных листьев жвачку для себя, Ритими и Этевы и снова улеглась в гамак. Я тоже подумала, что есть еще время вздремнуть, пока пекутся зарытые в горячую золу бананы, и повернулась на другой бок. Зябкий воздух прогревался дымом. Как было у нас заведено по утрам, сбегав по своим делам, Тешома, Сисиве и двое младших ребяташек Арасуве забрались ко мне в гамак и уютно облепили меня со всех сторон.

Все эти утренние события прошли мимо Ритими. Она все еще крепко спала на земляном полу. Но даже во сне Ритими заботилась о своей внешности. Голова ее покоилась на руке в положении, позволявшем демонстрировать полный набор украшений. Тонкие отполированные палочки были продеты в носовую перегородку и уголки рта. На щеке красовались две волнистые линии, недвусмысленно указывающие каждому обитателю *шабоно*, что у Ритими месячные. Две последние ночи Ритими не спала в гамаке, не ела мяса, не занималась стряпней и не прикасалась ни к Этеве, ни к его вещам.

Мужчины побаивались менструирующих женщин.

Ритими как-то рассказывала, что хотя у женщин, как известно, не обитают в груди *хекуры*, зато они связаны с жизненной сущностью выдры, прародительницы первой женщины на земле. Считалось, что во время месячных на женщин нисходили сверхъестественные способности выдры. Она вроде бы не знала, в чем заключаются эти способности, но сказала, что увидев выдру в реке, мужчина никогда не убивает ее из опасения, что в деревне немедленно умрет какая-нибудь женщина.

Первое время женщины Итикотери недоумевали, почему с того дня, как я у них появилась, у меня ни разу не было месячных. Мои объяснения — потеря веса, полная смена рациона, новая обстановка — не воспринимались всерьез. Вместо этого они считали, что поскольку я не индейка, — я и не то чтобы вполне человек. У меня не было связи с жизненной сущностью ни животного, ни растения, ни духа.

Одна лишь Ритими хотела верить и доказать остальным женщинам, что я все-таки человек. — Ты сразу должна мне сказать, когда будешь *руу*, все равно как матери, — говорила мне Ритими всякий раз, когда у нее самой бывали месячные. — А я сделаю все необходимые приготовления, чтобы маленькие существа, которые живут под землей, не обратили тебя в камень.

Настойчивость Ритими была, по-видимому, дополнительной причиной, по которой мой организм не желал соблюдать свои обычные циклы. Поскольку время от времени я страдаю

приступами клаустрофобии, меня периодически донимали вспышки тревоги, что я могу быть подвергнута таким же суровым ограничениям, как девочка Итикотери в дни своих первых месячных.

Всего неделю назад Шотоми, одна из дочерей вождя, вышла из трехнедельного заточения. Ее мать, узнав, что у Шотоми начались первые месячные, соорудила в углу хижины чуланчик из палок, лиан и пальмовых листьев.

Открытым оставался лишь узенький проход, едва позволявший матери дважды в день войти внутрь, чтобы поддержать чуть теплившийся огонек (которому никогда не давали погаснуть) и убрать валявшиеся на земле грязные банановые листья. Мужчины, боясь умереть в молодом возрасте или заболеть, даже не смотрели в этот угол хижины.

Первые три дня менструации Шотоми получала только воду и спала на земляном полу. Впоследствии ей давали три небольших банана в день и разрешили спать в маленьком лубяном гамаке, висевшем в том же чуланчике. Во время заточения ей нельзя было ни разговаривать, ни плакать.

Из-за пальмовой загородки доносилось лишь тихое царпанье, когда Шотоми почесывалась палочкой, потому что касаться своего тела ей тоже не полагалось.

К концу третьей недели мать Шотоми разобрала чуланчик, связала пальмовые листья в тугой сверток и попросила кого-то из подружек Шотоми отнести его подальше в лес. Шотоми не шевелилась, словно загородка была еще на своем месте. С опущенными глазами она, согнувшись, сидела на земле. Ее чуть сутулые плечи были такими хрупкими, что, по-моему, стоило схватить их, и косточки сломались бы со звонким хрустом. Больше, чем когда-либо, она походила на перепуганного ребенка, грязного и худого.

— Не поднимай от земли глаз, — сказала мать, помогая двенадцати или тринадцатилетней девочке встать на ноги. Обняв за талию, она подвела Шотоми к очагу. — Не вздумай смотреть ни на кого из мужчин на поляне, — увещевала она девочку, — если не хочешь, чтобы у них дрожали ноги, когда им придется лазать по деревьям.

Согрели воду. Ритими любовно обмыла сводную сестру с головы до ног, потом натерла ее тело пастой *оното*, пока оно не загорелось сплошной краснотой. В огонь подбросили свежих банановых листьев, и Ритими обвела девочку вокруг очага. Только после того, как кожа Шотоми запахла одними лишь горелыми листьями, ей разрешили поднять на нас глаза и заговорить.

Закусив нижнюю губу, она медленно подняла голову.

— Мама, я не хочу уходить из хижины отца, — сказала она наконец и расплакалась.

— Ого-о, глупенькая девочка, — воскликнула ее мать, беря лицо Шотоми в ладони. Вытирая ей слезы, мать напомнила, как девочке повезло, что она станет женой Матуве, младшего сына Хайямы, и что, к счастью, ее братья будут рядом и вступятся, если тот будет плохо с ней обращаться. В темных глазах матери блестели слезы. — Вот мне было отчего входить в это *шабоно* с тяжелым сердцем. Я ведь разлучилась с матерью и братьями. Вступаться за меня было некому.

Тутеми обняла эту совсем еще юную девушку. — Посмотри на меня. Я тоже пришла издалека, а теперь я счастлива. Скоро у меня будет ребенок.

— А я не хочу ребенка, — рыдала Шотоми. — Я хочу только мою обезьянку.

Чисто автоматически я сняла обезьянку с банановой грозди, где та сидела, и отдала ее Шотоми. Женщины рассмеялись. — Если ты станешь обращаться с мужем как надо, он у тебя и будет, как обезьянка, — хохоча, сказала одна из них.

— Не говорите девочке таких вещей, — упрекнула их старая Хайяма и с улыбкой повернулась к Шотоми: — Мой сын хороший человек, — утешила она девочку. — Тебе нечего будет бояться. — И Хайяма стала расточать похвалы своему сыну, особо подчеркивая

достоинства Матуве как охотника и добытчика.

В день свадьбы Шотоми тихо плакала. Хайяма придвинулась к ней поближе. — Не надо больше плакать.

Мы тебя украсим. Ты сегодня будешь такой красавицей, что все рты разинут от восхищения. — Она взяла Шотоми за руку и жестом позвала остальных женщин последовать за ними в лес через боковой выход.

Сев на пенек, Шотоми вытерла слезы тыльной стороной ладони. Она взглянула Хайяме в лицо, и на губах ее появилась лукавая улыбка, после чего она с готовностью позволила женщинам хлопотать над собой. Ей коротко обрезают волосы и выбрили тонзуру. В мочки ушей были вдеты пучки пышных белых перьев. Они резко контрастировали с ее черными волосами, придавая неземную красоту тонкому лицу. Дырочки в уголках рта и нижней губе были украшены красными перьями попугая. В перегородку между ноздрями Ритими вставила очень тоненькую, почти белую отполированную палочку.

— Какая же ты красавица! — воскликнули мы, когда Шотоми поднялась перед нами во весь рост.

— Мама, я готова идти, — торжественно сказала она.

Ее темные раскосые глаза блестели, кожа, казалось, горела от пасты *оното*. Она коротко улыбнулась, показав крепкие, ровные белые зубы, и направилась обратно в *шабоно*. И всего на мгновение, перед самым выходом на поляну в глазах ее, устремленных на мать, промелькнула немая мольба.

С высоко поднятой головой, ни на кого не глядя, Шотоми медленно обошла деревенскую площадь, выказывая полное безразличие к восхищенным словам и взглядам мужчин. Она вошла в хижину отца и села перед корытом, полным бананового пюре. Первым она угостила супом Арасуве, потом своих дядьев, братьев и, наконец, всех мужчин *шабоно*. Угостив мужчин, она отправилась в хижину Хайямы, села в гамак и принялась есть дичь, приготовленную мужем, которому была обещана еще до своего появления на свет.

Мои воспоминания были прерваны словами Тутеми: — Ты будешь есть бананы здесь или у Хайямы? — Лучше там, — ответила я, улыбнувшись бабке Ритими, уже поджидавшей меня в соседней хижине.

Когда я вошла, меня встретила улыбкой Шотоми. Она очень изменилась. И дело вовсе не в том, что она прибавила в весе, выйдя из заточения. Скорее стало взрослым ее поведение, ее брошенный на меня взгляд, то, как она угощала меня бананами. И я подумала, не связано ли это с тем, что девочки, в отличие от мальчиков, детство которых далеко заходит в отрочество, уже с шести-восьми лет привлекаются матерями к выполнению домашних работ — сбору топлива для очагов, прополке огородов, присмотру за младшими детьми. К тому времени, как мальчик начинает считаться взрослым, девочка того же возраста нередко уже замужем и имеет одного двух детей.

После еды мы с Тутеми и Шотоми несколько часов проработали на огородах, а потом, освежившись купанием в реке, вернулись в *шабоно*. На площади тесной кучкой сидело несколько мужчин с раскрашенными черной краской лицами и телами. Кое-кто сдирал кору с толстых веток.

— Кто эти люди? — спросила я.

— Ты их разве не узнаешь? — рассмеялась Тутеми. — Это же Ирамамове и мужчины, которые уходили с ним вчера в лес.

— А почему они такие черные? — Ирамамове! — крикнула Тутеми. — Белая Девушка хочет знать, почему у вас черные лица? — спросила она и убежала в хижину.

— Хорошо, что ты убегаешь, — сказал, поднимаясь, Ирамамове. — Ребенок в твоём чреве

мог бы добавить воды в *мамукори*. и ослабить его. — И он, нахмурившись, повернулся к нам с Шотоми. Не дав ему ничего сказать, Шотоми втащила меня за руку в хижину Этевы.

То и дело прыская от смеха, Шотоми пояснила, что никому, кто побывал в этот день в воде, не полагается даже подходить к мужчинам, занятым приготовлением кураре.

Считалось, что вода ослабляет яд. — Если *мамукори* не подействует как надо, он обвинит в этом тебя.

— А я так хотела посмотреть, как они будут готовить *мамукори*, — разочарованно протянула я.

— Очень надо смотреть на такое! — сказала, садясь, Ритими. — Я тебе и так расскажу, что они будут делать. — Она зевнула, потянулась, собрала в кучку банановые листья, на которых спала, и постелила на земле свежие. — Мужчины раскрашены в черное, потому что *мамукори* годится не только для охоты, но и для войны, — сказала Ритими, приглашая меня сесть рядом. Очистив банан, она с полным ртом рассказала, как мужчины кипятят лиану *мамукори*, пока та не превратится в темное варево. Потом для густоты добавляется высушенная лиана *ашукамаки*.

Когда смесь в достаточной степени уваривается, ею можно смазывать наконечники стрел.

Махнув на все рукой, я стала помогать Тутеми готовить табачные листья для просушки. Следуя ее подробным наставлениям, я разрывала каждый лист вдоль жилки снизу вверх, так что он слегка закручивался, а потом целыми связками подвешивала их к стропилам. С того места, где я сидела, мне не было видно, что происходит перед хижинкой Ирамамове. Вокруг работающих мужчин столпились ребятишки в надежде, что их попросят помочь. Нечего и удивляться, что никто из детей не купался сегодня в реке.

— Принеси-ка воды из ручья, — велел Ирамамове малышу Сисиве. — Да смотри не замочи ноги. Ступай по стволам, корням или камням. Если промокнешь, придется мне послать кого-нибудь другого.

День уже клонился к вечеру, когда Ирамамове заканчивал смешивание и уваривание кураре. — Вот теперь *мамукори* набирает силу. Я чувствую, как у меня засыпают руки. — Монотонным голосом он медленно запел заклинания духам яда, продолжая помешивать кураре.

На другой день, незадолго до полудня Ирамамове влетел в *шабоно*. — От *мамукори* никакого проку! Я подстрелил обезьяну, а она не умерла. Она убежала с торчащей в лапе бесполезной стрелой. — Ирамамове носился от хижины к хижине, ругая мужчин, помогавших ему готовить кураре. — Говорил же я вам, что нельзя было спать с женщинами. А теперь *мамукори* не действует. Если бы на нас сейчас напали враги, вы не смогли бы даже защитить своих женщин. Вы думаете, что вы храбрые воины. А толку от вас не больше, чем от ваших стрел. Корзины вам таскать, а не оружие! На мгновение, когда Ирамамове уселся на землю посреди деревенской площади, мне показалось, что он заплачет. — Я сам буду готовить яд. А вы все бестолочь, — бубнил он до тех пор, пока злость не выкипела и сам он совершенно не выдохся.

Несколько дней спустя на заре, незадолго до того, как изжарилась обезьяна, подстреленная стрелой со свежим ядом, в *шабоно* явился пришелец с большим свертком. Его волосы были еще мокрые после купания в реке; лицо и тело броско раскрашены пастой *оното*. Положив сверток, лук и стрелы на землю, он несколько минут молча постоял в центре деревенской площади и лишь после этого подошел к хижине Арасуве.

— Я пришел пригласить вас на праздник моего народа, — громко и нараспев произнес пришелец. — Вождь Мокототери прислал меня сказать вам, что у нас поспело много бананов.

Не вылезая из гамака, Арасуве сказал посланцу, что не может пойти на праздник. — Я не могу бросить свои огороды. Я посадил новые саженцы бананов, за ними нужен уход. — Арасуве обвел рукой хижину: — Смотри, сколько плодов висит на стропилах. Я не хочу, чтобы они

пропали.

Пришелец подошел к нашей хижине и обратился к Этеве: — Твой тесть не хочет к нам идти. Надеюсь, ты сможешь прийти в гости к моему народу, который прислал меня с приглашением.

Этева от радости хлопнул себя по бедрам. — Да, я приду. Мне не жаль оставлять свои бананы. Я разрешу их съесть остальным.

По мере того, как пришелец переходил от хижины к хижине, приглашая Иतिकотери в свою деревню, его темные живые глаза все больше светились радостью. Его пригласили передохнуть в хижине старого Камосиве, угостили банановым супом и мясом обезьяны. Позже вечером он распаковал сверток, оставленный посреди деревенской площади. — Гамак, — разочарованно пробормотали столпившиеся вокруг него мужчины. Хотя Иतिकотери и признавали удобство и теплоту хлопчатобумажных гамаков, но такие были только у немногих женщин. Мужчины предпочитали лубяные либо сплетенные из лиан гамаки, которые время от времени заменялись новыми. Гость желал обменять хлопчатобумажный гамак на отравленные наконечники для стрел и порошок *эпена*, приготовленный из семян. За разговорами и обсуждением новостей несколько мужчин Иतिकотери просидели с гостем всю ночь.

Арасуве был категорически против того, чтобы вместе с группой жителей деревни пошла на праздник Мокототери и я. — Милагрос доверил тебя мне, — напомнил вождь. — Как я смогу тебя оберегать, если ты будешь далеко? — А зачем меня оберегать? — спросила я. — Разве Мокототери — это опасный народ? — Мокототери доверять нельзя, — сказал после долгого молчания Арасуве. — Костями чувствую, что не следует тебе туда идти.

— Когда я впервые встретила с Анхеликой, она сказала, что женщине не опасно ходить по лесу.

Глядя сквозь меня, Арасуве не считал нужным ответить или как-то прокомментировать мое замечание. Он явно считал вопрос решенным и не собирался опускаться до препирательств с невежественной девчонкой.

— Может, там будет и Милагрос, — сказала я.

Арасуве улыбнулся. — Милагроса там не будет. Будь он там, мне не о чем было бы беспокоиться.

— А почему Мокототери нельзя доверять? — настаивала я.

— Ты задаешь слишком много вопросов, — сказал Арасуве и нехотя добавил: — У нас с ними не очень-то дружеские отношения.

Я недоверчиво уставилась на него: — Тогда почему же они приглашают вас на праздник? — Ничего ты не понимаешь, — сказал Арасуве и вышел из хижины.

Решение Арасуве разочаровало не меня одну. Ритими так расстроилась из-за того, что не сможет продемонстрировать меня Мокототери, что призвала к себе в союзники Этеву, Ирамамове и старого Камосиве, чтобы те помогли уговорить ее отца дать такое разрешение. Хотя советы стариков всегда высоко ценились и уважались, но только известный своей храбростью Ирамамове смог уговорить и заверить брата, что в деревне Мокототери со мной не случится ничего плохого.

— Возьми с собой лук и стрелы, которые я для тебя сделал, — сказал мне Арасуве в тот вечер и громко расхохотался. — То-то Мокототери удивятся. Ради того, чтобы это увидеть, и мне стоило бы пойти. — Но увидев, как я проверяю стрелы, Арасуве уже серьезно сказал: — Нельзя их тебе брать. Негоже женщине идти по лесу с мужским оружием.

— Я возьму ее под свою опеку, — пообещала отцу Ритими. — Уж я-то позабочусь, чтобы она ни на шаг от меня не отходила — даже когда захочет в кусты.

— Я уверена, что Милагрос хотел бы, чтобы я пошла, — сказала я, рассчитывая немного

успокоить Арасуве.

Мрачно взглянув на меня, он пожал плечами: — Надеюсь, ты вернешься благополучно.

Настороженное ожидание всю ночь не давало мне спать. Знакомое потрескивание поленьев в очаге наполняло меня дурными предчувствиями. Перед тем, как лечь спать, Этева пошевелил угли в очаге. Сквозь дым и туман кроны деревьев вдали походили на призраки. Просветы в листве пустыми глазницами обвиняли меня в чем-то, чего я не понимала. Я совсем было решила последовать совету Арасуве, но дневной свет рассеял мои опасения.

Едва солнце успело прогреть зябкий утренний воздух, как мы тронулись в путь с корзинами, полными бананов, калабашей, гамаков, принадлежностей для украшения собственных персон и предметов меновой торговли: толстых мотков неокрашенной хлопковой пряжи, новых наконечников для стрел, бамбуковых емкостей с эпенной и оното.

Старшие дети шли рядом с матерями и несли свои гамаки переброшенными через шею. Мужчины, замыкавшие поход каждой семьи, несли только луки и стрелы.

Нас было двадцать три человека. Четыре дня мы молча шагали по лесу неспешным темпом, который задавали старики и дети. Стоило из зарослей донестись малейшему звуку или движению, как женщины замирали на месте, лишь повернув голову в сторону шума. Мужчины мгновенно исчезали в том направлении. Как правило, они возвращались, неся агути — похожего на кролика грызуна — или пекари, или птицу. В тот же вечер на привале добыча готовилась на кострах. Дети постоянно были заняты поисками диких плодов. Зоркими глазенками они следили за полетом пчел, пока не отыскивали ульи в дуплах деревьев. Они по их полету могли точно определить, относятся пчелы к числу жалящих или нет.

Хайяма, Камосиве и еще несколько стариков обернули вокруг груди и живота полосы лыка какого-то дерева. Они уверяли, что это восстанавливает их силы и облегчает ходьбу. Я тоже попробовала так сделать, но плотно обернутое вокруг тела лыко лишь вызвало сильный зуд.

Взбираясь и спускаясь по холмам, я задавалась вопросом, неужели это тот самый маршрут, по которому я шла с Милагросом. Не было ни дерева, ни камня, ни участка реки, который показался бы мне знакомым. Да и полчищ москитов и прочих насекомых, висящих над болотами, я как-то не припоминала. Привлеченные нашими потными телами, они звенели над нами с доводящей до безумия назойливостью. И я, никогда прежде не страдавшая от их укусов, не знала, где мне первым делом чесаться. Рваная майка не давала от них никакой защиты. Даже Ирамамове, не обращавший поначалу внимания на их безжалостные укусы, время от времени признавал, что они его беспокоят, шлепая себя по шее, по руке, либо почесывая коленку пальцами другой ноги.

На пятый день около полудня мы сделали привал на окраине огородов Мокототери. На расчищенном от подлеска участке гигантские сейбы выглядели еще монументальнее, чем в лесу. Столбы солнечного света, пробившиеся сквозь листву, создавали на черной земле затейливую игру светотеней.

Мы искупались в протекавшей неподалеку речке, где с чувственным изяществом колыхались на ветерке красные цветы, свисающие с лиан над водой. Ирамамове и еще трое молодых мужчин первыми облачились в праздничный наряд и раскрасились пастой *оното*, прежде чем направиться в *шабоно* наших хозяев. Вскоре Ирамамове вернулся, неся корзину с жареным мясом и печеными бананами.

— Ого-о, у Мокототери еще очень много всего, — приговаривал он, раздавая нам еду.

Прежде чем украсить себя, женщины помогли своим мужчинам прилепить к волосам белые пушистые перья, а на руки и головы надеть повязки из обезьяньего меха и перьев. Мне было поручено разрисовать детские тела и мордашки точно предписанными узорами *оното*.

Наш смех и болтовня были прерваны выкриками подошедшего Мокототери.

— Он похож на обезьяну, — шепнула Ритими.

Я согласно кивнула и с трудом подавила смешок. Его короткие кривые ноги и непропорционально длинные руки оказались еще забавнее, когда он встал рядом с Ирамамове и Этевой, очень импозантно выглядевшими в своих пуховых головных уборах, наручных повязках с

длинными разноцветными перьями попугаев и ярко-красных поясах.

— Наш вождь хочет начинать праздник. Он хочет, чтобы вы поскорее пришли, — сказал Мокототери таким же высоким официальным голосом, каким говорил человек приходивший к нам в *шабоно* с приглашением на праздник. — Если вы слишком долго будете готовиться не останется времени для разговоров.

С высоко поднятыми головами, чуть вздернув подбородки, Этева, Ирамамове и еще трое молодых мужчин, все должным образом разрисованные и украшенные отправились вслед за Мокототери. Шествуя в *шабоно*, мужчины чувствовали на себе наши восхищенные взгляды, хотя и притворялись равнодушными.

А женщины принялись с лихорадочной поспешностью вносить последние дополнения в свой праздничный туалет, — где цветок или перышко, где мазок пасты *оното*. Причем об их внешности могли судить только окружающие, потому что о зеркалах не было и речи.

Ритими повязала у меня на талии пояс, стараясь, чтобы широкая бахрома оказалась посередине. — Ты все еще такая худенькая, — сказала она, коснувшись моих грудей, — хотя и много ешь. Ты сегодня не ешь так, как делаешь это у нас в *шабоно*, а то Мокототери подумают, что мы тебя плохо кормим.

Я пообещала, что буду есть очень скромно, и расхохоталась, припомнив, что как раз то же самое советовала мне в детстве мать, когда меня приглашали на выходные к друзьям. Она тоже приходила в смущение от моего зверского аппетита и опасалась, что люди подумают, будто дома меня плохо кормят, либо еще хуже, что у меня солитер.

Перед самым выходом в *шабоно* Мокототери старая Хайяма принялась увещевать своих правнуков Сисиве и Тешому хорошо себя вести. Громким голосом, так чтобы услышали остальные пришедшие с нами дети, она подчеркнула, как важно не дать никакого повода женщинам Мокототери позлословить на их счет, когда они уйдут домой. Хайяма настояла на том, чтобы дети напоследок еще раз сделали все свои делишки за кустами, потому что в *шабоно* никто не станет за ними ни убирать, ни выводить в случае нужды из деревни.

На подходе к деревенской площади Мокототери мужчины выстроились в ряд, высоко подняв головы и держа оружие вертикально. Мы с детьми встали за их спиной.

Завидев меня, из хижин с криками выбежало несколько женщин. Без страха и отвращения я терпеливо ждала, пока они трогали, целовали и лизали мое лицо и тело. Зато Ритими, похоже, забыла, как в первый раз встретили меня Итикотери, потому что все время тихонько ворчала, что теперь ей придется возобновлять раскраску на моем теле.

Крепко ухватив меня за руку, одна из женщин Мокототери оттолкнула Ритими в сторону: — Идем со мной, Белая Девушка.

— Нет, — крикнула Ритими, притянув меня поближе к себе. Ее улыбка несколько не смягчала резкого, злого тона. — Я привела Белую Девушку, чтобы ты на нее посмотрела. Никто ее у меня не отнимет. Мы все равно что тени друг дружки. Куда она, туда и я. Куда я, туда и она. — И Ритими вперила взгляд в соперницу — пусть только осмелится оспорить ее слова.

Расхохотавшись, женщина широко разинула набитый табаком рот. — Если ты привела Белую Девушку в гости, ты должна позволить ей зайти в мою хижину.

Кто-то подошел к нам из-за столпившихся женщин.

Скрестив руки на груди и самодовольно выпятив губы, он остановился рядом со мной. — Я вождь Мокототери, — сказал он. Когда он улыбался, глаза превращались в две блестящие щелочки в красном узоре его изборожденного глубокими морщинами лица. — Эта Белая Девушка — твоя сестра, что ты так ее защищаешь? — спросил он Ритими.

— Да, — с силой ответила она. — Она моя сестра.

Недоверчиво покачивая головой, вождь Мокототери тщательно меня осмотрел и внешне

остался совершенно невозмутимым. — Я вижу, что она белая, но на настоящую белую женщину она непохожа, — сказал он наконец. — У нее босые ноги, как у нас, она не носит на теле этой их странной одежды, разве что вот это. — Тут он потянул за мои рваные старые трусики. — Зачем она носит это под индейским поясом? — Пэнтииз, — важным тоном произнесла Ритими; ей больше нравилось их английское название, чем испанское, которое она тоже выучила. — Так их называют белые люди.

У нее есть еще две пары таких. А носит она пэнтииз потому, что боится, как бы какие-нибудь пауки или сороконожки не заползли ночью внутрь ее тела.

Кивнув так, словно понимает мои опасения, вождь коснулся моих коротких волос и провел мясистой ладонью по выбритой тонзуре. — Они цвета волокон пальмы *ассаи*. — Он придвинул свое лицо к моему, пока мы не коснулись друг друга носами. — Какие странные глаза — цвета дождя. — Его грозный взгляд растворился в радостной улыбке. — Да, она, должно быть, белая; и если ты называешь ее своей сестрой, никто ее у тебя не отнимет, — сказал он Ритими.

— Как ты можешь называть ее сестрой? — спросила женщина, все еще державшая меня за руку. На ее раскрашенном лице было написано явное замешательство.

— Я называю ее сестрой, потому что она такая, как мы, — сказала Ритими, обнимая меня за талию.

— Я хочу, чтобы она побыла в моей хижине, — сказала женщина. — Хочу, чтобы она прикоснулась к моим детям.

Мы последовали за женщиной в хижину. У покатой крыши стояли луки и стрелы. Со стропил свисали бананы, калабаши и завернутые в листья куски мяса. По углам были свалены мачете, топоры и дубинки. Пол был усеян хворостом, сучьями, банановой кожурой и черепками глиняной посуды.

Ритими села со мной в один гамак. Как только я допила сок из пальмовых плодов, которым угостила меня хозяйка, она положила мне на колени младенца. — Приласкай его.

Крутясь и извиваясь у меня в руках, младенец чуть не выпал на землю. А посмотрев мне в лицо, он вообще заревел.

— Ты его лучше заberi, — сказала я, отдавая женщине ребенка. — Маленькие дети меня боятся. Я не могу их трогать, пока они ко мне не привыкнут.

— В самом деле? — спросила женщина, подозрительно глядя, как Ритими качивает ребенка.

— Наши младенцы так не орут. — Ритими бросила на ребенка презрительный взгляд. — Мои дети и дети моего отца даже спят с ней в одном гамаке.

— Я позову старших детей, — сказала женщина, знаками подзывая девочек и мальчиков, выглядывавших изза банановых связок у покатой крыши.

— Не надо, — сказала я. — Я знала, что они тоже испугаются. — Если ты заставишь их подойти, они тоже будут плакать.

— Да, — сказала одна из женщин, зашедших с нами в хижину. — Дети усядутся вместе с Белой Девушкой, как только увидят, что их матери не боятся трогать ее волосы цвета пальмовых волокон и бледное тело.

Вокруг нас собралось несколько женщин. Сначала осторожно, потом все смелее их руки ощупывали мое лицо, затем шею, руки, груди, живот, бедра, колени, икры, пальцы ног; ни одна частица моего тела не осталась необследованной. Наткнувшись на след от укуса москита или царапину, они плевали на нее и растирали это место большим пальцем. Если укус оказывался свежим, они высасывали яд.

Хотя я уже привыкла к бурным и скоротечным проявлениям нежности со стороны Ритими, Тутеми и детей Иतिकотери, мне все же стало довольно неуютно под ощупывающими

прикосновениями многих рук. — Что они делают? — спросила я, указав на группу мужчин, сидящих на корточках перед соседней хижиной.

— Они приготавливают листья *ассаи* для танца, — ответила женщина, положившая мне на колени ребенка. — Ты хочешь на это посмотреть? — Да, — живо сказала я, желая отвлечь от себя их внимание.

— А Ритими должна сопровождать тебя, куда бы ты ни пошла? — спросила женщина, когда Ритими вслед за мной поднялась из гамака.

— Да, — сказала я. — Если бы не она, я не пришла бы в гости к вам в *шабоно*. Ритими заботится обо мне с тех пор, как я пришла в лес.

Ритими одарила меня лучезарным взглядом, а я пожалела, что не сказала ей чего-нибудь в этом роде раньше. До самого нашего ухода ни одна из женщин Мокототери больше не оспаривала право собственности Ритими на меня.

А возле хижины мужчины расщепляли острыми палочками еще не развернувшиеся бледно-желтые листья молодой пальмы *ассаи*. Завидев нас, один из мужчин поднялся во весь рост. Вынув изо рта жвачку, он утер ладонью капающую с подбородка слюну и приложил пальмовый лист к моей голове. Улыбаясь, он показал на тонкие золотистые прожилки, едва заметные в свете заходящего солнца. Он потрогал мои волосы, сунул жвачку обратно в рот и, ни слова не говоря, продолжил свое занятие.

С наступлением темноты на деревенской площади разожгли костры. Выстроившиеся с оружием в руках вокруг костров, мужчины Итикотери были встречены хозяевами бурей приветственных криков. Пара за парой Итикотери протанцевали вокруг поляны, замедляя темп перед каждой хижинкой, чтобы все могли налюбоваться их праздничным облачением и танцевальными па.

В последней паре танцевали Этева и Ирамамове. При виде их идеально согласованных движений зрители взревели от восторга. Они не танцевали по кругу вдоль хижин, а оставались вблизи костров, кружа и вращаясь с нарастающей скоростью в ритме вспышек пламени. Резко остановившись, Этева и Ирамамове взяли наизготовку луки и нацелили стрелы на мужчин Мокототери, стоящих перед хижинами. Затем, громко расхохотавшись, оба возобновили танец под неистовые восхищенные вопли зрителей.

Хозяева пригласили мужчин Итикотери отдохнуть в своих гамаках. Пока подавалось угощение, на поляну ворвалась группа мужчин Мокототери. — *Хаии, хаиии, хаииии*, — выкрикивали они, ритмично двигаясь под стук луков о стрелы и со свистом размахивая пальмовыми листьями.

Я с трудом различала фигуры танцоров. Временами они, казалось, сливались в единое целое, временами распадались. Из колыхания пальмовых листьев выныривали в пляске то руки, то ноги. Черные, похожие вдали от света костров на огромных крылатых птиц силуэты превращались в горящие медью фигуры не то людей, не то птиц, когда их блестящие тела высвечивались в пламени.

— Мы хотим танцевать с вашими женщинами, — потребовали Мокототери. И не услышав ответа от Итикотери, стали над ними насмехаться: — Да вы их просто ревнуете.

Почему бы не позволить потанцевать вашим бедным женщинам? Вы что, забыли, что у вас на празднике мы разрешали вам танцевать с нашими женщинами? — Кто хочет танцевать с Мокототери, пусть танцует! — прокричал Ирамамове и предупредил мужчин: — Но вы не станете заставлять наших женщин танцевать, если они не захотят.

— *Хаии, хаиии, хаииии*. - исступленно завопили мужчины, приглашая в пляску и своих женщин, и женщин Итикотери.

— А ты разве не хочешь потанцевать? — спросила я Ритими. -И я с тобой пойду.

— Нет уж. Я не хочу потерять тебя в толпе, — ответила она. — Я не хочу, чтобы кто-нибудь ударил тебя по голове.

— Но это же было случайно. К тому же Мокототери не пляшут с горящими головнями, — сказала я. — Что плохого они могут сделать пальмовыми листьями? Ритими пожала плечами. — Мой отец сказал, что Мокототери верить нельзя.

— Я думала, что к себе на праздник приглашают только друзей.

— Врагов тоже, — посмеиваясь, заметила Ритими. — Праздники — это удобный случай выведать, что у людей на уме.

— А Мокототери очень радушны, — сказала я. — Они нас так хорошо накормили.

— Они хорошо нас накормили, потому что не хотят, чтобы их называли жадюгами, — сказала Ритими. — Но, как мой отец тебе уже говорил, ты еще ничего не понимаешь. Ты явно не видишь, что происходит, если считаешь их радушными людьми. — Ритими, словно ребенка, шлепнула меня по затылку и продолжала: — Неужели ты не заметила, что наши мужчины не принимали сегодня *эпену*! Неужели ты не заметила, что они все время настороже? Ничего такого я не заметила и хотела было добавить, что как раз поведение Итикотери было не особенно дружелюбным, но решила смолчать. В конце концов, как заметила Ритими, я действительно не понимала, что происходит. Я стала наблюдать, как шестеро мужчин Итикотери пляшут вокруг огней. В их движениях не было привычного самозабвения, а глаза рыскали во все стороны, пристально следя за тем, что творится вокруг. Остальные мужчины Итикотери не отдыхали в гамаках хозяев, а стояли у хижин.

Пляска утратила для меня всякое очарование. Тени и голоса приобрели иной оттенок. Ночь теперь казалась сгустившейся в зловещую тьму. Я принялась есть поданное угощение. — У этого мяса горьковатый привкус, — заметила я, опасаясь, не отравлено ли оно.

— Оно горькое из-за *мамукори*, — небрежно сказала Ритими. — То место обезьяны, куда попала отравленная стрела, не было как следует промыто.

Я тут же выплюнула мясо, причем не только из страха быть отравленной. При одном воспоминании о варившейся в алюминиевом котле обезьяне и плавающем на поверхности жире и обезьяньей шерсти, на меня накатила тошнота.

Ритими положила кусочек мяса обратно на мою тарелку из обломка калабаша. — Съешь, — велела она. — Оно не опасно, даже если горькое. Твое тело привыкнет к яду.

Ты разве не знаешь, что отцы всегда дают сыновьям те куски, куда попала стрела? Если во время набега их ранят отравленной стрелой, они не умрут, потому что их тела уже привыкли к *мамукори*.

— А я боюсь, что умру от отравленного мяса, не дождавшись, пока в меня попадет отравленная стрела.

— Нет. Никто не умирает, съев *мамукори*. — Оно должно попасть через кожу. — Она взяла с моего калабаша изжеванную порцию, откусила кусочек, а остаток воткнула в мой разинутый рот. С насмешливой улыбкой она поменялась со мной тарелками. — Я не хочу, чтобы ты подавилась, — заявила она, доедая обезьянью грудку с преувеличенным аппетитом. Все еще жуя, она предложила мне взглянуть на круглолицую женщину, плясавшую у костра.

Я кивнула, хотя и не поняла, кого она имела в виду. У огня плясало около десятка женщин. Все они были круглолицы, с темными раскосыми глазами, с пышными телами, медово светившимися в отблесках пламени.

— Это та самая, которая спала с Этевой во время нашего праздника, — сказала Ритими. — Я ее уже околдовала.

— Когда же ты это сделала? — Сегодня днем, — тихонько сказала Ритими и, хихикнув, удовлетворенно добавила: — Я выдула *око-шики*, которую сорвала у себя в огороде, на ее гамак.

— А что, если в ее гамак сядет кто-нибудь другой? — Это неважно. Колдовство нанесет вред только ей одной, — заверила меня Ритими.

Разузнать побольше о колдовстве у меня не было возможности, потому что в этот момент пляска закончилась и усталые улыбающиеся танцоры разошлись по хижинам поесть и передохнуть.

Собравшиеся возле нас у очага женщины были удивлены тем, что мы с Ритими не танцевали. Пляска имела такое же значение, как и раскрашивание тела пастой *оното* — она сохраняла молодость и радость жизни.

Вскоре на поляну вышел вождь и громовым голосом объявил: — Я хочу послушать, как поют женщины Итикотери. Их голоса радуют мой слух. Я хочу, чтобы наши женщины выучили их песни.

Женщины, посмеиваясь, стали подталкивать друг дружку. — Иди ты, Ритими, — сказала одна из жен Ирамамове.

— У тебя такой красивый голос.

Ритими не заставила просить себя дважды. — Давайте все вместе, — сказала она, поднимаясь.

Тишина воцарилась в *шабоно*, когда мы, обняв друг друга за талии, вышли на середину поляны. Встав лицом к хижине вождя, Ритими запела чистым, мелодичным голосом. Песни были очень короткие; две последние строчки мы повторяли хором. Остальные женщины тоже пели, но вождь настоял, чтобы именно Ритими повторила свои песни, особенно одну, пока ее не заучили его женщины.

Когда ветер веет в пальмовых листьях, Я вслушиваюсь в их грустный шелест вместе с умолкшими лягушками.

*В высоком небе смеются звезды,
Но скрытые тучами, они проливают слезы печали.*

Вождь подошел к нам и, обратившись ко мне, сказал:—А теперь ты спой нам что-нибудь.

— Но я никаких песен не знаю, — сказала я, не в силах подавить смех.

— Должна же ты знать хоть какие-нибудь, — настаивал вождь. — Мне рассказывали, как белые люди любят петь. У них даже есть поющие ящики.

Как говорил еще в третьем классе в Каракасе мой учитель музыки: мало того что у меня отвратительный голос, мне еще и медведь на ухо наступил. Тем не менее профессор Ханс — он требовал, чтобы мы его так называли — не остался безучастным к моему страстному желанию петь.

Он разрешал мне оставаться в классе при условии, что я буду сидеть в последнем ряду и петь очень тихо. Профессор Ханс не утруждал нас религиозными и народными песнями, которые полагалось изучать по программе, а учил нас петь аргентинские танго тридцатых годов. Этих песен я не забыла.

Окинув взглядом исполненные ожидания лица окружающих, я подошла ближе к огню, прокашлялась и запела, не обращая внимания на то, что безбожно перевираю мелодию. В какой-то момент я почувствовала, что очень точно воспроизвожу ту страстную манеру, с какой профессор Ханс распевал эти танго. Я прижала руки к груди и закрыла глаза, словно захваченная трагической тоской каждой строчки.

Мои слушатели были потрясены. Мокототери и Итикотери вышли из хижин, чтобы лучше видеть каждый мой жест.

Вождь долгое время смотрел на меня и наконец сказал: — Наши женщины не смогут научиться петь в такой странной манере.

Потом стали петь мужчины. Каждый певец выходил на середину поляны и стоял там, обеими руками опираясь о лук. Иногда исполнителя сопровождал друг, и тогда певец опирался рукой о плечо товарища. Особым успехом в тот вечер пользовалась песня, спетая юношей Мокототери.

Когда обезьяна прыгает с дерева на дерево,
Я выпускаю в нее стрелу.
А вниз летят лишь зеленые листья.
Кружась, они ложатся у моих ног.

Мужчины Иतिकотери не ложились спать в свои гамаки, а беседовали и пели с хозяевами всю ночь. Мы с женщинами и детьми спали в пустых хижинах у главного входа *шабоно*.

Утром я досыта наелась ананасов и плодов папайи, которые принесла мне с отцовских огородов девушка Мокототери. Мы с Ритими обнаружили их еще раньше, когда ходили в кусты. Она посоветовала мне не просить этих плодов — не потому что так не принято, а потому, что они еще не созрели. Меня, однако, вполне устраивал их кисловатый вкус, несмотря даже на легкую боль в животе. Многие месяцы я не ела привычных фруктов. Бананы и пальмовые плоды были для меня все равно что овощи.

— У тебя был очень противный голос, когда ты пела, — сказал, подсев ко мне, молодой мужчина. — Ого-о, песни твоей я не понял, но она, должно быть, ужасная.

Онемев, я свирепо на него уставилась. Я не знала, то ли мне смеяться, то ли обругать его в ответ.

Обняв меня руками за шею, Ритими расхохоталась, посмотрела искоса и прошептала на ухо: — Когда ты пела, я подумала, что от обезьяньего мяса у тебя разболелся живот.

Усевшись на корточки в том же месте поляны, что и вчера вечером, мужчины Иतिकотери и Мокототери продолжили беседу в той же официальной, освященной ритуалом манере, которая полагалась для *вайямоу*. Меновая торговля была долгим и сложным делом, во время которого равное значение придавалось как предметам торговли, так и обмену информацией и сплетнями.

Ближе к полудню кое-кто из женщин Мокототери принялся ругать мужей за приобретенные предметы, заявляя, что мачете, алюминиевые котелки и хлопковые гамаки нужны им самим. — Отравленные наконечники для стрел! — сердито кричала какая-то женщина. — Ты и сам мог бы их сделать, если бы не был таким лентяем! — Но мужчины продолжали торговаться, не обращая ни малейшего внимания на упреки женщин.

После полудня мы покинули деревню Мокототери с корзинами, полными привычных бананов, пальмовых плодов и мяса, врученного хозяевами гостям на дорогу.

Незадолго до темноты нас догнали трое мужчин Мокототери. Один из них, подняв лук, заговорил: — Наш вождь хочет, чтобы Белая Девушка осталась у нас. — И он уставился на меня, глядя вдоль древка нацеленной стрелы.

— Только трус целится стрелой в женщину, — сказал Ирамамове, становясь впереди меня. — Что же ты не стреляешь, ты, бестолковый Мокототери? — Мы пришли не сражаться, — ответил мужчина, воз вращая лук со стрелой в исходное положение. — Мы давно могли бы устроить на вас засаду. Мы хотим только напугать Белую Девушку, чтобы она пошла с нами.

— Она не может остаться у вас, — сказал Ирамамове. — Милагрос привел ее в наше *шабоно*. Если бы он хотел, чтобы она оставалась у вас, он и привел бы ее к вам в деревню.

— Мы хотим, чтобы она пошла с нами, — настаивал мужчина. — Мы приведем ее обратно еще до начала дождей.

— Если ты меня разозлишь, я убью тебя на месте. — Ирамамове ударил себя в грудь. — Запомни, трусливый Мокототери, что я свирепый воин. *Хекуры* у меня в груди подчиняются любому моему приказу даже без *эпены*. Ирамамове подошел к троице поближе. — Вы разве не знаете, что Белая Девушка принадлежит Итикотери? — Почему ты ее сам не спросишь, где она хочет жить? — сказал мужчина. — Ей понравился наш народ. Может, она хочет жить с нами.

Ирамамове разразился раскатистым смехом, по которому нельзя было судить, веселится он или разъярен. Внезапно он оборвал смех. — Белой Девушке не нравится внешность Мокототери. Она сказала, что все вы похожи на обезьян. — Ирамамове обернулся ко мне. В глазах его было такое просящее выражение, что я чуть не захихикала.

При виде недоуменных лиц троих Мокототери, мне стало немного совестно. На минуту у меня появилось искушение опровергнуть слова Ирамамове. Но я не могла не считаться с его гневом и не забывала встревоженности Арасуве по поводу моего похода на праздник. Скрестив руки на груди, я вздернула подбородок и, ни на кого не глядя, заявила: — Я не хочу идти к вам в деревню. Я не хочу есть и спать с обезьянами.

Итикотери разразились громким насмешливым хохотом. Трое мужчин резко развернулись и скрылись на тропе, уводящей в заросли.

Мы сделали привал на расчищенном участке леса в небольшом отдалении от реки, где еще сохранились остатки временных жилищ. Накрывать их новыми листьями не стали, поскольку старый Камосиве заверил нас, что ночью дождя не будет.

Ирамамове ничего не ел и сидел у огня в мрачной задумчивости. Весь он был напряжен, словно каждую минуту ожидал появления той же троицы.

— Есть опасность, что Мокототери могут вернуться? — спросила я.

Прежде чем ответить, Ирамамове довольно долго молчал. — Они трусливы. Они знают, что мои стрелы пригвоздят их на месте. — Плотнo сжав губы, он упорно смотрел в землю. — Я думаю, как нам лучше возвращаться в наше *шабоно*.

— Нам надо разделиться, — предложил старый Камосиве, не сводя с меня единственного глаза. — Этой ночью луны не будет; Мокототери не вернутся. А завтра они, может быть, снова потребуют Белую Девушку. Тогда мы им сможем сказать, что они ее так напугали, что она попросила отвести ее обратно в миссию.

— Ты отсылаешь ее обратно? — полный тревоги голос Ритими повис в темноте.

— Нет, — живо ответил старик. Седая щетина на подбородке, единственный, не

упускавший ни малейшей мелочи глаз и тщедушное сморщенное тело придавали ему сходство с плутоватым эльфом. — Этева должен будет вернуться в *шабоно* вместе с Ритими и Белой Девушкой через горы. Путь неблизкий, зато за ними не будут тащиться дети и старики. До деревни они дойдут всего на день-два позже нас. Это хороший путь, по нему редко ходят. — Старый Камосиве поднялся и втянул в себя воздух. — Завтра будет дождь. Сделаешь на ночь укрытие, — сказал он Этеве, потом сел на корточки, улыбаясь и не сводя с меня своего запавшего глаза. — Ты не боишься возвращаться в *шабоно* через горы? Усмехнувшись, я покачала головой. Я как-то не могла представить, что мне может грозить опасность.

— Тебе не было страшно, когда Мокототери нацелил на тебя стрелу? — спросил Камосиве.

— Нет. Я знала, что Итикотери меня защитят. — Я заставила себя умолчать о том, что весь этот инцидент показался мне скорее забавным, чем опасным. В тот момент я не вполне осознавала, что несмотря на явную попытку запугать нас, типичную для всякой критической ситуации, Мокототери и Итикотери были совершенно серьезны в своих требованиях и угрозах.

Старого Камосиве порадовал мой ответ. Мне показалось, что доволен он был не столько тем, что я не испугалась, сколько тем, как я доверяю его народу. До глубокой ночи он проговорил с Этевой. Ритими уснула, держа меня за руку, со счастливой улыбкой на губах. Глядя на спящую, я понимала причину ее радости. Несколько дней она будет иметь Этеву практически только для себя.

В *шабоно* мужчины крайне редко выказывали к женам нежные чувства. Это считалось проявлением слабости.

Только с детьми мужчины были откровенно нежны и ласковы; они баловали их, целовали и не скупилась на ласки.

Я не раз видела, как Этева и даже свирепый Ирамамове несли тяжелые вязанки дров вместо своих женщин только затем, чтобы бросить их на землю при подходе к *шабоно*.

Когда поблизости не было мужчин, Этева приберегал лакомый кусочек мяса или плод для Ритими или Тутеми. Я видела, как под покровом темноты он прижимает ухо к животу Тутеми послушать, как шевелится нерожденное дитя. А на людях он никогда даже не упоминал, что вскоре должен стать отцом.

Этева разбудил нас с Ритими за несколько часов до рассвета. Мы тихо вышли из лагеря и отправились вдоль песчаного берега реки. За исключением гамаков, нескольких бананов и трех ананасов, которыми угостила меня девушка Мокототери, в наших корзинах ничего не было. Старый Камосиве заверил Этеву, что по дороге у нас будет много дичи. Луны не было, но река черно поблескивала, отражая слабое свечение неба. С небольшими промежутками тишину пронизывал слабый крик ночной птицы, возвещавший наступление рассвета. Звезды одна за другой гасли; очертания деревьев становились все резче по мере того как розовый свет зари опускался все ниже к сумеркам у наших ног. Меня поразила речная ширь, тишина вод, текущих настолько плавно, что они казались неподвижными. Три попугая ара треугольником пронеслись в небе, расцветив повисшие в безветрии облака красными, синими и желтыми перьями, а над кронами деревьев пылающим апельсином поднялось солнце.

Широко раскрыв рот, Этева зевнул во всю глубину легких и сощурился — солнечный свет был слишком ярким для невыспавшихся глаз.

Мы отвязали корзины. Ритими и я сели на поваленное дерево и стали смотреть, как Этева натягивает лук. Он медленно поднял руки и изогнул спину, нацеливая стрелу ввысь. Бесконечно долго он стоял не двигаясь, словно каменное изваяние с тщательно прорисованными мускулами, и пристально следя за пролетающими птицами. Я не осмеливалась спросить, почему он так долго выжидал, прежде чем выстрелить.

Я не услышала, как стрела прорезала воздух — только отчаянный вскрик, растворившийся в

трепете крыльев. На мгновение попугай комком перьев, скрепленных окрасившейся кровью стрелой, завис в небе, а потом рухнул вниз недалеко от того места, где стоял Этева.

Этева развел огонь, на котором мы зажарили ошипанную птицу и запекли несколько бананов. Сам он съел немного и настоял, чтобы все остальное съели мы, поскольку нам понадобятся силы для утомительного подъема в горы.

Свернув в заросли, мы не стали жалеть о ярком солнечном свете на прибрежной тропе. Тень от лиан и деревьев давала отдых нашим уставшим глазам. Увядающие листья на фоне зелени походили на лоскутки цветов. Этева срезал ветки с дикорастущего какао. — Из этого дерева получают самые лучшие палочки для добывания огня, — сказал он, счищая кору с веток острым ножом, сделанным из нижнего резца агути. Потом он нарезал зеленых, желтых и фиолетовых стручков, короткими, лишенными листьев ножками прикрепленных к низкорослым стволам какао.

Он разрезал стручки, и мы высосали сладкую желеобразную мякоть, а бобы завернули в листья. — Если их поджарить, — пояснила Ритими, — бобы *похоро* очень вкусные. — Интересно, подумала я, не напоминают ли они по вкусу шоколад.

— Поблизости должны быть обезьяны и ласки, — заметил Этева, показывая мне валявшиеся на земле обгрызанные стручки. — Они не меньше нашего любят плоды *похоро*.

Немного дальше Этева остановился перед извилистой лианой и сделал ножом зарубку. — *Мамукори*, — сказал он. — Я сюда вернусь, когда мне понадобится сделать свежий яд.

— *Ашукамаки!* — воскликнула я, когда мы остановились под деревом, чей ствол покрывали блестящие, словно восковые листья. Но это не была лиана, применявшаяся для сгущения кураре. Этева заметил, что те листья были длинными и зазубренными. А остановился он, потому что увидел на земле кости разных животных.

— Гарпия, — сказал он, показывая гнездо на верхушке дерева.

— Не убивай птицу, — стала просить Ритими. — А вдруг это дух умершего Иतिकотери.

Не обращая внимания на жену, Этева вскарабкался на дерево. Добравшись до гнезда, он вытащил белого пушистого птенца и под громкие крики матери сбросил его на землю. Затем, крепко опершись о ствол и ветви дерева, он прицелился в кружащую над ним птицу.

— Я рад, что подстрелил эту птицу, — сказал Этева, подгоняя нас к тому месту, куда сквозь ветки рухнула убитая гарпия. — Она ест только мясо. — И повернувшись к Ритими, он тихо добавил: — Я слушал ее крик, перед тем как выпустить стрелу — это не был голос духа. — Он выщипал мягкие белые перья из грудки птицы и длинные серые из ее крыльев, затем завернул их в листья.

Сквозивший сквозь листву полуденный жар нагнал на меня такую дремоту, что мне отчаянно захотелось спать. У Ритими под глазами были темные круги, словно она мазнула по нежной коже углем. Этева замедлил шаг и, ни слова не говоря, направился к реке. Мы долго стояли в широком мелководье, отупев от зноя и слепящего света. Мы смотрели на отражения деревьев и облаков, потом улеглись на ярко-желтой песчаной отмели посреди реки. От танина затопленных корней синева выцвела в зелень и красноту.

Все замерло — каждый листик, каждое облачко. Даже висящие над водой стрекозы казались неподвижными в прозрачном трепете крыльев. Перевернувшись на живот, я опустила руки на водную гладь, словно могла удержать полную истомы гармонию между речным отражением и сиянием небес. Я скользнула на животе, пока мои губы не коснулись воды, и стала пить отраженные облака.

Две цапли, взлетевшие было при нашем появлении, вернулись на прежнее место. Стоя на своих длинных ногах, с шеями, спрятанными в пышных плюмажах, они наблюдали за нами из-под полуприкрытых век. Я увидела, как, поблескивая над водой, взбрасывались ошалевшие от

зная серебристые тела. — Рыба! — воскликнула я, и всю мою сонливость как ветром сдуло.

Посмеиваясь, Этева указал стрелой на пролетающую мимо стайку крикливых попугаев. — Птицы! — крикнул он и потянулся за висящим у него за спиной бамбуковым колчаном. Достав наконечник, он лизнул его, чтобы проверить, хорош ли еще яд. Удовлетворившись его горьким вкусом, он прикрепил наконечник к древку, затем проверил лук, натянув и спустив тетиву. — Плохо натянута, — заметил он, отвязывая один ее конец. Несколько раз скрутив тетиву в ладонях, он привязал ее на место. — Переночуем здесь, — сказал он и побрел по мелководью. Поднявшись на противоположный берег, он скрылся за деревьями.

Мы с Ритими остались на песчаном берегу. Она вынула перья из свертка и разложила их на камне, чтобы солнце уничтожило насекомых. Внезапно оживившись, она указала на стоящее у берега дерево, с которого подобно плодам свисали гроздья белых цветов. Срезав несколько веток, она предложила мне полакомиться этими цветами. — Они же сладкие, — заметила она, увидев, что я не проявляю к ним особого интереса.

Пытаясь объяснить, что по вкусу эти цветы напоминают мне сильно пахнущее туалетное мыло, я уснула. Разбудили меня звуки сумерек, сметающих с неба дневной свет, — прохладный шелест ветерка в листве, голоса птиц, устраивающихся на ночлег.

Этева вернулся с двумя индейками *гокко* и связкой пальмовых листьев. Я помогла Ритими собрать на берегу топливо для костра. А пока она ощипывала птиц, помогла и Этеве построить временное укрытие.

— Ты уверен, что будет дождь? — спросила я, поглядывая в чистое безоблачное небо.

— Если старый Камосиве сказал, что будет дождь, значит, будет, — ответил Этева. — У него такой же нюх на дождь, как у других на еду.

Получилась маленькая уютная хижина. Передний шест был выше двух задних, но не настолько высок, чтобы позволить встать во весь рост. Шесты соединялись длинными палками, что придавало всему сооружению треугольную форму. Крыша и задняя стенка были накрыты пальмовыми листьями. На землю мы постелили банановые листья, поскольку тонкие шесты не удержали бы трех гамаков.

Собственно говоря, Этева построил убежище не столько ради удобства моего и Ритими, сколько для себя. Промокнув под дождем, он мог бы стать виновником того, что ребенок у Тутеми родится мертвым или увечным.

На костре, который развел в хижине Этева, Ритими приготовила птиц, несколько бананов и бобы какао. Я размяла один из наших ананасов. Смещение ароматов и блюд напомнило мне ужин в День Благодарения.

— Это должно быть похоже на орехи *момо*, — сказала Ритими после того, как я рассказала ей про крыжовенный соус. — *Момо* тоже красный, его тоже надо долго варить, пока он не размякнет. Его тоже надо вымачивать в воде, чтобы растворился весь яд.

— Не думаю, чтобы мне понравились орехи *момо*.

— Понравятся, — заверила меня Ритими. — Видишь, тебе же понравились бобы *похоро*. А орехи *момо* еще лучше.

Я с улыбкой кивнула. Хотя жареные бобы какао не были похожи на шоколад, на вкус они были не хуже орехов кешью.

Улегшись на подстилку из банановых листьев, Этева и Ритими моментально заснули. Я вытянулась во весь рост рядом с Ритими. Во сне она потянулась и прижала меня к себе. Тепло ее тела наполнило меня благодатной истомой; ритмичное дыхание навевало сладкую дремоту. В мозгу один за другим проплывали похожие на сон образы, то медленно, то быстрее, словно кто-то показывал мне кино: перехватывая руками ветки деревьев, крича, как обезьяны-ревуны, мимо меня пронеслись мужчины Мокототери. Крокодилы со светящимися глазами, едва высунувшись

над поверхностью воды, сонно мигали и вдруг разевали гигантские пасти, готовые меня проглотить. Муравьеды с их узенькими липкими языками пускали слюной пузыри, в которых я видела себя захваченной вместе с сотнями муравьев.

Меня разбудил внезапный порыв ветра; он принес с собой запах дождя. Я села и начала слушать как тяжелые дождевые капли шлепаются на пальмовую крышу. Привычные голоса сверчков и лягушек создавали непрерывный пульсирующий фон жалобным крикам ночных обезьян, похожим на флейту голосам лесных куропадок. Совершенно явственно я услышала шаги, а потом треск веток.

— Там кто-то есть, — сказала я, растормошив Этеву.

Он подвинулся к переднему шесту хижины. — Это ягуар ищет лягушек на болотах. — Этева чуть повернул мою голову налево. — Вот его запах.

Я несколько раз потянула носом воздух. — Не чувствую я никакого запаха.

— Это дыхание ягуара так воняет. Вонь такая сильная, потому что он ест все сырое. — Этева снова повернул мою голову, на этот раз направо. — Послушай, вот он возвращается в лес.

Я снова легла. Проснулась Ритими, протерла глаза и улыбнулась. — Мне приснилось, что я поднялась в горы и видела водопады.

— Завтра мы туда и пойдем, — сказал Этева, снимая висевший на шее мешочек с *эпенной*. Он отсыпал немного порошка на ладонь и одним глубоким вдохом втянул его в ноздри.

— Ты сейчас будешь петь заклинания *хекурам*? — спросила я.

— Я буду просить лесных духов, чтобы они нас оберегали, — ответил Этева и тихо запел. Его песня, уносимая ночным ветерком, казалось, проникала сквозь тьму. Я не сомневалась, что она дошла до ушей духов, обитающих в четырех углах земли. В угасающем костре тускло светились уголья. Голоса Этевы я уже не слышала, но губы его все еще шевелились, когда я уплывала в глубокий сон.

Вскоре я проснулась от тихих стонов Ритими и тронула ее за плечо, решив, что ей привиделся какой-то кошмар.

— Ты тоже хочешь попробовать? — промурлыкала она.

Я удивленно открыла глаза и увидела улыбающееся лицо Этевы; он занимался с ней любовью. Какое-то время я смотрела на них. Движения тел были настолько согласованными, что казалось, они не двигаются вовсе.

Без малейшего смущения Этева оставил Ритими и встал передо мной на колени. Подняв мои ноги, он их слегка распрямил, прижался щеками к икрам; его прикосновение было как игривая ласка ребенка. Не было объятий, не было слов. Но меня переполняла нежность.

Этева снова перебрался к Ритими, положив голову между ее и моим плечами.

— Теперь мы и в самом деле сестры, — тихо сказала Ритими. — Внешне мы непохожи, зато внутри мы теперь одинаковые.

Я прижалась к ней покрепче. Ветерок с реки, пробежавший под нашей крышей, был как ласка.

Розовый свет зари осторожно спустился на кроны деревьев. Ритими и Этева направились к реке. Я вышла из хижины и вдохнула воздух нового дня. На заре лесная темень уже не черная, а голубовато-зеленая, как в подземной пещере, куда свет проникает сквозь скрытую расщелину.

Брызги росы ласковым дождем омывали мое лицо, когда я отводила в сторону листья и лианы. Красные паучки с волосатыми лапками поспешно латали свои серебристые паутины.

В дупле трухлявого дерева Этева нашел соты с медом.

Выжав последние капли в наши рты, он бросил соты в наполненный водой калабаш, и позже мы пили сладкую воду.

Мы взбирались по заросшим тропам вдоль маленьких водопадов и стремительных речных

потоков, ветер от которых развевал наши волосы и раскачивал бамбуковые заросли на берегу.

— Вот это я и видела во сне, — сказала Ритими, распахнув руки, словно желая обнять все огромное пространство воды, летящей перед нами в глубокий и широкий водоем.

Я осторожно пробралась на темные базальтовые камни, выступающие среди водопадов и долго стояла под струями, подняв руки, чтобы смягчить оглушительную силу воды, ниспадающей с прогретых солнцем высот.

— Белая Девушка, выходи! — крикнул Этева. — Не то духи быстрой воды нашьют на тебя болезнь.

Ближе к вечеру мы сделали привал у рощицы диких банановых деревьев. Среди них я обнаружила авокадо. На нем был только один плод, причем не грушевидной формы, а круглый и большой, как мускусная дыня, блестящий, словно восковой. Этева подсадил меня до первой ветки, и я медленно поползла за плодом, висящим на самой вершине.

Я так жаждала добраться до этого зеленого шарика, что не обратила внимания на предательский треск хрупких веток под ногами. И как только я схватила плод, ветка, на которой я стояла, обломилась.

Этева хохотал, пока по щекам у него не потекли слезы.

Ритими, тоже смеясь, соскребала раздавленное авокадо с моего живота и бедер.

— Я чуть не покалечилась, — сказала я, задетая их беззаботным весельем. — Может, я ногу сломала.

— Не сломала, — заверил Этева. — Земля тут покрыта сухими листьями и мягкая. — Он собрал в ладонь немного раздавленной мякоти и заставил меня съесть. — Говорил я тебе не стоять под водопадом, — серьезно добавил он. — Духи быстрой воды сделали так, что ты не обратила внимания на опасность от сухих веток.

Пока Этева соорудил хижину, день растаял без следа.

В лесу стоял беловатый туман. Дождя не было, но роса при малейшем прикосновении крупными каплями стекала с листьев.

Мы снова спали на банановых листьях, согревая друг друга телами и впитывая тепло небольшого костра, который Этева поддерживал всю ночь, время от времени подталкивая ногой ближе к огню горящие поленья.

Еще до зари мы тронулись дальше. Густой туман все еще окутывал деревья, и кваканье лягушек доносилось до нас словно издалека. Чем выше мы взбирались, тем беднее становилась растительность, пока, наконец, не остались лишь трава да камни.

Мы выбрались на вершину изъеденного ветрами и водой плато, этого реликта иной эпохи. Лес внизу еще спал под одеялом тумана. Загадочный, непроходимый мир, всю огромность которого невозможно постичь извне. Сев на землю, мы молча стали дожидаться восхода солнца.

Как только небо на востоке заиграло багрянцем и пурпуром, я в благоговейном порыве вскочила на ноги. Послушные ветру облака разошлись, дав место поднимающемуся солнечному диску. Розовый туман волнами катился над деревьями, подсвечивая сумерки глубокой синевой, разливая по всему небу зеленые и желтые тона, пока оно наконец не стало прозрачно-голубым.

Я оглянулась на запад, где облака меняли очертания, уступая потокам света. На юге небо было подернуто огненными полосами и громоздились подгоняемые ветром светящиеся изнутри тучи.

— Вон там наше *шабоно*, — сказал Этева, показывая куда-то вдаль. Схватив за руку, он развернул меня на север. — А там течет большая река, где проходят пути белого человека.

Солнце подняло одеяло тумана. Река золотой змейкой блеснула сквозь море зелени, и я совершенно затерялась в этом необъятном пространстве, казавшемся частью иного мира.

Я хотела говорить, крикнуть во весь голос, но не было таких слов, чтобы выразить мои

чувства. Взглянув на Ритими и Этеву, я увидела в их глазах глубокое понимание того, что со мной творится. Я распахнула руки, словно желая обнять эту волшебную границу между лесом и небом. Я чувствовала, что нахожусь на краю пространства и времени. Я слышала, как трепещет свет, как шепчутся деревья, ветер доносил до меня далекие голоса птиц.

Внезапно я поняла, что вовсе не из-за отсутствия интереса, а вполне сознательно Иतिकотери никогда не расспрашивали меня о прошлом. В их глазах я не имела личного прошлого. Только так они могли воспринимать меня не как некую диковинку. События и связи из прошлого начали стираться у меня в памяти. Не то чтобы я стала их забывать, — я просто перестала о них думать, ибо в лесу они теряли всякое значение. Подобно Иतिकотери, я научилась жить настоящим. Время было вне меня. Оно стало чем-то, пригодным только на короткий момент. Попользуешься им, и оно снова погружалось в себя и становилось неощутимой частицей моей внутренней сущности.

— Ты так долго молчишь, — сказала сидящая на земле Ритими. Подтянув колени, она обхватила их руками, уперлась подбородком и пристально посмотрела на меня.

— Я думала о том, как я здесь счастлива, — сказала я.

Улыбнувшись, Ритими немного покачалась вперед и назад. — Однажды когда-нибудь я пойду собирать дрова, а тебя со мной рядом не будет. Но я не стану печалиться, потому что сегодня, перед тем как войти в *шабоно*, мы раскрасим наши тела *оното* и будем радоваться, глядя, как летят попугаи вдогонку за уходящим солнцем.

Как я уже говорила, женщины не имеют отношения к ритуалу принятия эпены.

Обычно они даже не готовят ее и им не разрешается принимать галлюциногенную смесь.

Женщинам неприлично даже прикоснуться к тростниковой трубке, через которую вдвухается смесь, если только мужчина не попросит принести ее.

Поэтому я очень удивилась, когда однажды утром увидела Ритими, склонившуюся над очагом и внимательно изучающую темно-красные семена *эпены*, сохнувшие над углями. Не подозревая о моем присутствии, она продолжала тереть ладонями сухие семена над большим листом, на котором была кучка пепла из коры. С той же тщательностью, что и Этева, она периодически плевала на пепел и семена и смешивала все в мягкую тестообразную массу.

Сложив рыхлую смесь в разогретую глиняную посудину, Ритими посмотрела на меня. Она по-детски смеялась над моим озадаченным выражением лица.

— Да-а, *эпена* будет сильной, — сказала она и снова сконцентрировалась на приготовлении галлюциногенной смеси, которая лопалась с чихающими звуками на куске терракоты. Гладким камнем она растирала быстро высыхающую массу, пока та не превратилась в очень мелкую пудру, в состав которой входил слой грязи с поверхности посуды.

— Я не думала, что женщины знают, как готовить *эпену*.

— Женщины могут делать все, — сказала Ритими, ссыпая бурую пудру в небольшой бамбуковый контейнер.

Напрасно надеясь, что она сама удовлетворит мое любопытство, я наконец спросила: — А почему ты делаешь смесь? — Этева знает, что я хорошо готовлю *эпену*, — гордо сказала она. — Он любит, чтобы к его возвращению с охоты было готово немного смеси.

Уже несколько дней мы не ели ничего, кроме рыбы.

Будучи в неподходящем для охоты настроении, Этева вместе с группой мужчин преградил маленький ручей, в который они бросили срезанные ветви лозы *ayori-toto*. Вода стала белой, как молоко. Единственное, что осталось сделать женщинам, — это наполнить корзины поднявшейся на поверхность задыхающейся рыбой. Но Итикотери не особенно любили рыбу, и скоро женщины и дети начали жаловаться на недостаток мяса. С тех пор как Этева и его товарищи ушли в лес, прошло два дня.

— Откуда ты знаешь, что сегодня Этева возвращается? — спросила я, и прежде чем Ритими успела ответить, поспешно добавила: — Я знаю, ты это чувствуешь ногами.

Улыбаясь, Ритими взяла длинную узкую трубку и несколько раз быстро поддула в нее.

— Я ее чищу, — произнесла она с озорным блеском в глазах.

— Ты когда-нибудь пробовала *эпену*? Ритими наклонилась и прошептала мне на ухо: — Да, но мне не понравилось. У меня болела голова.

Она украдкой посмотрела вокруг.

— А ты хочешь попробовать? — Я не хочу, чтобы у меня болела голова.

— Возможно, у тебя все будет по-другому, — сказала она.

Поднимаясь, она небрежно сунула бамбуковый контейнер и трехфутовую трубку себе в корзину.

— Пойдем к реке. Я хочу проверить, хороша ли *эпена*.

Мы отошли вдоль берега на небольшое расстояние от того места, где Итикотери обычно моются и берут воду. Я села на землю напротив Ритими, которая начала очень тщательно засыпать небольшую порцию *эпены* в один конец трубки. Она аккуратно постукивала по трубке

указательным пальцем, пока пудра равномерно не распространилась по всей длине. Я чувствовала, что покрываюсь каплями холодного пота. Всего один раз в жизни при удалении трех зубов мудрости я принимала наркотики. И тогда же решила, что гораздо умнее было бы выдержать боль вместо того чтобы потом долго галлюцинировать.

— Подними немного голову, — попросила Ритими, помещая трубку передо мной. — Видишь на конце маленький орешек *раша*? Прижми его к ноздре.

Я кивнула. Пальмовое семечко было прочно приклеено смолой к концу трубки. Убедившись, что маленькая дырочка, просверленная в нем, находится у меня в носу, я провела рукой по гладкой трубке и тут же отчетливо услышала, как по ней пронесся сжатый воздух. Я позволила ему проникнуть в ноздрю, и сразу же ощутила острую боль, которая обожгла мой мозг.

— Ужасное ощущение, — простонала я, охватывая голову руками.

— А теперь в другую, — проговорила Ритими и, улыбаясь, направила трубку в левую ноздрю.

Мне показалось, что из носа течет кровь, но Ритими уверила, что это только слюнь и слюна, бесконтрольно льющиеся из носа и рта. Я попыталась вытереться, но невозможно было поднять отяжелевшую руку.

— Почему ты так суетишься из-за соплей вместо того чтобы наслаждаться? — спросила Ритими, смеясь над моими неуклюжими усилиями. — Позже я вымою тебя в реке.

— Тут нечем наслаждаться, — проговорила я.

Пот струился по всему телу. Я чувствовала себя отвратительно, все тело было налито свинцом. Я везде видела точки красного и желтого света. Интересно, что же так смешило Ритими. Ее смех многократно повторялся у меня в ушах, как будто он рождался в моей голове.

— Давай я немного вдуну тебе в нос, — предложила я.

— О нет. Мне нужно следить за тобой, — сказала она. — У кого-то одного должна болеть голова.

— Эта *эпена* должна дать больше чем просто головную боль. Вдуй мне еще немного, — попросила я. — Я хочу увидеть *хекур*.

— *Хекуры* не приходят к женщинам, — между приступами смеха проговорила Ритими. Она поднесла трубку к моему носу. — Но если ты очень попросишь, может быть, они придут к тебе.

Я ощутила каждую частицу смеси, попавшую в мой нос и взорвавшуюся где-то в темени. Восхитительная вялость распространилась по всему телу. Я посмотрела на реку, ожидая, что мистические существа вот-вот появятся из глубин. Мелкая рябь на воде начала вырастать в волны, накатывающиеся с такой силой, что я поспешила встать на четвереньки. Я была убеждена, что вода хочет поймать меня. Я посмотрела в лицо Ритими и удивилась ее испугу.

— Что случилось? — спросила я.

Мой голос замер, когда я проследила за ее взглядом.

Перед нами стояли Этева и Ирамамове. С большим трудом я встала и прикоснулась к ним, чтобы убедиться, что это не галлюцинация.

Развязав большие узлы и сняв их со спины, они отдали все другим охотникам, стоявшим позади них.

— Отнесите мясо в *шабоно*, — произнес Ирамамове хриплым голосом.

Мысль о том, что Этева и Ирамамове будут есть так мало мяса, повергла меня в такую печаль, что я расплакалась. Охотник всегда отдавал большую часть убитой им дичи. Он скорее будет голодать, чем согласится с тем, что его попытаются обвинить в скупости.

— Я отдам тебе свою порцию, — сказала я Этеве. — Мне больше нравится рыба.

— Зачем ты пробовала *эпену*? — голос Этевы был суров, но глаза весело искрились.

— Нам нужно было проверить, правильно ли Ритими смешала пудру, — пробормотала я. —

Она недостаточно сильная. Совсем не видно хекур.

— Нет, она сильная, — возразил Этева.

Положив руки мне на плечи, он заставил меня сесть на землю перед собой.

— *Эпена*, сделанная из семян, сильнее, чем из коры. — Он поднял трубку со смесью. — В дыхании Ритими недостаточно силы.

Дьявольская усмешка исказила его лицо, когда он поднес трубку к моему носу и подул.

Я снова почувствовала головокружение, а в моей голове волнами разносился громкий смех Ирамамове и Этевы. Я медленно поднялась. Казалось, я не касалась ногами земли.

— Танцуй, Белая Девушка, — подбадривал меня Ирамамове. — Посмотрим, сможешь ли ты привлечь хекур своими песнями.

Очарованная его словами, я вытянула руки и начала танцевать маленькими отрывистыми шагами, точно так же, как танцевали мужчины в трансе от *эпены*.

В моей голове проносились мелодия и слова песни одной из хекур Ирамамове.

После долгих дней Призывания духа колибри, Он наконец пришел ко мне.

Ослепленный, я наблюдал его танец.

Ослабевший, упал я на землю И не чувствовал, Как он вошел в мое горло И отнял мой язык.

Я не видел, как в реку Утекла моя кровь И вода стала красной.

Он укрыл мои раны прекрасными перьями.

Так я узнал песни духа, С тех пор я пою их.

Этева подвел меня к берегу реки и плеснул воды мне в лицо и на грудь.

— Не повторяй его песню, — предупредил он меня. — Ирамамове будет злиться и причинит тебе вред своими волшебными растениями.

Я хотела сделать так, как он сказал, но что-то заставило меня повторить песню хекуры Ирамамове.

— Не повторяй его песню, — умолял Этева. — Ирамамове сделает тебя глухой. Он заставит тебя плакать кровью.

Этева повернулся к Ирамамове: — Не заколдовывай Белую Девушку.

— А я и не собираюсь, — уверил его Ирамамове. — Я не злюсь на нее. Я знаю, она не такая, как мы, она не все понимает.

Взяв мое лицо в руки, он заставил меня заглянуть в его глаза.

— Я вижу, как хекуры танцуют у нее в зрачках.

На солнечном свете глаза Ирамамове были не темными как обычно, а светлыми, цвета меда.

— Я тоже вижу хекуры у тебя в глазах, — сказала я ему, рассматривая желтые пятна на радужке его глаз.

Я попыталась сказать ему, что наконец поняла, почему его имя Глаз Ягуара, но свалилась к его ногам. Я смутно помнила, что меня несли чьи-то руки. Добравшись до гамака, я сразу же провалилась в глубокий сон и проснулась только на следующий день.

В хижине Этевы собрались Арасуве, Ирамамове и старый Камосиве. Я беспокойно рассматривала их. Они были разукрашены *оното*; мочки их ушей были украшены короткими тростниковыми палочками, раскрашенными под перо. Когда Ритими села рядом со мной в гамаке, я решила, что она пришла защищать меня от их гнева. Не дав никому из мужчин возможности что-либо сказать, я начала нести ахиною, извиняясь за то, что попробовала *эпену*. Чем быстрее я говорила, тем безопаснее себя чувствовала. Ровный поток слов, решила я, был надежным способом разогнать их гнев.

Арасуве наконец прервал мою бессвязную болтовню: — Ты говоришь слишком быстро. Я не

могу ничего понять.

Меня смутил его дружеский тон. Казалось, он не был результатом моей речи. Я взглянула на других. Их лица не выражали ничего, кроме искренней любознательности. Я наклонилась к Ритими и шепотом спросила: — Если они не злятся, то почему они пришли в хижину? — Не знаю, — тихо ответила она.

— Белая Девушка, ты когда-нибудь раньше видела *хекуру*? — спросил Арасуве.

— Я никогда в жизни не видела *хекур*, — быстро уверила его я. — Даже вчера.

— Ирамамове видел *хекур* в твоих глазах, — настаивал Арасуве. — Вчера вечером он принимал *эпену*. Его собственная *хекура* сказала ему, что научила тебя своей песне.

— Я знаю песню Ирамамове, потому что очень часто слышала ее, — не унималась я. — Как могла его *хекура* научить меня? Духи не приходят к женщинам.

— Ты не похожа на женщин Итикотери, — сказал старый Камосиве, глядя на меня так, как будто впервые видел. — *Хекуры* могут легко ошибиться. — Он вытер сок табака, стекающий в уголках рта. — Были случаи, когда *хекуры* приходили к женщинам.

— Поверь мне, — сказала я Ирамамове, — я знаю твою песню, потому что слышала много раз, как ты ее пел.

— Но я пою очень тихо, — доказывал Ирамамове. — Если ты действительно знаешь мою песню, почему бы тебе не спеть ее прямо сейчас? Надеюсь, что на этом инцидент будет исчерпан, я начала напевать мелодию. К полному разочарованию я совершенно не могла вспомнить слов.

— Ну вот видишь! — радостно воскликнул Ирамамове. — Моя *хекура* научила тебя этой песне. Именно поэтому я не разозлился на тебя вчера, поэтому я не повредил тебе уши и глаза, поэтому я не ударил тебя горячей палкой.

— А следовало бы, — сказала я, выдавливая улыбку.

Внутри у меня все дрожало. Характер Ирамамове был всем хорошо известен. У него была мстительная натура и очень жестокие наказания.

Старый Камосиве сплюнул шарик табака на землю, а потом достал банан, висевший прямо над ним. Очистив, он запихнул в рот весь плод целиком.

— Много лет тому назад была женщина — *шатори*, — бормотал он, жуя. — Ее звали Имаваами. У нее была белая кожа, как у тебя. Она была высокой и очень сильной, а когда она принимала *эпену*, то пела для *хекур*. Она знала, как при помощи массажа снять боль и как высосать яд.

Никто не мог превзойти ее в охоте за потерявшимися душами детей и в противодействии проклятиям черных шаманов.

— Скажи нам. Белая Девушка, — попросил Арасуве, — знала ли ты *шатори* прежде, чем пришла сюда? Учил ли тебя кто-нибудь из них? — Я знала шаманов, — сказала я. — Но они никогда ничему меня не учили.

Очень подробно я описала работу, которой занималась перед приездом в миссию. Я говорила о донье Мерседес и о том, как она разрешила мне наблюдать и записывать на магнитофон взаимодействие между собой и пациентами.

— Однажды донья Мерседес позволила мне принять участие в спиритическом сеансе, — сказала я. — Она верила, что я могу стать медиумом. Спириты со всей округи собрались в ее доме. Мы все сидели в Кругу и заклинаниями призывали духов. Мы пели заклинания очень долго.

— Ты принимала *эпену*? — спросил Ирамамове.

— Нет. Мы курили большие толстые сигары, — ответила я, улыбаясь своим воспоминаниям.

В комнате доньи Мерседес было десять человек. Мы все неподвижно сидели на стульях, покрытых козлиной кожей. С всепоглощающей концентрацией мы пыхтели нашими сигарами, наполняя комнату дымом, таким густым, что едва можно было видеть друг друга. Я была слишком озабочена концентрацией дыма и его воздействием на организм, чтобы прийти в транс.

— Один из спиритов попросил меня выйти, объяснив, что духи не придут, пока я остаюсь в комнате.

— И *хекуры* пришли, когда ты вышла? — спросил Ирамамове.

— Да, — ответила я. — Донья Мерседес рассказала мне на следующий день, как духи вошли в голову каждого спирита.

— Странно, — пробормотал Ирамамове. — Но ты должна была многому научиться, живя в ее доме.

— Я выучила ее молитвы и заклинания, а также научилась обращаться с различными типами трав и кореньев, которые применяются при лечении, — сказала я. — Но меня никогда не учили тому, как общаться с духами, или тому, как лечить людей. — Я посмотрела на каждого из мужчин. Этева был единственным, кто улыбался. — Как говорила донья Мерседес, единственный способ стать целителем — заниматься этим.

— И ты пробовала исцелять? — спросил старый Камосиве.

— Нет. Донья Мерседес посоветовала мне отправиться в джунгли.

Четверо мужчин посмотрели друг на друга, потом медленно повернулись ко мне и в один голос спросили: — Ты пришла сюда, чтобы изучать шаманов? — Нет же! — вспыхнула я, а потом, смягчившись, добавила. — Я пришла, чтобы принести пепел Анхелики.

Очень осторожно выбирая слова, я рассказала им о своей профессии — антрополога. Мое основное занятие — изучать людей, в том числе и шаманов, не потому, что мне хочется стать одним из них, но потому, что мне интересно изучать черты сходства и различия в различных шаманских традициях.

— Бывала ли ты когда-нибудь с другим *шапори*, кроме доньи Мерседес? — спросил старый Камосиве.

Я рассказала мужчинам о Хуане Каридаде, старике, которого я встретила много лет тому назад. Я поднялась и достала свой рюкзак, который хранила в корзине, подвешенной к одному из перекрытий. Из закрывающегося на молнию кармана, который из-за своего странного замка избежал интереса женщин и детей, я вытащила маленький кожаный мешочек и вытряхнула его содержимое в руки Арасуве. Очень подозрительно он смотрел на камень, жемчужину и алмаз, подаренный мне мистером Бартом.

— Этот камень, — сказала я, взяв его из руки Арасуве, — дал мне Хуан Каридад. Он заставил его выпрыгнуть из воды прямо у меня перед глазами.

Я погладила гладкий темно-золотистый камень. Он как раз помещался в мою ладонь и имел овальную форму, плоский с одной стороны и выпуклый с другой.

— Ты общалась с этим *шапори* точно так же, как с доньей Мерседес? — спросил Арасуве.

— Нет. Я не оставалась с ним надолго. Я боялась его.

— Боялась? Я думал, что ты никогда не боишься, — воскликнул старый Камосиве.

— Хуан Каридад страшный человек, — сказала я. — Он заставлял меня видеть странные сны, в которых сам всегда появлялся. По утрам он давал подробное описание того, что мне снилось.

Мужчины кивали друг другу со знанием дела.

— Какой могущественный *шапори*, — произнес Камосиве. — О чем же были эти сны? Я рассказала им, что больше всего меня испугал сон, который представлял собой точное

повторение события, которое случилось со мной, когда мне было пять лет. Однажды, когда мы с семьей возвращались с побережья, вместо того чтобы ехать прямо домой, отец решил сделать круг через лес и поискать орхидеи. Мы остановились возле неглубокой реки. Братья с отцом углубились в кусты. Мама, боясь змей и moskitov, осталась в машине. Сестра же предложила мне пройтись вброд вдоль отмели. Она была на десять лет старше меня, высокая и худая, с короткими вьющимися волосами, добела выгоревшими на солнце. У нее были бархатные темно-карие глаза, а не голубые или зеленые, как у большинства блондинок. Присев посреди потока, она предложила мне посмотреть на воду у нее между ногами. К моему огромному удивлению, вода окрасилась кровью.

— Тебе больно? — воскликнула я.

Не сказав ни слова, она встала и предложила мне следовать за ней. Ошеломленная, я так и продолжала стоять в воде, наблюдая за сестрой, карабкающейся на противоположный берег.

Во сне, всякий раз переживая тот же страх, я постоянно говорила себе, что нечего бояться, ведь я уже взрослая.

Я была на грани того, чтобы последовать за сестрой к заманчивому берегу, но всегда слышала голос Хуана Каридада, побуждавший меня остаться в воде.

— Она зовет тебя с земли мертвых, — говорил он. — Разве ты не помнишь, что она умерла? Бесчисленное количество раз я спрашивала, но Хуан Каридад решительно отказывался обсуждать то, как ему удавалось появляться в моих снах, или откуда он знал, что моя сестра погибла в авиакатастрофе. Я никогда не говорила с ним о моей семье. Он ничего не знал обо мне, кроме того, что я приехала из Лос-Анжелеса изучать целительские практики.

Хуан Каридад не злился, когда я вслух предполагала, что, возможно, он близок с кем-то, кто хорошо знает меня.

Он уверил меня, что мои слова не имеют смысла так же, как и то, в чем я его обвиняю. Все равно он не станет обсуждать то, о чем поклялся молчать. Сказав об этом, он всегда заставлял меня ехать домой.

— Почему он дал тебе камень? — спросил старый Камосиве.

— Видишь эти темные пятна и сквозные прожилки на его поверхности? — спросила я, поднося камень к его единственному глазу. — Хуан Каридад сказал мне, что они обозначают деревья и реки леса. Он сказал, что я много времени проведу в джунглях и должна хранить этот камень в качестве талисмана, оберегающего меня от вреда.

Мужчины долго молчали. Арасуве протянул мне алмаз и жемчужину: — Расскажи нам об этом.

Я рассказала им об алмазе, который дал мне в миссии мистер Барт.

— А это? — спросил старый Камосиве, взяв маленькую жемчужину из моей ладони. — Я никогда еще не видел такого круглого камня.

— Он у меня уже очень давно, — сказала я.

— Дольше, чем камень Хуана Каридада? — спросила Ритими.

— Значительно дольше. Жемчужину дал мне один старик, когда я приехала на остров Маргариты, где мы с друзьями собирались провести каникулы. Как только мы высадились из катера, старый рыбак подошел прямо ко мне. Положив жемчужину мне на ладонь, он сказал: «Она была твоей со дня твоего рождения. Ты потеряла ее, но я нашел ее для тебя на дне моря».

— А что случилось потом? — нетерпеливо спросил Арасуве.

— Больше ничего. Прежде чем я пришла в себя, старик ушел.

Камосиве положил жемчужину себе на ладонь и начал катать ее. Она необыкновенно красиво смотрелась на его темной, морщинистой руке, как будто они изначально принадлежали друг другу.

— Я хочу, чтобы ты оставил ее себе.

Улыбаясь, Камосиве посмотрел на меня: — Мне она очень нравится.

Он посмотрел на солнце через жемчужину: — Как красиво! Внутри камня — облака. А что, старик, который подарил ее тебе, был похож на меня? — спросил он, когда все четверо мужчин выходили из хижины.

— Он был стар, как ты, — сказала я, когда он повернулся в направлении своей хижины.

Но старик уже не слышал меня. Подняв жемчужину высоко над головой, он важно расхаживал по *шабоно*.

Больше никто не упоминал о том, как я принимала *эпену*. Иногда по вечерам, когда мужчины собирались возле своих хижин и вдыхали галлюциногенную пудру, кое-кто из молодежи выкрикивал, шутя: — Белая Девушка, мы хотим видеть, как ты танцуешь. Мы хотим слышать, как ты поешь песню *хекуры* Ирамамове.

Но я больше никогда не пробовала пудру.

Я никак не могла понять, где живет Пуривариве, брат Анхелики, и зовет ли его кто-нибудь, когда он бывает нужен, или он интуитивно чувствует это. Никто никогда не знал, останется он в шабоно

на несколько дней или на несколько недель. Но в его присутствии было что-то успокаивающее. Он всегда пел по ночам, призывая

хекур,

умоляя духов охранять людей, и особенно детей, которые наиболее уязвимы, от проклятий черных

шапори.

Однажды утром старый *шапори* вошел в хижину Этевы.

Усевшись в один из пустых гамаков, он попросил показать ему драгоценности, которые я прячу в рюкзаке.

Я хотела было возразить, что ничего не прячу, но, промолчав, сняла рюкзак с балки. Я знала, что он собирается попросить у меня один из камней и пламенно желала, чтобы им оказался не тот камень, который дал мне Хуан Каридад. Каким-то образом я была уверена, что именно этот камень привел меня в джунгли. Я боялась, что если Пуривариве отнимет его у меня, Милагрос придет и заберет меня обратно в миссию. Или еще хуже: что-то ужасное может случиться со мной. Я безоговорочно верила в оберегающую силу этого камня.

Старик тщательно изучил оба камня. Он посмотрел на свет через алмаз.

— Я хочу этот камень, — улыбаясь, сказал он. — В нем — цвета неба.

Растянувшись в гамаке, старик положил камень и алмаз себе на живот.

— А сейчас я хочу, чтобы ты рассказала мне о *шапори* Хуане Каридаде. Я хочу послушать обо всех снах, в которых появлялся этот человек.

— Не знаю, получится ли у меня вспомнить все это.

Когда я смотрела на его худое морщинистое лицо и истощенное тело, меня посетило странное ощущение, что я знаю его много дольше, чем могу вспомнить. Во мне проснулась хорошо знакомая, мягкая реакция на его улыбающиеся глаза, постоянно следящие за моим взглядом. Устроившись поудобнее у себя в гамаке, я легко и плавно начала говорить. Когда я не знала нужного слова на языке Иतिकотери, я заменяла его испанским аналогом. Казалось, Пуривариве не замечал этого. У меня было ощущение, что его больше интересуют звуки и ритм моих слов, чем их действительный смысл.

Когда я закончила свой рассказ, старик выплюнул шарик табака, который Ритими приготовила ему, прежде чем уйти работать в огородах. Мягким голосом он заговорил о женщине-шамане, о которой уже рассказывал Камосиве.

Имаваами слыла не только великим *шапори*, она также была великолепным охотником и воином и вместе с мужчинами воевала против враждебных племен.

— Может быть, у нее было ружье? — спросила я, надеясь узнать о ее личности побольше.

С тех пор как я впервые услышала о ней, мной овладела мысль, что, возможно, это была

пленная белая женщина. Возможно, все происходило в то время, когда испанцы впервые приехали на эти земли в поисках Эльдорадо.

— У нее был лук и стрелы, — сказал старый шаман. — Ее яд *мамукори* был самым лучшим.

Стало ясно, что независимо от того, как формулировать вопросы, невозможно было узнать, была ли Имаваами реальным лицом или персонажем из мифологического эпоса. Все *шапори* говорили, что Имаваами жила очень давно.

Я уверена, что старик не уклонялся от ответа: у Иतिकотери просто было принято неопределенно говорить о прошедших событиях.

Иногда по вечерам, когда женщины готовили ужин, Пуривариве садился у огня в центре деревни. Все от мала до велика собирались вокруг него. Я всегда старалась найти место поближе к нему, потому что не хотела пропустить ни слова из того, что он говорил. Тихим монотонным голосом, слегка в нос, он рассказывал о том, откуда произошли человек, огонь, наводнения. Луна и Солнце. Я уже знала некоторые из этих мифов. Но всякий раз, когда он пересказывал их, мифы принимали новую невообразимую форму.

Согласно своему собственному видению каждый рассказчик приукрашал и дополнял основной миф.

— Какой же из этих мифов является настоящим рассказом о сотворении? — спросила я Пуривариве, когда он в один из вечеров закончил рассказ о Ваипилишони, женщине-шамане, которая сотворила кровь, смешав *оното* с водой.

Она дала жизнь древовидным телам брата и сестры, заставив их выпить эту смесь. Вечером раньше *шапори* рассказывал нам, что первый индеец был рожден из ноги человекоподобного существа.

Мгновение Пуривариве в растерянности рассматривал меня.

— Они все реальны, — наконец произнес он. — Разве ты не знаешь, что человек создавался много раз и в разное время? От удивления я тряхнула головой. Он дотронулся до моего лица и засмеялся.

— Какая же ты еще глупая. Слушай внимательно. Я расскажу тебе обо всех случаях, когда мир разрушался огнем и наводнениями.

Несколькими днями позже Пуривариве объявил, что Шорове, старший сын Ирамамове, должен будет пройти посвящение в *шапори*. Шорове было семнадцать-восемнадцать лет. У него было худое, ловкое тело и смуглое, изящно очерченное лицо, на котором темно-карие сверкающие глаза казались слишком большими. С одним лишь гамаком он поселился в маленькой хижине, построенной для него на расчищенной площадке. Женщинам было запрещено подходить к этому жилищу, так как, согласно поверью, *хекуры* избегают их. Не подпускали даже мать Шорове, его бабушку и сестер.

За посвящаемым должны были следить молодые люди, которые никогда не были с женщиной. Именно они вдували *эпену* Шорове, следили за огнем в хижине и доставляли ему каждый день достаточное количество воды и меда, единственной пищи, разрешенной при инициации.

Женщины всегда оставляли достаточно дров рядом с *шабоно*, поэтому Шорове не нужно было ходить далеко в лес.

Мужчины приносили ему мед. Каждый день *шапори* заставляли их ходить далеко в лес за новыми запасами.

Шорове проводил большую часть времени, оставаясь в хижине и лежа в гамаке. Иногда он сидел на большом бревне, которое Ирамамове положил у входа в жилище, потому что Шорове по обычаю не полагалось сидеть на земле. Через неделю его лицо потемнело от *эпены*, а чудесные сияющие глаза стали мутными и расфокусировались. Его тело, грязное и истощенное,

стало неловким, как у пьяницы.

Жизнь в *шабоно* шла своим чередом, исключение составляли семьи, живущие поблизости от хижины Шорове.

На их очагах не разрешалось готовить мясо. Пуривариве утверждал, что *хекуры* ненавидят запах жарящегося мяса, и если почувствуют его, то улетят обратно в горы.

Как и его ученик, Пуривариве принимал *эпену* днем и ночью. Он часами неумоимо пел, призывая духов в хижину Шорове, уговаривая *хекур* войти в тело молодого человека и поселиться там. Иногда по вечерам Арасуве, Ирамамове и другие мужчины *шабоно* пели вместе со стариком.

На следующей неделе Шорове нетвердым дрожащим голосом начал присоединяться к их пению. Вначале он пел песни *хекур* броненосца, тапира, ягуара и других крупных животных, которые по поверью обладали мужскими духами. Их было легче всего привлечь. Потом он пел песни *хекур* растений и скал. И наконец песни женских духов — паука, змеи и колибри. Из-за их коварной и ревнивой природы ими было очень трудно управлять.

Однажды поздно ночью, когда все в *шабоно* спали, я сидела возле хижины Этевы и наблюдала за поющими мужчинами. Шорове был настолько слаб, что ему нужно было помочь встать, чтобы Пуривариве мог танцевать вокруг него.

— Шорове, пой громче, — подбадривал его старик. — Пой громко, как птицы, как ягуар.

Ритуальный танец уносил Пуривариве в лес прочь от *шабоно*.

— Пой громче, Шорове, — выкрикивал он уже издали. — *Хекуры* живут во всех уголках леса. Они хотят слышать твою песню! Тремя ночами позже радостные крики Шорове эхом разнеслись по *шабоно*: — Отец, отец, *хекуры* появляются! Я слышу, как они жужжат и вертятся вокруг! Они входят в меня, в мою голову! Они проникают сквозь пальцы и ноги! Шорове выскочил из хижины. Упав перед стариком, он кричал: — Отец, отец, помоги мне! Они проходят через глаза и нос! Пуривариве помог Шорове встать на ноги. Они начали танцевать, и лишь их слабые тени были видны на освещенной луной поляне. Через несколько часов отчаянный вопль, крик панически испуганного ребенка пронзил воздух: — Отец, отец! С сегодняшнего дня не позволяй ни одной женщине подходить к моей хижине! — Все они так кричат, — пробормотала Ритими, вставая из гамака. Она подбросила в огонь немного дров, а потом положила на горячие угли несколько бананов. — Когда Этева решил стать *шапори*, я уже была его женой, — сказала она. — В ночь, когда он умолял Пуривариве не подпускать к нему женщин, я вошла в его хижину и прогнала *хекур* прочь.

— Почему ты это сделала? — Меня попросила мать Этевы, — ответила Ритими. — Она боялась, что он умрет, она знала, что Этева слишком любит женщин; из него никогда бы не получился великий *шапори*.

Ритими села ко мне в гамак.

— Я расскажу тебе все с начала.

Она устроилась поудобнее рядом со мной и начала говорить тихим шепотом.

— В ночь, когда *хекуры* вошли в тело Этевы, он кричал точно так же, как сегодня Шорове. Это женские *хекуры* заставляют так волноваться. Они не хотят, чтобы поблизости хижины находились женщины. В ту ночь Этева горько плакал, выкрикивая, что какая-то злая женщина прошла мимо его хижины. Мне было очень грустно, когда я услышала, что *хекуры* покинули его тело.

— Знает ли Этева, что именно ты была в его хижине? — Нет, — ответила Ритими. — Меня никто не видел.

Если Пуривариве и знает, то он молчит. Он был уверен, что Этева никогда не станет хорошим *шапори*.

— Почему же Этева хотел стать *шапори*? — Всегда есть надежда, что мужчина может стать великим *шапори*. — Ритими положила голову мне на руки. — Той ночью мужчины долго умоляли *хекур* вернуться, но духи не возвратились. Они ушли не только потому, что в хижине побывала женщина, но и потому, что *хекуры* боялись, что Этева никогда не станет для них хорошим отцом.

— Почему мужчина считается оскверненным после того, как он побывал с женщиной? — Это касается *шапори*, — сказала Ритими. — Не знаю почему, но так считают мужчины, в том числе и *шапори*. Я верю, что именно женские *хекуры* очень ревнивы и сторонятся мужчин, которые слишком часто удовлетворяют женщин.

Ритими продолжала рассказывать о том, что сексуальноактивные мужчины получают мало проку от принятия *эпены* и призывания духов. Мужские духи, поясняла она, не имеют чувства собственности. Они вполне довольны тем, что мужчины принимают *эпену* до и после охоты или сражения.

— В качестве мужа я предпочитаю хорошего охотника и воина — хорошему *шапори*, — призналась она. — *Шапори* не очень любят женщин.

— А Ирамамове? — спросила я. — Он безусловно великий *шапори*, но у него две жены.

— О-оох, ты по-прежнему ничего не понимаешь. Я же все тебе уже объяснила, — смеялась Ритими. — Ирамамове не слишком часто спит со своими женами. С ними обычно спит его младший брат, у которого нет своей жены.

Ритими посмотрела вокруг, проверяя, не подслушивают ли нас.

— Разве ты не заметила, что Ирамамове часто уходит в лес? Я кивнула: — Но то же делают и другие.

— То же делают и женщины, — проговорила Ритими, передразнивая мое произношение.

У меня были трудности при имитировании особого носового тона Иतिकотери, который, возможно, появился в результате того, что у них во рту постоянно находился табачный шарик.

— Я не это имела в виду, — сказала она. — Ирамамове уходит в лес, чтобы найти то, что ищут великие шапори.

— Что же? — Силу, чтобы путешествовать в Дом Грома. Силу, чтобы отправиться к Солнцу и возвратиться живым.

— Я видела, что в лесу Ирамамове занимается любовью с женщиной, — призналась я. Ритими тихо смеялась.

— Я открою тебе один очень важный секрет, — прошептала она. — Ирамамове спит с женщинами так, как это делают *шапори*. Он берет у женщин силу, а взамен ничего не дает.

— А ты спала с ним? Ритими кивнула. Я долго просила ее рассказывать дальше, но она отказалась.

Неделей позже мать Шорове, его сестры, тетки и кузины начали причитать в своих хижинах.

— Старый человек, — плакала мать, — у моего сына больше нет силы. Ты хочешь убить его голодом? Ты хочешь, чтобы он умер от недостатка сна? Тебе пора оставить его в покое.

Старый *шапори* не обращал внимания на их крики. На следующее утро Ирамамове принял *эпену* и танцевал перед хижинкой своего сына. Его движения чередовались: он то прыгал высоко в воздух, то ползая на четвереньках, имитировал воинственное рычание ягуара. Внезапно он остановился. Он сел на землю, а глаза его сфокусировались на одной точке, где-то далеко впереди.

— Женщины, женщины, не отчаивайтесь, — выкрикнул он громким носовым голосом. — Еще несколько дней Шорове должен оставаться без пищи. Даже если он выглядит слабым и его движения вялы, и он стонет во сне, он не умрет.

Встав, Ирамамове подошел к Пуривариве и попросил его вдуть еще немного *эпены* в его голову. Потом он вернулся на то самое место, где сидел раньше.

— Слушай внимательно, — посоветовала Ритими. — Ирамамове один из тех немногих *шапори*, которые путешествовали к Солнцу во время посвящения. Он сопровождает других в их первом путешествии. У него два голоса. Тот, который ты уже слышала, это его собственный; другой — голос его *хекуры*.

Сейчас слова Ирамамове исходили из глубины его груди; звуки заклинаний падали на собравшихся у хижин замерших людей, как камни, грохочущие в ущелье. Жизнь в *шабоно* замерла в торжественном ожидании. Глаза людей сверкали. Они ждали, что скажет *хекура* Ирамамове, что произойдет дальше в мистерии посвящения.

— Мой сын побывал в глубинах земли и горел в жарком огне ее безмолвных пещер, — произнес грохочущий голос *хекуры* Ирамамове. — Ведомый глазами *хекуры*, он прошел через пелену тьмы, через реки и горы. Они научили его песням птиц, рыб, змей, пауков, обезьян и ягуаров.

— Он силен, хотя его глаза и щеки впали. Те, кто спускался в молчаливые горящие пещеры, те, кто прошел по ту сторону лесного тумана, возвратятся. И в их теле будет *хекура*. Именно она приведет их к Солнцу, к светящимся хижинам моих братьев и сестер, *хекур* неба.

— Женщины, женщины, не зовите его по имени. Позвольте ему идти. Дайте ему оторваться от матери и сестер, чтобы достичь мира света, который требует еще больше силы, чем мир тьмы.

Очарованная, я слушала голос Ирамамове. Никто не говорил, никто не двигался, все лишь смотрели на фигуру шамана, неподвижно сидящего перед хижинкой своего сына. После каждой паузы его голос достигал наивысшей степени глубины.

— Женщины, женщины, не отчаивайтесь. На пути он встретит тех, кто прошел через долгие ночи тумана. Он встретит тех, кто не вернулся обратно. Он встретит тех, кто не дрогнул от страха и прошел этот путь до конца. Он встретит тех, чьи тела сожжены и убиты, тех, чьи кости *hr* вернулись к своему народу и сохнут на солнце. Он встретит тех, кто не прошел облака, направляясь к Солнцу.

— Женщины, женщины, не нарушайте его равновесие. Мой сын достигает конца своего путешествия. Не смотрите на его потемневшее лицо. Не смотрите в его впавшие глаза, в них нет света. С сегодняшнего дня ему предопределено быть одному.

Ирамамове поднялся. Вместе с Пуривариве он вошел в хижину Шорове, где они провели остаток ночи, взывая к *хекурам*.

Через несколько дней молодые мужчины, ухаживавшие за Шорове долгие недели посвящения, вымыли его теплой водой и растерли ароматными листьями. Потом Шорове раскрасил тело смесью угля и *оното* — волнистыми линиями от головы вдоль щек к плечам и дальше кругами до колен.

Шорове ненадолго остановился в центре *шабоно*. Его глаза печально сияли из глубоких впадин, наполненные невыразимой грустью, как будто он только сейчас понял, что он больше не человек, а лишь тень. В нем ощущалась особая сила, которой не было раньше, как будто груз его новых знаний и опыта был больше, чем память о прошлом.

Потом в общем молчании Пуривариве отвел его в лес.

— Белая Девушка, Белая Девушка! — кричал шестилетний сын Ритими, подбегая ко мне.

Тяжело дыша, он остановился передо мной и прокричал: — Белая Девушка, твой брат...

— Мой кто? Размахивая палкой-копалкой, я побежала к *шабоно* и остановилась на краю расчищенного участка леса вокруг *шабоно*. Здесь росли тыквы, хлопок и множество целебных трав. Этева говорил, что эту узкую полосу леса расчистили для того, чтобы враги не смогли бесшумно подкрасться к *шабоно*.

Из хижин не доносилось ни одного незнакомого звука.

Проходя через площадку к группе людей, сидящих у хижины Арасуве, я не ожидала увидеть Милагроса.

— Белая индеанка, — сказал он по-испански, жестом приглашая меня сесть рядом. — Ты даже пахнешь, как индеанка.

— Как я рада видеть тебя. Маленький Сисиве сказал, что ты мой брат.

— В миссии я говорил с отцом Кориолано.

Милагрос указал на блокноты, карандаши, банки с сардинами, коробки крекеров и сладкие бисквиты, вокруг которых суетились Итикотери.

— Отец Кориолано хочет, чтобы я привел тебя в миссию, — задумчиво глядя на меня, произнес Милагрос.

Мне не хотелось говорить. Взяв прут, я чертила линии на земле.

— Я еще не могу уйти.

— Я знаю, — улыбнулся Милагрос, но не смог скрыть выражение грусти на лице.

Он говорил нежным и шутливым тоном.

— Я сказал отцу Кориолано, что у тебя очень много работы. Я уверил его в том, что эта работа очень важна для тебя. Ведь необходимо закончить это замечательное исследование в области антропологии.

Я не могла удержаться от смеха. Он говорил, как важный ученый.

— И он поверил? Милагрос пододвинул ко мне блокноты и карандаши.

— Я уверил отца Кориолано, что с тобой все в порядке.

Из маленького узелка он вытряхнул коробку с тремя кусками мыла «Кэмей».

— Он передал это для тебя.

— И что я должна с этим делать? — спросила я, нюхая ароматное мыло.

— Вымойся! — воскликнул Милагрос, как будто действительно поверил, что я забыла, для чего предназначено мыло.

— Дай мне понюхать, — попросила Ритими, вынимая кусок из коробки.

Она поднесла его к носу, закрыла глаза и сделала один глубокий вдох.

— Хм. А что ты собираешься этим помыть? — Волосы! — воскликнула я.

Я понадеялась, что мыло сможет уничтожить вшей.

— Я тоже вымою волосы, — сказала Ритими, вода куском по голове.

— Мыло действует только с водой, — объяснила я. — Нужно пойти к реке.

— К реке! — закричали женщины, которые стояли вокруг и наблюдали за происходящим.

Смеясь, мы побежали по тропинке. На нас изумленно смотрели мужчины, возвращавшиеся из садов. Женщины, шедшие с ними, побежали следом за нами к Ритими, которая держала драгоценный кусок мыла в высоко поднятой руке.

— Сперва вам нужно намочить волосы, — выкрикивала я из воды.

С сомнением глядя на меня, женщины оставались на берегу. Улыбаясь, Ритими протянула

мне мыло. Скоро моя голова покрылась толстым слоем пены. Я усердно терла ее, с удовольствием видя, как грязная пена течет сквозь пальцы по шее, спине и груди. С помощью разбитого калабаша я ополоснула волосы, используя мыльную воду, чтобы вымыть тело. Я начала напевать старую испанскую рекламу мыла «Камей» — одну из тех, которые я любила слушать по радио в детстве.

— Для небесного войска нет ничего лучше, чем мыло «Кэмей»: — Кто следующий? — спросила я, подходя к берегу, где стояли женщины.

Я сияла чистотой. Отступив назад, женщины улыбались, но никто не осмеливался войти в воду.

— Я хочу, я хочу! — закричала маленькая Тешома, влетая в воду.

Одна за другой, женщины подходили ближе. С благоговением в глазах они внимательно смотрели, как шапка из пены вырастала на голове у ребенка. Я занималась волосами Тешомы, пока не вымыла всю грязь, колючки и насекомых из ее головы. Ритими нерешительно потрогала волосы дочери. Застенчивая улыбка тронула уголки ее рта.

— О-оо, как красиво! — Закрой глаза и не открывай их, пока я не смою все мыло, — предупредила я Тешому. — Закрой их покрепче.

Если пена попадет в глаза, будет очень больно.

— Для небесного войска, — кричала Тешома, когда мыльная вода потекла у нее по спине. — Нет ничего лучше... — Она посмотрела на меня: — Спой свою песню снова. Я хочу, чтобы мои волосы стали такого же цвета, как твои.

— Это невозможно, — сказала я. — Но зато они будут хорошо пахнуть.

— Я следующая, я следующая! — начали кричать женщины.

Я вымыла головы двадцати пяти женщинам, всем, за исключением беременных, которые боялись, что волшебное мыло может причинить вред еще не родившимся детям.

Однако, не желая оставаться в стороне, беременные женщины решили вымыть свои волосы обычным образом, листьями и илом со дна реки. Для них я тоже спела глупую рекламную песенку. Ко времени, когда все стали чистыми, я охрипла.

Мужчины, собравшиеся вокруг хижины Арасуве, все еще слушали рассказ Милагроса о его путешествии. Когда мы уселись позади, они понюхали наши волосы. Старая женщина легла на землю перед молодым человеком, предлагая ему понюхать у нее между ногами.

— Понюхай здесь, я вымылась мылом «Кэмей».

Она начала напевать мелодию рекламы. И мужчины и женщины разразились громким хохотом. Все еще смеясь, Этева прокричал: — Бабушка, тебя же никто не захочет, даже если ты вымажешься медом.

Ворча, женщина сделала неприличный жест, а потом ушла к себе в хижину.

— Этева, — закричала она из своего гамака, — я видела тебя лежащим между ногами у старых ведьм похлеще меня.

Когда смех утих, Милагрос указал на четыре мачете, лежащих перед ним на земле.

— Твои друзья оставили это в миссии, прежде чем отправиться в город, — сказал он. — Они для тебя. Раздай их.

Я беспомощно посмотрела на него.

— Почему так мало? — Потому что я не мог больше нести, — весело проговорил Милагрос. — Не давай мачете женщинам.

— Я отдам их вождю, — сказала я, посмотрев на лица, в ожидании обращенные ко мне.

Улыбаясь, я протянула мачете Арасуве.

— Мои друзья прислали это для тебя.

— Как ты умна. Белая Девушка, — сказал он, проверяя, остры ли мачете. — Это я оставляю

себе. Одно будет моему брату Ирамамове, который защитил тебя от Мокототери.

Одно для сына Хайямы, который кормит тебя.

Арасуве посмотрел на Этеву: — Одно должно быть для тебя, в один из праздников я дам мачете твоим женам, Ритими и Тутеми. Они ухаживают за Белой Девушкой как за родной сестрой.

На мгновение наступила полная тишина. Потом один из мужчин встал и обратился к Ритими: — Отдай мне твою мачете, я смогу рубить деревья. Ты ведь не делаешь мужскую работу.

— Не давай ему, — запротестовала Тутеми. — В садах удобнее работать с мачете, чем с палкой-копалкой.

Ритими посмотрела на мачете, подняла его, а потом протянула мужчине.

— Я отдам его тебе. Наихудший грех — не отдать того, что просят другие. Я не хочу закончить в *шопаривабе*.

— Где это? — прошептала я Милагросу.

— *Шопаривабе* — это как ад у миссионеров.

Я открыла одну банку сардин. Сунув одну из серебристых жирных рыбешек в рот, я предложила банку Ритими: — Попробуй одну.

Она неуверенно посмотрела на меня. Большим и указательным пальцами она подняла кусок сардины и положила в рот.

— Ух, как противно! — закричала она, выплевывая сардину на землю.

Милагрос взял банку из моей руки.

— Сохрани их. Это пригодится на обратном пути в миссию.

— Но я еще не собираюсь возвращаться, — возразила я. — Они испортятся, если я долго буду их хранить.

— Тебе хорошо было бы возвратиться до начала дождей, — в замешательстве проговорил Милагрос. — Потом невозможно будет идти по лесу и переправляться через реки.

Я самодовольно улыбнулась: — Мне нужно остаться хотя бы до того момента, когда родится ребенок Тутеми, — я была уверена, что ребенок появится во время дождей.

— Что же я скажу отцу Кориолано? — То же, что и раньше, — насмешливо проговорила я. — Я занимаюсь выдающейся работой.

— Но он ожидает, что ты вернешься до начала дождей, — сказал Милагрос. — Дожди будут продолжаться не один месяц.

Улыбаясь, я взяла коробки с крекерами: — Лучше мы съедим их. Они могут испортиться от сырости.

— Не открывай остальные банки с сардинами, — сказал Милагрос по-испански. — Они не нравятся Итикотери.

Лучше я сам съем их.

— А ты не боишься попасть в *шопаривабе*? Не ответив, Милагрос пустил открытую банку по кругу. Большинство мужчин только понюхали содержимое и сразу же протягивали банку дальше. Те же, кто отважился попробовать рыбу, сразу же выплевывали. Женщины отказались даже понюхать. Милагрос улыбнулся мне, когда банка возвратилась к нему.

— Им не нравятся сардины. А я не отправлюсь в ад, если съем все сам.

Крекеры также не имели успеха ни у кого, кроме нескольких детей, которые любили соль. Но сладкие бисквиты, даже несмотря на то что они слегка прогоркли, были съедены с довольным чавканьем.

Ритими присвоила себе все блокноты и карандаши. Она настояла, чтобы я научила ее рисовать узоры, которыми я украшала свой сторевший блокнот. Она упорно практиковалась в написании испанских и английских слов. Она не понимала, что значит «писать», хотя выучилась

рисовать все буквы алфавита, включая несколько китайских иероглифов, которым я узнала на уроках каллиграфии. Ритими они напоминали узоры, которыми она иногда украшала свое тело, предпочитая буквы S и W.

В *шабоно* Милагрос провел несколько недель. Он ходил на охоту с мужчинами и помогал в садах. Однако большую часть времени он проводил лежа в гамаке и бездельничая или играя с детьми. По *шабоно* постоянно разносился их радостный визг, когда Милагрос высоко подбрасывал младших на руках. По вечерам он развлекал нас рассказами о *напе* — белых людях, которых он встречал в разных местах и в разное время, о их странных традициях.

Термин *напе* относился ко всем иностранцам, — то есть ко всем, кто не был *Яномама*. Для Итикотери не существовало различий между национальностями. Для них венесуэльцы, бразильцы, шведы, немцы и американцы, независимо от цвета кожи, были *напе*.

Увиденные глазами Милагроса, эти люди даже мне казались странными. С необыкновенным чувством юмора и с незаурядным даром рассказчика он умел ничего не значащее событие превратить в чудесную сказку. Если кто-нибудь из слушателей сомневался в правдивости того, о чем он рассказывал, Милагрос обращался ко мне: — Белая Девушка, ведь я не лгу? Я всегда кивала головой и не возражала, как бы сильно он ни преувеличивал.

Во время работы в саду к нам с Ритими подошла Тутеми.

— Я думаю, мое время пришло, — сказала она, опуская свою наполненную дровами корзину на землю. — В моих руках нет силы. Я не могу глубоко дышать. И не могу больше легко согнуться.

— Тебе больно? — спросила я, видя появившуюся на лице Тутеми гримасу.

Она кивнула.

— Я боюсь.

Ритими нежно дотронулась до живота Тутеми, сначала по бокам, потом в центре.

— Ребенок очень сильно бьется. Ему пришло время появиться на свет. — Ритими повернулась ко мне. — Сходи за старой Хайямой. Скажи ей, что Тутеми больно. Она знает, что делать.

— Где я вас найду? Ритими указала прямо перед собой. Я побежала через лес, перепрыгивая упавшие стволы, натываясь на колючки, корни и камни.

— Пойдем скорее! — хватая воздух, закричала я перед хижиной Хайямы. — Тутеми рождает, и ей больно.

Захватив бамбуковый нож, бабушка Ритими сперва направилась к старику, живущему в хижине напротив.

— Ты ведь слышал, что сказала Белая Девушка, спросила Хайяма и, увидев что он кивнул, добавила: — Если ты понадобишься, я пошлю ее за тобой.

Я шла впереди Хайямы, нетерпеливо ожидая каждые пятьдесят шагов, когда она подойдет. Тяжело опираясь на кусок сломанного лука, она, казалось, двигалась даже медленнее чем обычно.

— А этот старик тоже *шапори*? — спросила я.

— Он знает все, что нужно, о детях, которые не хотят рождаться.

— Но Тутеми просто больно.

— Если есть боль, — уверенно проговорила Хайяма, — это значит, что ребенок не хочет видеть Солнца.

— Я так не думаю. — Мне не удалось скрыть поучительный тон. — Это нормально для первых родов, — утверждала я, как будто действительно знала. — Белые женщины чувствуют боль, сколько бы детей они ни рождали.

— Так не должно быть, — заявила Хайяма. — Может быть, белые дети не хотят видеть мир.

Приглушенные стоны Тутеми прервали наш спор. Она лежала на подстилке из листьев, разостланной прямо на земле. Вокруг лихорадочно блестящих глаз появились темные тени. На лбу и над верхней губой выступила испарина.

— Вода уже прорвалась, — спокойно сказала Ритими. — Но ребенок не хочет выходить.

— Давайте уйдем дальше в лес, — умоляла Тутеми. — Я не хочу, чтобы кто-нибудь из *шабоно* слышал мои стоны.

Старая Хайяма нежно погладила молодую женщину по голове и вытерла пот на ее лице и шее.

— Сейчас тебе станет легче, — нежно успокаивала она, как будто говорила с ребенком.

Всякий раз, когда наступали схватки, Хайяма с силой давила на живот Тутеми. Мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем Хайяма попросила меня позвать старого *шапори*.

Он уже принял *эпену*, а над костром кипело темное варево. Поковырявшись палочкой в

носу, он плеснул немного лекарства на землю.

— Из чего это сделано? — Корни и листья, — ответил он, но не уточнил названия растений.

Как только мы пришли, он заставил Тутеми выпить лекарство из тыквенной посуды до последней капли. Пока она пила, он танцевал вокруг нее. Высоким носовым голосом он просил хекуру белой обезьяны освободить шею неродившегося ребенка.

Лицо Тутеми понемногу расслабилось, испуг в ее глазах сменился спокойствием.

— Кажется, мой ребенок сейчас родится, — улыбнувшись, сказала она старику.

Хайяма поддерживала Тутеми сзади, сложив ее руки вокруг головы. Разбираясь, что — лекарство или танец шамана — вызвало такое быстрое расслабление, я пропустила момент рождения ребенка. Я прикрыла рот рукой, чтобы не закричать, когда увидела, что пуповина обмоталась вокруг шеи мальчика, а его кожа имела лиловый цвет. Хайяма разрешила пуповину, потом положила лист на пупок мальчика, чтобы остановить кровь. Она потерла пальцем детское место, а затем провела им по губам ребенка.

— Что она делает? — спросила я Ритими.

— Она проверяет, будет ли ребенок говорить.

Прежде чем я успела крикнуть, что ребенок мертв, по лесу эхом разнесся самый неудержимый человеческий крик, который я когда-либо слышала. Ритими подхватила кричащего ребенка и кивком позвала меня следовать за ней к реке. Набрав в рот воды и подождав немного, пока она согрется, Ритими начала поливать ребенка изо рта. Подражая ей, я помогала отмыть маленькое тело от слизи и крови.

— Теперь у него три матери, — сказала Ритими, протягивая мне ребенка. — Те, кто моют новорожденного малыша, отвечают за него, если что-нибудь случится с матерью. Тутеми будет счастлива, когда узнает, что ты помогала мыть ее дитя.

Ритими помыла илом большой лист *платанийо*, пока я держала мальчика в неуверенных руках. Я никогда раньше не видела новорожденного ребенка. С благоговением смотря на его лиловое сморщенное личико, на его тоненькие ножки, которые он пытался запихнуть себе в рот, я удивлялась, каким чудом он остался жить.

Хайяма завернула плаценту в твердый узел из листьев и положила под маленьким навесом, который старик построил под высоким деревом сейба. Ее нужно будет сжечь через несколько недель. Мы забросали землей все следы крови, чтобы дикие животные и собаки не рыскали вокруг. С ребенком на руках Тутеми благополучно шла впереди по тропинке в *шабоно*. Прежде чем войти в хижину, она положила малыша на землю. Все, кто был свидетелем его рождения, должны были переступить через него три раза.

Это означало принятие малыша деревней.

Этева даже не выглянул из своего гамака; он оставался в нем с тех пор, как узнал, что его младшая жена рождает.

Тутеми вошла в хижину с сыном на руках и села у очага.

Сжав грудь, она втолкнула сосок в рот ребенку. Мальчик жадно начал сосать, время от времени открывая расфокусированные глаза, как будто старался запомнить этот источник пищи и удовольствия.

В этот день родители ничего не ели. На второй и третий день Этева приносил полную корзину мелкой рыбы, которую готовил для Тутеми. После этого оба постепенно вернулись к обычному питанию. На следующий день после рождения ребенка Тутеми начала работать в саду. Малыша она привязывала к себе на спину. Этева же провел в гамаке целую неделю. По поверию, любое физическое усилие с его стороны было вредно для здоровья ребенка.

Через девять дней Милагроса попросили проколоть ребенку уши длинными палочками из

пальмы *раша*. Потом он срезал концы палочек у самых мочек и покрыл их смолой, чтобы ребенок не поранился. В тот же день мальчику было дано имя Хоашиве в честь белой обезьяны, которая хотела оставить ребенка в животе у матери. Это было всего лишь прозвище. Ко времени, когда малыш научится ходить, ему дадут настоящее имя.

Было еще светло, когда Милагрос наклонился над моим гамаком. Я почувствовала, как мозолистой рукой он гладит мой лоб и щеки. Он был едва виден в полутьме. Я знала, что он уходит, и ждала, надеясь поговорить, но провалилась в сон, так и не узнав, хотел ли он что-нибудь сказать.

— Дожди скоро придут, — объявил в тот вечер старый Камосиве. — Я видел, как выросли молодые черепахи. Я слышал голос тумана.

Через четыре дня, сразу же после полудня, поднялся ветер. С ужасающей силой он раскачивал деревья, то и дело врывается в хижину, раскачивая пустые гамаки, как лодки во время шторма. Листья с земли поднимались спиралями, которые носились в странном танце, умирая так же внезапно, как появлялись.

Я стояла в центре *шабоно* и наблюдала, как порывы ветра налетают со всех сторон. Голени облепили куски коры. Затопав ногами, я попыталась сбросить их, но кора держалась так прочно, будто была приклеена. В небе темнели гигантские черные облака. Непрерывный отдаленный рев льющегося дождя становился громче по мере того, как он приближался. По лесу разносились раскаты грома, в полутьме мерцали белые вспышки молний. Из леса постоянно раздавался скрип падающих стволов, сраженных молнией, ему эхом вторил мрачный шум деревьев и кустов.

Пронзительно крича, женщины и дети сгрудились в кучу, спрятавшись под покатой тростниковой крышей.

Схватив горящую головню, старая Хайяма побежала в хижину Ирамамове. Она начала отчаянно колотить по шестам.

— Вставай! — вопила она. — Твоего отца нет. Вставай! Защити нас от *хеку р*.

Хайяма обращалась к *хекуре* Ирамамове, потому что сам он вместе с несколькими мужчинами был на охоте.

Гром и молнии ушли в сторону, облака над селением рассеялись. Дождь надвинулся широкой полосой, такой плотной, что не было видно соседних хижин. Еще через мгновение небо полностью очистилось от облаков. Старый Камосиве попросил меня пройтись с ним, чтобы посмотреть на ревущую реку. Груды земли валялись по берегам, принесенные сюда бушующим ливнем. Повсюду текли ручейки, от которых доносился звук, как от дрожащей тетивы лука.

Лес замер. Не было слышно ни птиц, ни насекомых, ни зверей. Внезапно, без всякого предупреждения, на наши головы обрушился оглушительный раскат грома.

— Но облаков нет! — закричала я, падая как скошенная на землю.

— Не гневи духов, — предупредил меня Камосиве.

Срезав два больших листа, он приказал мне укрыться.

Начавшийся с нескольких капель, сильнейший ливень пошел, казалось, прямо с солнца. Порывы ветра сотрясали лес, а пелена темных облаков снова скрыла солнце.

— Грозу вызывают мертвые, чьи кости не были сожжены, чей прах не был съеден, — сказал старый Камосиве. — Именно эти несчастные духи, не возвратившиеся к своему народу, поднимают облака и собирают их, пока в небе не зажигается огонь.

— Огонь, который наконец сожжет их, — закончила я его предложение.

— О, ты уже начинаешь понимать, — похвалил Камосиве. — Дожди начались. Теперь ты останешься с нами еще на много дней — и ты многому научишься.

Улыбаясь, я кивнула.

— Ты думаешь, Милагрос успел добраться до миссии? Камосиве вопросительно посмотрел

на меня, а затем разразился хриплым веселым смехом, смехом очень старого человека, перекликающимся с шумом дождя. У него все еще сохранилась большая часть зубов. Здоровые, но пожелтевшие, они торчали из десен, как куски старой слоновой кости.

— Милагрос не пошел в миссию. Он отправился к своей жене и детям.

— В какой деревне живет Милагрос? — Во многих.

— И у него в каждой жена и дети? — Милагрос — талантливый мужчина, — сказал Камосиве, и в его единственном глазу заплясали *хекуры*. — Кое-где у него есть и белые женщины.

Я в ожидании посмотрела на Камосиве. Наконец-то появилась возможность узнать что-нибудь о Милагросе! Но старик молчал. Когда он дал мне руку, я поняла, что его ум занят чем-то другим, и начала осторожно массировать узловатые пальцы.

— Старый человек, ты действительно дедушка Милагрос? — спросила я, надеясь вернуть его к разговору о Милагросе.

Камосиве внимательно посмотрел мне в глаза, его единственный сияющий глаз изучал меня, как будто существовал и мыслил отдельно от тела. Что-то бормоча, Камосиве дал мне другую руку.

Я без всяких мыслей смотрела в его сияющий глаз, который медленно засыпал, не подчиняясь воле хозяина.

— Интересно, сколько тебе лет на самом деле? Глаз Камосиве остановился на моем лице. Его затуманили воспоминания.

— Если развернуть в линию время, которое я прожил, то можно дотянуться до Луны, — пробормотал Камосиве. — Вот как я стар.

Мы стояли, прикрывшись листьями, и наблюдали за темными облаками, несущимися по небу. Туман опускался на деревья и пропускал серый призрачный свет.

— Дожди начались, — повторил Камосиве, когда мы медленно возвращались в *шабоно*.

Огонь в хижинах больше дымил, чем грел, и дым висел в неподвижном воздухе вместе с капельками воды. Я растянулась в гамаке и уснула, убаюканная звуками леса.

Утро было холодным и влажным. Ритими, Тутеми и я весь день провалялись в гамаках, ели печенье бананы и слушали стук капель по пальмовой крыше.

— Я думала, что Этева и другие еще прошлой ночью возвратятся с охоты, — бормотала Ритими, время от времени глядя в небо, которое из почти белого постепенно становилось серым.

Охотники возвратились далеко за полдень на следующий день. Ирамамове и Этева направились прямо в хижину старой Хайямы, неся ее младшего сына Матуве на носилках из полос коры. Он был ранен упавшей веткой.

Мужчины осторожно переложили его в гамак. Нога Матуве безжизненно свисала вниз, из нее торчала лучевая кость.

Рваная кожа вокруг раны распухла и приобрела лиловый оттенок.

— Она сломана, — сказала старая Хайяма.

— Она сломана, — повторила я вместе с другими женщинами, собравшимися в хижине.

Состояние раненого было безусловно тяжелым. Матуве застонал от боли, когда Хайяма выпрямила его ногу.

Ритими поддерживала ее на весу, пока старая женщина готовила повязку из древков сломанных стрел. Хайяма ловко приложила их со всех сторон ноги, сделав прокладки из хлопка между кожей и тростником. Вокруг стрел по всей ноге от голени до середины бедра Хайяма положила свежие полоски тонкой и прочной коры.

Тотеми и Шотоми, молодая жена раненого, хихикали всякий раз, когда Матуве стонал. Не

то чтобы они развлекались, они старались ободрить и утешить его.

— О Матуве, это же не больно, — пыталась убедить его Шотоми. — Вспомни, как ты радовался, когда кровь текла из твоей головы после удара дубинкой на последнем празднике.

— Не двигайся, — велела Хайяма сыну.

Закрепив тонкую лиану на одной из стрел, она обмотала ею ногу от голени до бедра и таким образом зафиксировала повязку.

— Сейчас ты не можешь двигать ногой, — сказала Хайяма, с удовлетворением разглядывая свою работу.

Примерно через две недели Хайяма сняла повязку. Опухоль прошла, а нога, бывшая прежде лилового цвета, стала зеленовато-желтой. Легко проведя рукой вдоль кости, она объявила: — Срослось, — и начала массировать ногу, поливая теплой водой.

Каждый день в течение месяца она делала одну и ту же процедуру: массировала ногу, а потом снова накладывала повязку.

— Кость уже полностью срослась, — наконец сказала Хайяма, разломав шину на мелкие куски.

— Но я не могу двигать ногой, — в страхе запротестовал Матуве. — Я не могу ходить как прежде.

Хайяма успокоила его, объяснив, что колено не разгибается оттого, что нога так долго была в одном положении.

— Я буду делать тебе массаж, пока ты не сможешь ходить как раньше.

С дождями пришло ощущение спокойствия, безвременья, день и ночь плавно переходили друг в друга. В садах никто много не работал. Бесконечные часы мы проводили, лежа или сидя в гамаках и общаясь тем странным образом, которым люди общаются во время дождей: с длинными паузами и бессмысленными взглядами вдаль.

Ритими решила научить меня плести корзины. Я выбрала, как мне казалось, самый простой вид — большую U-образную корзину, которую используют для переноски дров. Женщины получили массу удовольствия, наблюдая за моими неуклюжими попытками перенять простую технику плетения. Потом я сконцентрировала усилия на плетении того, что, по моему мнению, было наиболее необходимо, — широкой дискообразной корзины, используемой для хранения фруктов или разделения пепла и костей после сжигания мертвых. Хотя я была очень довольна конечным результатом, мне пришлось согласиться со старой Хайямой, что мое изделие не найдет применения у Иतिकотери.

Слушая ее, я вспомнила, что у меня была школьная подруга, которая хотела научить меня вязать. Полностью расслабившись, глядя в телевизор, разговаривая или ожидая встречи, она всегда вязала; у нее была масса красивых свитеров, перчаток и шапочек. Я же напряженно сидела рядом с ней, зажав плечи и пальцы, держа спицы в дюйме от глаз, постоянно проверяя, не потеряла ли петлю.

Конечно, я была не готова заниматься плетением. Каждый должен попробовать как минимум три раза, убедилась я себя и начала делать корзину для ловли рыбы.

— О-хо-хо, Белая Девушка, — безудержно смеялась Шотоми. — Эта корзина снова недостаточно плотно переплетена. — Она сунула пальцы между прутьями лозы на дне. — Рыба проскользнет сквозь эти отверстия.

Наконец я ограничила себя простой задачей расщеплять кору и ветви, используемые для плетения, на тонкие полосы. Эта работа получалась хорошо, и я решила сделать гамак. Я выбрала полосы длиной около семи футов, крепко связала концы и переплела поперек тонкой полоской из той же коры. Потом я закрепила плетение ветвями лиан и хлопковыми нитями, которые выкрасила в красный цвет *оното*. Ритими была так очарована гамаком, что повесила

его Этеве.

— Этева, я сделала тебе новый гамак, — сказала я, когда он возвратился после работы в садах.

Он скептически посмотрел на меня.

— И ты думаешь, что он меня выдержит? Я щелкнула языком от удовольствия, показывая, как прочно закреплены концы. Он неуверенно сел в гамак.

— Кажется, выдержит, — произнес он, растянувшись во весь рост. Я услышала скрежет лианы по столбу и, прежде чем успела предупредить, Этева вместе с гамаком оказался на земле.

Ритими, Тутеми, Арасуве со всеми своими женами, наблюдавшие за нами из соседней хижины, покатались от хохота, немедленно собрав большую толпу. Шлепая друг друга по плечам и бедрам, они смеялись все сильнее и сильнее. Позже я спросила Ритими, можно ли все-таки пользоваться этим гамаком.

— Безусловно, — сказала она, и в ее глазах засияла детская улыбка.

Она уверила меня, что Этева совсем не расстроился.

— Мужчины любят, когда женщине удается их провести.

Хотя я серьезно сомневалась, что Этева действительно доволен этим происшествием, он, конечно же, не злился на меня. Он *объявил* всему *шабоно*, как чудесно отдыхать в новом гамаке. Меня стали осаждать просьбами. Иногда я делала по три гамака в день. Несколько мужчин помогали мне доставать хлопок, который они отделяли от коробочек и семян. С помощью палки они заплетали волокна в нить и соединяли нити в крепкую пряжу, которая прочно соединяла полосы коры в гамаке.

С готовым гамаком, висющим на руке, я вошла в хижину Ирамамове.

— Ты собираешься делать стрелы? — спросила я. Он поднялся, держась за шест, а потом подтянулся на одной из балок крыши.

— Этот гамак мне? — он протянул мне тростник, взял гамак, привязал и уселся в него. — Хорошо сделано.

— Я сделала его для твоей старшей жены, — сказала я. — Я сделаю и тебе, если ты научишь меня, как делать стрелы.

— Сейчас не время делать стрелы, — заявил Ирамамове. — Я только проверяю, сухой ли тростник на древки. — Он весело взглянул на меня и засмеялся. — Белая Девушка хочет делать стрелы! — прокричал он высоким голосом. — Я научу ее и возьму с собой на охоту.

Все еще смеясь, он предложил сесть рядом. Он положил древки на землю и разобрал их по размеру.

— Длинные — лучше всего для охоты. Короткие же — для ловли рыбы и для уничтожения врагов. Только самые лучшие стрелки могут всегда использовать длинные стрелы. Они часто трескаются, и их путь трудно определить.

Ирамамове разобрал короткие и длинные древки.

— Сюда я надену наконечники, — он указал на один конец тростниковых палочек.

Он крепко связал их хлопковой нитью и к другому концу смолой приклеил и закрепил ниткой разрезанные пополам перья.

— Некоторые охотники украшают свои стрелы собственными узорами. Я делаю так только во время войны: мне нравится, когда враг знает, кто его убил.

Как и большинство мужчин Итикотери, Ирамамове был великолепным рассказчиком. Он оживлял свои истории точным звукоподражанием, драматическими жестами и паузами. Шаг за шагом он проводил слушателя по тропам охоты: как впервые замечал зверя, как, прежде чем выпустить стрелу, он дул на нее растертыми корнями одного из своих магических растений, чтобы дать стреле силу.

Потом, рассказывал он, уверившись, что стрела не ошибется в достижении цели, он настигал непокорное животное.

Остановив на мне взгляд, он вывалил содержимое колчана на землю и принялся подробно рассказывать все о наконечниках.

— Этот из пальмового дерева, — сказал он, протягивая мне гладкий кусок древесины. — Он сделан из склеенных щепок. По кругу вырезан желобок, который смазывают *мамукори*.

Они разламываются в теле животного. Это лучшие наконечники для охоты на обезьян. — Он улыбнулся, а потом добавил: — И конечно же, для врагов.

Потом он достал длинный и широкий наконечник с зазубринами по краям, украшенный извивающимися линиями.

— Этот хорош для охоты на ягуаров и тапиров.

Возбужденный лай собак, смешанный с криками людей, прервал рассказ Ирамамове. Я побежала вслед за ним к реке. В воде нашел себе убежище муравьед размером с маленького медведя. Он спасался от преследования псов.

Этева и Арасуве ранили животное в шею, живот и спину.

Поднявшись на задние лапы, он отчаянно размахивал в воздухе передними, вооруженными мощными когтями.

— Хочешь достать его моей стрелой? — спросил Ирамамове.

Не в силах оторвать взгляд от длинного языка муравьеда, я затрясла головой, не понимая, говорит он серьезно или шутит. С языка животного капала клейкая жидкость с мертвыми муравьями. Стрела Ирамамове поразила муравьеда в крошечное ухо, и он мгновенно умер. Мужчины набросили веревки на массивное тело и вытащили на берег, где Арасуве разделал животное так, чтобы мужчины могли

унести тяжелые куски мяса в *шабоно*.

Один из мужчин обжег шерсть, а потом положил мясо на деревянную платформу, сооруженную над огнем. Хайяма завернула внутренности в листья *пишаанси* и положила свертки на угли.

— Муравьед! — кричали дети и, хлопая руками от удовольствия, танцевали вокруг огня.

— Подождите, пока приготовится, — предупреждала детей старая Хайяма, когда один из них потянулся за куском. — Вы заболете, если съедите мясо, которое не до конца приготовлено. Его следует готовить до тех пор, пока сок не перестанет течь сквозь листья.

Первой была готова печень. Прежде чем дети приступили к ней, Хайяма отрезала мне небольшой кусок.

Печень была мягкой, сочной и неприятно пахла, как будто была приправлена испортившимся лимонным соком.

Потом Ирамамове принес мне кусок жареной задней ноги.

— Почему ты не захотела испытать мою стрелу? — спросил он.

— Я могла попасть в одну из собак, — уклончиво ответила я, жуя жесткое мясо с сильным запахом. Я посмотрела в глаза Ирамамове, не зная, догадывается ли он, что я не хочу, чтобы меня даже отдаленно сравнивали с Имаваами, женщиной-шаманом, которая знала, как призывать *хекур*, и охотилась как мужчина.

Ненастными вечерами мужчины принимали *эпену* и пели, прося *хекуру* анаконды обернуться вокруг деревьев и не позволить ветру сломать стволы. Во время одной из самых сильных бурь старый Камосиве посыпал свое сморщенное тело пеплом. Хриплым голосом он призывал дух паука, его собственную *хекуру*, раскинуть охраняющую паутину над растениями в садах.

Неожиданно он повысил голос и запел резко и пронзительно, как длиннохвостый попугай.

— Однажды я был похож на старого ребенка и забрался на самое высокое дерево. Я понял, что превратился в паука.

Почему вы прервали мой мирный сон? Камосиве поднялся с колен и нормальным голосом продолжал: — Паук, я хочу, чтобы ты ужалил *хекур*, которые уничтожают растения в наших садах.

Он расхаживал по *шабоно* и выдувал *эпену* из своей трубки на все вокруг, упрашивая паука ужалить духов-разрушителей.

На следующее утро мы с Камосиве отправились в сады.

Улыбаясь, он указал мне на маленьких волосатых пауков, суеящихся над плетением паутины. На тонких серебристых нитях блестели капли воды, в солнечном свете похожие на изумруд. По замершему лесу мы прошли к реке. Присев рядом, мы молча смотрели на сломанные лианы, деревья и кучи листьев, сорванные безудержным потоком. По возвращении в *шабоно* Камосиве пригласил меня к себе в хижину разделить коронное блюдо — жареных муравьев, залитых медом.

В дождливые вечера любимым занятием женщин было распевать песни, высмеивающие ошибки мужей. Если женщина намекала, что мужчине лучше управляться с корзиной, чем с луком и стрелами, сразу же возникал спор.

Такие споры всегда превращались в коллективное обсуждение, в котором все *шабоно* принимало активное участие.

Временами, когда после окончания спора проходило уже несколько часов, кто-то выкрикивал свежую мысль по поводу обсуждавшейся проблемы, и перебранка тут же возобновлялась.

Едва солнце хоть немного пробивалось сквозь тучи, я вместе с жителями деревни отправлялась работать на огороды. Выпалывать сорняки из влажной земли было намного легче, но у меня и на это не хватало сил. Подобно старому Камосиве, я просто стояла посреди остролистой маниоки и впитывала солнечный свет и тепло. Считая птиц, бывало целыми днями не появлявшихся в небе, я тосковала по жарким сухим дням. После стольких недель затяжных дождей я страстно желала, чтобы солнце светило подольше и рассеяло туман.

Однажды утром у меня так закружилась голова, что я не смогла подняться из гамака. Пригнув голову к коленям, я подождала, пока пройдет эта дурнота. Но сил, чтобы поднять голову и ответить на встревоженные расспросы Ритими, у меня уже не нашлось, и ее слова потонули в мощной волне назойливого шума. Должно быть, это река, подумала я. До нее было рукой подать, но я понимала, что источник шума где-то в другом месте. Изо всех сил, словно от этого зависела моя жизнь, я старалась сообразить, откуда же доносится этот шум. А зарождался он во мне самой.

Целыми днями я не слышала ничего, кроме несмолкающей барабанной дробы в голове. Я хотела открыть глаза.

И не могла. Сквозь прикрытые веки я видела, как звезды в небе, вместо того чтобы гаснуть, разгораются все ярче.

При мысли о том, что надвигается вечная ночь, а я все глубже погружаюсь в мир теней и бессвязных сновидений, меня охватила паника.

Мимо меня, маша руками с подернутых туманом берегов, проплывали Ритими, Тутеми, Этева, Арасуве, Ирамамове, Хайяма, старый Камосиве. Иногда они перепрыгивали с облака на облако, разгоняя туман густыми метлами из листьев. Но стоило мне их окликнуть, как они таяли в этом тумане. Временами сквозь ветки и листву я видела красно-желтое сияние солнца. Но, через силу открывая глаза, я понимала, что это всего лишь отблески костра, пляшущие под пальмовой крышей.

— Белым людям, когда они болеют, нужна еда, — явственно слышался громкий голос Милагроса. И я чувствовала, как он, прижавшись своими губами к моим, проталкивает мне в рот разжеванный кусок мяса.

В другой раз я узнала голос Пуривариве: — Люди болеют от этой их одежды. — И я чувствовала, как он стаскивает с меня одеяло. — Я должен ее охладить.

Принесите мне с реки белого ила. — И я чувствовала, как смыкаются вокруг тела руки, покрывая меня илом с головы до ног. Он начинал высасывать из меня злых духов, и его губы оставляли на коже прохладный след.

Часы сна и бодрствования заполнял голос *шапори*.

Стоило мне взглянуться, как из тьмы выплывало его лицо.

Я слышала песню его *хекуры*. Я чувствовала, как острый клюв колибри рассекает мне грудь. Потом клюв превратился в луч света. Но не солнечного и не лунного, а в ослепительное сияние глаз старого *шапори*. Он велел мне заглянуть в самую глубину его черных зрачков. Глаза его, казалось, лишены были век и доходили до висков. Они были полны пляшущих птиц. Это глаза безумца, подумала я. Я видела, как его *хекуры* повисли в капельках росы, как они пляшут в блестящих глазах ягуара, я пила водянистые слезы *эпены*. Сильное щекотание в горле заставило желудок сжаться в тугой комок, пока меня не вырвало водой. Она потоком хлынула прочь из хижины, прочь из *шабоно* и дальше по тропе к реке, тая в ночи, полной дыма и заклинаний.

Открыв глаза, я села в гамаке и увидела, как Пуривариве выбегает из хижины. Словно

призывая всю энергию звезд, он широко распахнул руки в ночь. Потом, оглянувшись на меня, он сказал: — Ты будешь жить. Злые духи покинули твое тело. — С этими словами он скрылся в ночной тьме.

Миновало несколько бурных грозowych недель, и пошли ровные дожди, поведение которых почти всегда можно было предсказать. После хмурых туманных рассветов по предполуденному небу плыли белые пушистые облачка. Спустя несколько часов над *шабоно* собирались тучи. Они нависали так низко, что, казалось, цеплялись за деревья, зловецей тенью покрывая небеса. Затем начинался сильнейший ливень, который переходил в изморось и нередко тянулся далеко за полночь.

По утрам, когда не было дождя, я не слишком утруждала себя работой на огородах, а обычно шла с детьми на болота, образовавшиеся по берегам реки. Там мы ловили лягушек и выковыривали из-под камней крабов.

Стоя на четвереньках, ребяташки чутко ловили каждый звук, каждое движение и молниеносно атаковали зазевавшихся лягушек. С глазами, почти прозрачными в рассеянном свете дня, мальчишки и девчонки, словно какие-то злые гномики, ловко затягивали волоконные петли на лягушачьих шеях, пока не стихало последнее кваканье. С самодовольной улыбкой, свойственной только детям, не осознающим собственной жестокости, они разрывали лягушку за лапы, чтобы вытекла вся кровь, считавшаяся ядовитой.

Сняв шкурку, дети заворачивали свою добычу в листья *пишаанси* и жарили ее на костре. С гарниром из маниоковой каши получался настоящий деликатес.

Я обычно просто сидела на камне среди высоких побегов молодого бамбука и смотрела, как вереницы черных и желтых навозных жуков осторожно и почти незаметно ползли вверх и вниз по светло-зеленым стеблям. В своих сверкающих обсидианом и золотом доспехах они казались существами из иного мира. В утреннем безветрии в бамбуковой поросли стояла такая тишина, что было слышно, как жуки высасывают сок из нежных побегов.

Однажды утром Арасуве присел у моего изголовья.

Лицо его от высоких скул до нижней губы, оттопыренной табачной жвачкой, светилось радостью. Сеточка морщин вокруг его глаз стала еще заметнее, придавая улыбке задушевную теплоту. Я не сводила взгляда с его толстых ребристых ногтей, пока он ловил в пригоршню последние капли меда из калабаша. Он протянул мне ладонь, и я сунула палец в мед.

— Лучшего меда, чем этот, я давно не ела, — сказала я, с наслаждением облизывая палец.

— Ты можешь отправиться со мной вниз по реке, — предложил Арасуве и объяснил, что собирается вместе с двумя женами и двумя младшими зятьями, одним из которых был Матуве, отправиться на заброшенный огород, где пару месяцев назад они срубили несколько пальм, чтобы добыть вкусную пальмовую сердцевину. — Помнишь, как тебе понравились хрустящие побеги? — спросил он. — А теперь в срубленных стволах, должно быть, полно жирных личинок.

Пока я раздумывала, как ему объяснить, что личинки мне нравятся далеко не так, как пальмовые побеги, рядом со мной присела Ритими. — Я тоже пойду на огороды, — сказала она. — Я должна присматривать за Белой Девушкой.

Арасуве громко высморкался и расхохотался. — Дочь моя, мы поплывем в каноэ. Я думал, ты не особенно любишь путешествовать по воде.

— В любом случае это лучше, чем топтать через заболоченный лес, — задиристо ответила Ритими.

В конце концов Ритими пошла с нами вместо одной из жен Арасуве. Пройдя немного вдоль берега, мы вышли к насыпи, где в густых зарослях было спрятано длинное каноэ.

— Оно похоже на длинное корыто, в котором вы готовите суп, — заметила я, подозрительно рассматривая сделанное из коры суденышко.

Арасуве с гордостью пояснил, что и то, и другое изготавливается по одной технологии. Оббив ствол большого дерева твердыми дубинками, с него цельным куском снимают кору. Затем для придания гибкости края этого куска прогревают над костром, чтобы можно было сложить их вместе и сжать в форме тупоносой посуды, после чего края сшиваются лианами. Для большей устойчивости в лодку вставляется прочный деревянный каркас.

Мужчины столкнули каноэ в воду. Ритими, я и вторая жена Арасуве с хихиканьем забрались в лодку. Боясь перевернуть это плавучее корыто, я так и осталась сидеть на корточках, и, орудуя шестом, Арасуве вывел каноэ на середину реки.

Повернувшись спиной к теще, оба молодых зятя постарались сесть от нее как можно дальше. Я недоумевала, зачем Арасуве вообще взял их с собой. Общение с матерью жены считалось для мужчины кровосмесительным грехом, особенно если та была еще в сексуальноактивном возрасте.

Мужчины, как правило, всячески избегали общения со своими тещами вплоть до того, что даже не смотрели на них. И уж ни при каких обстоятельствах они не называли их вслух по имени.

Течение подхватило нас и понесло по мутной бурлящей реке. На прямых участках вода немного успокаивалась, и в ней с резкой отчетливостью возникали отражения стоящих по берегам деревьев. Всмотревшись в зеркальное отражение листвы, я воображала, будто мы разрезаем лодкой затейливо сплетенное кружево. В лесу царил тишина.

Лишь изредка мы замечали парящую в небе птицу. Ни разу не взмахнув крыльями, она, казалось, спала в воздухе.

Путешествие по реке закончилось неожиданно быстро. Арасуве причалил каноэ к небольшому песчаному лоскутку среди черных базальтовых камней.

— Дальше придется идти пешком, — сказал он, вглядываясь в возвышающийся перед нами лес.

— А как же каноэ? — спросила я. — Надо же перевернуть его вверх дном, чтобы послеполуденный дождь не залил его водой.

Арасуве почесал голову и расхохотался. Уже не раз он говорил мне, что я слишком самоуверенна в суждениях, причем отнюдь не потому, что я женщина, а потому, что слишком молода. Старики, независимо от пола, пользовались уважением и глубоко почитались. У юнцов же всячески отбивали охоту высказывать свое мнение вслух. — На обратном пути лодка нам не понадобится, — сказал Арасуве. — Слишком тяжело толкать каноэ шестом против течения.

— Кто же доставит ее обратно в *шабоно*? — не удержалась я от вопроса, боясь, что нам придется ее нести.

— Никто, — успокоил он меня. — Лодка годится только чтобы плыть по течению. — И Арасуве, усмехнувшись, перевернул ее вверх дном. — Может, она еще пригодится кому-нибудь, чтобы плыть вниз.

Я с удовольствием расправила затекшие ноги, и мы молча зашагали по мокрому заболоченному лесу. Передо мной шел худощавый и длинноногий Матуве. Колчан так низко висел у него за спиной, что подпрыгивал, ударяясь о ягодицы. Я стала тихо насвистывать, и Матуве оглянулся.

При виде его нахмуренного лица меня разобрал смех и появилось жуткое искушение треснуть его колчаном по ягодицам. — Тебе не нравится твоя теща? — не удержавшись, поддразнила я его.

Матуве робко улыбнулся и залился румянцем от того, что у меня хватило нахальства назвать при нем тещу по имени. — Ты разве не знаешь, что мужчине нельзя ни смотреть, ни разговаривать, ни приближаться к теще? В тоне его послышалась обида, и мне стало как-то

неловко. — Я этого не знала, — солгала я.

Прибыв на место, Ритими стала уверять, что это тот самый заброшенный огород, куда они с Тутеми привели меня при первой встрече в лесу. Я же ничего не узнавала.

Все так заросло дикими травами, что я с большим трудом отыскала хижины, стоявшие, как я помнила, под банановыми деревьями.

Подсекая с помощью мачете высокую траву, мужчины стали искать поваленные пальмовые стволы. Затем, разрубив их, начали вынимать гниющую сердцевину и разламывать ее на куски. Ритими и жена Арасуве радостно взвизгнули при виде копошащихся личинок, которые были величиной с мячик для пинг-понга. Присев на корточки рядом с мужчинами, они принялись откусывать личинкам головы, заодно вытаскивая их внутренности. Белые тельца выкладывались на листья *пишаанси*. Если Ритими случалось повредить личинку, что происходило довольно часто, она тут же ее съедала, причмокивая губами от удовольствия.

Несмотря на насмешливые уговоры помочь в обработке личинок, я не могла заставить себя даже прикоснуться к этим извивающимся тварям, не говоря уже о том, чтобы откусывать им головы. Одолжив у Матуве его мачете, я нарезала банановых листьев, чтобы накрыть крыши истрепанных непогодой хижин.

Как только на костре поджарилась часть собранных личинок, Арасуве позвал меня. — Ешь, — велел он, подвинув ко мне сверток. — Тебе нужна жирная еда. Последнее время ты мало ела, поэтому у тебя и был понос, — добавил он тоном, не допускавшим возражений.

Я покорно улыбнулась и с решимостью, которой на самом деле у меня не было, раскрыла тугой сверток. Сморщенные беловатые личинки плавали в жире, от них шел запах подгоревшего бекона. Поглядывая на остальных, я сначала облизала лист *пишаанси*, потом осторожно положила в рот личинку. Вкус ее удивительно напоминал пережаренный жир новогоднего окорока.

А когда наступили сумерки и мы устроились на ночлег в наспех починенной хижине, Арасуве вдруг торжественно объявил, что мы должны вернуться в шабоно.

— Ты хочешь идти ночью? — недоверчиво переспросил Матуве. — Мы же еще хотели накопать утром кореньев.

— Нельзя нам здесь оставаться, — твердил свое Арасуве. — Костями чувствую, что в шабоно что-то должно случиться. Закрыв глаза, он покачал головой взад-вперед, словно эти медленные ритмичные движения могли подсказать ему, что делать дальше. — К рассвету мы должны вернуться в шабоно, — решительно заявил он.

Ритими разложила по нашим корзинам около сорока фунтов личинок, добытых мужчинами в гнилых пальмовых стволах, оставив на мою долю самую меньшую часть.

Арасуве и оба его зятя взяли из костра полуобгоревшие головни, и мы гуськом тронулись в путь. Чтобы импровизированные факелы не погасли, мужчины то и дело с силой дули на них, разбрызгивая в сырой темноте целый дождь искр. Временами сквозь листву проглядывала почти полная луна, высвечивая тропу призрачным голубовато-зеленым сиянием. Высокие стволы, подобно столбам дыма, растворялись в насыщенном влагой воздухе, словно стремясь вырваться из объятий лиан и свисающих отовсюду растений-паразитов. И только верхушки деревьев отлично просматривались на фоне бегущих облаков.

Арасуве часто останавливался, прислушиваясь к малейшему шороху, настороженно вглядываясь в темноту. Он глубоко втягивал воздух, раздувая ноздри, словно мог почувствовать еще что-нибудь помимо запаха сырости и тления. Он оглянулся на нас, женщин, и в глазах его мелькнула тревога. И я подумала, что в памяти его, должно быть, пронеслись сейчас воспоминания о набегах, засадах и еще Бог весть каких опасностях. Я, однако, не слишком долго задумывалась над причинами озабоченности вождя, поскольку изо всех сил старалась не спутать

выпирающие из земли корни гигантских сейб с телом какой-нибудь анаконды, мирно переваривающей тапира или пекари.

Арасуве забрел в мелкую речушку и приложил ладонь к уху, как будто стремясь уловить малейший шум. Ритими шепнула, что ее отец вслушивается в отголоски речных струй, в бормотание духов, которым ведомо все о подстерегающих нас впереди опасностях. Затем Арасуве опустил ладони на поверхность воды и секунду подержал в руках лунное отражение.

Чем дальше мы шли, тем больше луна превращалась в затуманенное и едва различимое световое пятно. И я подумала, что, может быть, это облака стараются не отставать от нас, идущих навстречу рассвету. Мало-помалу смолкли птичьи и обезьяньи голоса, стих ночной ветерок, и я уже знала, что рассвет совсем рядом.

Мы пришли в *шабоно* в ту предрассветную пору сероватых сумерек, когда уже не ночь, но еще и не утро. Многие Итикотери еще спали. Те, кто уже был на ногах, приветствовали нас, удивляясь, как быстро мы вернулись.

Радуюсь, что опасения Арасуве не оправдались, я улеглась в гамак.

Меня разбудила, подсев в мой гамак, Шотоми. — Съешь быстренько вот это, — велела она, подавая мне печеный банан. — Вчера я видела рыбу, которую ты больше всего любишь. — И, не дожидаясь, пока я скажу, что устала и не смогу пойти, она подала мой маленький лук и короткие стрелы. При мысли о том, что можно будет полакомиться рыбой вместо личинок, всю мою усталость как рукой сняло.

— Я тоже хочу пойти, — сказал мальш Сисиве, увязываясь за нами.

Мы направились вверх по течению, где река образовывала широкие заводи. Не слышно было ни шороха листвы, ни птиц, ни лягушек. Присев на камне, мы смотрели, как первые солнечные лучи просачиваются сквозь окутанный туманом лиственный шатер. Словно нити, продернутые в кисейной пелене, тонкие лучики пронизывали темные глубины речной заводи.

— Я что-то слышал, — прошептал Сисиве, схватив меня за руку. — Я слышал, как треснула ветка.

— Я тоже слышала, — тихо сказала Шотоми.

Я не сомневалась, что это не лесной зверь, а человек осторожно пробирался по лесу и остановился, наступив на ветку.

— Вот он! — крикнул Сисиве, показывая на другой берег. — Это враг, — добавил он и во всю прыть помчался в *шабоно*.

Вцепившись мне в руку, Шотоми потащила меня в сторону. Я оглянулась, но увидела на другом берегу только покрытые росой колючие заросли. В тот же момент Шотоми пронзительно вскрикнула. В ее ногу вонзилась стрела.

Теперь уже я потащила ее в кусты, окружавшие тропу, заставляя ползти все дальше, пока мы совершенно не скрылись в чаще.

— Мы подождем, пока не придут Итикотери и не выручат нас, — сказала я, осматривая ее ногу.

Шотоми утирала ладонью катящиеся по щекам слезы. — Если это набег, то мужчины останутся в *шабоно*.

чтобы защищать женщин и детей.

— Они придут, — сказала я с уверенностью, которой не испытывала. — Мальш Сисиве побежал за подмогой. — Зазубренный наконечник прошил ей икру насквозь. Я сломала стрелу, вытащила наконечник из страшновато выглядевшей раны, которая кровоточила с обеих сторон, и перевязала ей ногу своими трусиками. Кровь тут же стала просачиваться сквозь тонкий трикотаж. Испугавшись, что стрела может быть отравленной, я осторожно сняла импровизированную повязку и еще раз обследовала рану, чтобы убедиться, не почернела ли она.

Ирамамове как-то объяснял мне, что рана, нанесенная отравленной стрелой, непременно чернеет. — Не думаю, чтобы наконечник был смазан *мамукори*, — сказала я.

— Да, я это тоже заметила, — сказала она, слабо улыбнувшись. Склонив голову набок, она знаком велела мне помолчать.

— По-твоему, он был не один? — прошептала я, услышав, как снова треснула ветка.

Шотоми подняла на меня расширенные от страха глаза. — Они обычно не ходят поодиночке.

— Не будем же мы сидеть здесь, как лягушки, — с этими словами я взяла лук и стрелы и тихонько подползла к тропе. — Эй, ты, покажись, трусливая обезьяна! Ты подстрелил женщину! — заорала я не своим голосом и добавила то, что сказал бы на моем месте всякий воин Иतिकотери: — Только попадись на глаза — убью на месте.

Примерно в двадцати футах от меня из-за листвы высунулась измазанная черной краской физиономия. Волосы этого типа были мокрые. На меня вдруг напал дурацкий смешок, — мне было совершенно ясно, что он не купался, а просто поскользнулся, переходя реку вброд, так как воды в ней было всего по пояс. Я прицелилась в него из лука и на минуту растерялась, не зная, что еще сказать. — Брось оружие на тропу, — наконец крикнула я и добавила: — Мои стрелы смазаны самым лучшим *мамукори*, какой делают Иतिकотери. Бросай оружие. Я целюсь тебе в живот, где гнездится смерть.

Широко раскрыв глаза, словно перед ним явилось привидение, человек вышел на тропу. Он был ненамного выше меня ростом, но более плотного телосложения. В руках он крепко сжимал лук и стрелы.

— Брось оружие на землю, — прикрикнула я, топнув ногой.

Медленно и настороженно мужчина положил лук и стрелы перед собой на тропу.

— Зачем ты стрелял в мою подругу? — спросила я, увидев, что Шотоми выползает из зарослей.

— Я не хотел стрелять в нее, — ответил тот, не сводя глаз с окровавленной рваной повязки на ноге Шотоми. — Я хотел попасть в тебя.

— В меня! — онемев от бессильной ярости, я несколько раз открыла и закрыла рот, не в силах выговорить ни слова.

Когда, наконец, ко мне вернулся дар речи, я разразилась мощным потоком брани на всех известных мне языках, в том числе и на языке Иतिकотери, богатом самыми сочными ругательствами.

Человек замер передо мной в полном оцепенении, явно потрясенный не столько нацеленной в него стрелой, сколько моей площадной руганью. Ни он, ни я даже не заметили подошедших Этеву и Арасуве.

— Трусливый Мокототери, — сказал Арасуве. — Мне бы надо убить тебя на месте.

— Он хотел убить меня, — прохрипела я. Вся моя отвага улетучилась, и меня заколотила дрожь. — Он ранил Шотоми в ногу.

— Я не хотел тебя убивать, — сказал Мокототери, умоляюще глядя на меня. — Я только хотел ранить тебя в ногу, чтобы ты не смогла убежать. — Он повернулся к Арасуве. — Ты можешь не сомневаться в моих добрых намерениях; на моих стрелах нет яда. — Тут он посмотрел на Шотоми. — Я ранил тебя случайно, когда ты потащила Белую Девушку в сторону, — пробормотал он, словно еще не веря, что промазал.

— Сколько вас здесь еще? — спросил Арасуве, ощупывая рану дочери, но ни на секунду не спуская глаз с Мокототери. И, выпрямившись, добавил: — Ничего страшного.

— Еще двое. — Мокототери издал крик какой-то птицы, и ответные крики не заставили себя ждать. — Мы хотели похитить Белую Девушку. Наш народ хочет, чтобы она жила у нас в

шабоно.

— А как, по-вашему, я бы туда дошла, если бы вы меня ранили? — спросила я.

— Мы понесли бы тебя в гамаке, — не задумываясь ответил мужчина и улыбнулся.

Вскоре из зарослей вынырнули еще двое Мокототери.

При виде меня они заулыбались, нисколько не смущенные и не напуганные тем, что были пойманы с поличным.

— Вы давно здесь? — спросил Арасуве.

— Мы выслеживали Белую Девушку несколько дней, — ответил один из них. — Мы знаем, что она любит ходить с детьми охотиться на лягушек. — Тут он повернулся ко мне, улыбаясь от уха до уха: — В окрестностях нашего *шабоно* лягушек хоть пруд пруди.

— А почему вы так долго выжидали? — спросил Арасуве.

Воин совершенно искренне признался, что я постоянно находилась в окружении женщин и детей. Он надеялся захватить меня на рассвете, когда я пойду по нужде в кусты, так как слышал, что я предпочитаю уходить одна подальше в лес. — Но мы ни разу не видели, чтобы она уходила.

Арасуве и Этева взглянули на меня с усмешкой, словно ожидая объяснений по этому поводу. Я в свою очередь уставилась на них. С тех пор как начались дожди, я стала замечать все больше змей в местах, отведенных для отправления естественных нужд, и я отнюдь не собиралась рассказывать им, куда хожу.

С таким же энтузиазмом, словно рассказывая увлекательную историю, Мокототери принялся объяснять, что они вовсе не собирались ни убивать кого-нибудь из Иतिकотери, ни похищать их женщин. — Мы хотели только забрать Белую Девушку. — И сквозь смех он добавил: — Вот бы все вы удивились, если бы Белая Девушка вдруг бесследно исчезла.

Арасуве признал, что это действительно была бы ловкая проделка. — Но мы бы все равно знали, что это дело рук Мокототери. Вы были настолько беспечны, что оставили в грязи отпечатки ног. Обходя окрестности *шабоно*, я видел множество следов того, что здесь побывали Мокототери. А вчера ночью я уже не сомневался, что здесь что-то неладно, — потому и вернулся так быстро со старых огородов. — Арасуве немного помолчал, словно желая, чтобы сказанное получше дошло до всех троих, и заявил: — Если бы вы похитили Белую Девушку, мы устроили бы набег на вашу деревню, забрали ее обратно, да прихватили бы еще и ваших женщин.

Мужчина, ранивший Шотоми в ногу, подобрал с земли лук и стрелы. — Я думал, что сегодня как раз подходящий случай. С Белой Девушкой была только одна женщина и ребенок. — Тут он с беспомощным видом взглянул на меня. — Но я ранил не ее, а другую. Должно быть, в вашей деревне живут очень сильные *хекуры*, которые оберегают Белую Девушку. — Он недоверчиво покрутил головой и взглянул на Арасуве. — Почему у нее мужское оружие? Мы как-то видели ее на реке с другими женщинами, и она стреляла там в рыбу, как мужчина. Мы не знали, что о ней думать. Потому-то я в нее и не попал. Я уже просто не знал, что она такое.

Арасуве велел всем троим идти в *шабоно*.

Абсурдность всей этой ситуации поразила меня до глубины души, и расхохотаться мне не позволяла только рана Шотоми, хотя губы все равно расплзались в судорожной улыбке. Я старалась напустить на себя серьезный вид, но уголки рта то и дело предательски подергивались. Я взялась было нести Шотоми на спине, но она так смеялась, что нога ее снова начала кровоточить.

— Будет легче, если я просто обопрюсь о тебя, — сказала она. — Нога уже не так сильно болит.

— Эти Мокототери теперь наши пленники? — спросила я.

Какое-то время она смотрела на меня непонимающими глазами и наконец сказала: — Нет,

в плен берут только женщин.

— Тогда что с ними сделают в *шабоно*? — Их накормят.

— Но они же враги, — сказала я. — Они ранили тебя в ногу и должны быть наказаны.

Шотоми снова посмотрела на меня, словно отчаявшись заставить меня что-либо понять, и спросила, убила бы я Мокототери, если бы тот не бросил оружие.

— Конечно, убила бы, — сказала я громко, чтобы услышали мужчины. — Я бы убила их своими отравленными стрелами.

Арасуве и Этева оглянулись. Их суровые лица растаяли в улыбке. Они-то знали, что на моих стрелах яда нет. — Это точно, она бы всех вас перестреляла, — обратился Арасуве к Мокототери. — Белая Девушка не то, что наши женщины. Белые скоры на расправу.

А я задумалась, смогла бы я в самом деле выпустить стрелу в Мокототери. Во всяком случае я бы уж точно врезала ему ногой в пах или живот, если бы он не бросил оружия. Я отлично понимала, что пытаться победить более сильного противника было бы чистым безумием, но я не видела причин, почему, уступая в росте и силе, нельзя захватить нападающего врасплох резкой оплеухой или ударом ноги. Это наверняка дало бы мне время убежать. Внезапный удар ногой вывел бы Мокототери из строя даже надежнее, чем лук и стрелы. И при этой мысли у меня стало спокойнее на душе.

В *шабоно* нас встретили мужчины Итикотери с натянутыми луками. Женщины и дети попрятались в хижинах.

Ко мне подбежала Ритими: — Я знала, что у тебя все будет в порядке, — сказала она, помогая мне донести свою сводную сестру до хижины Хайямы.

Бабка Ритими промыла ногу теплой водой, затем присыпала рану порошком *эпены*. — Теперь ложись в гамак и лежи смирно, — сказала она девочке. — А я принесу немного листьев, чтобы обернуть твою рану.

В полном изнеможении я пошла прилечь в свой гамак и, надеясь уснуть, подтянула повыше его края. Однако вскоре меня разбудил смех Ритими. Склонившись надо мной, она стала покрывать мое лицо звучными поцелуями. — Я слышала, как ты перепугала Мокототери.

— А почему спасать меня пришли только Арасуве и Этева? — спросила я. — Ведь этих Мокототери могло быть и больше.

— Да мой отец и муж вовсе и не ходили тебя спасать, — чистосердечно призналась Ритими. Она поудобнее устроилась в моем гамаке и принялась объяснять, что никто в *шабоно* даже не знал, что мы с Шотоми и малышом Сисиве пошли ловить рыбу. Арасуве и Этева наткнулись на нас с Шотоми по чистой случайности. Арасуве, следуя своим предчувствиям, отправился на разведку по окрестностям *шабоно* сразу же после ночного перехода. Хотя у него и были подозрения, что творится что-то неладное, он наверное не знал, что поблизости от деревни околачиваются Мокототери. Ее отец, заявила Ритими, всего лишь исполнял обязанности вождя и проверял, нет ли где следов пребывания чужаков. Подобную задачу вождь должен выполнять лично, поскольку желающих составить ему компанию в таком опасном деле не находилось.

Лишь в последнее время я начала понимать, что хотя Милагрос и представил мне Арасуве как вождя Итикотери, титул этот был довольно сомнительным. Власть вождя была ограниченной. Он не носил никаких знаков, отличающих его от прочих мужчин, а в принятии важных решений принимали участие все взрослые мужчины деревни. И даже если решение было принято, каждый мужчина волен был поступать, как ему заблагорассудится. Авторитет Арасуве основывался на его обширных родственных связях. Его братья, многочисленные сыновья и зятья придавали ему вес и оказывали поддержку. До тех пор пока его решения устраивали жителей *шабоно*, его авторитет не подвергался сомнению.

— А как с ним вместе оказался Этева? — Ну, это вообще было совершенно случайно, —

смеясь, ответила Ритими. — Он, видимо, возвращался с тайного свидания с какой-нибудь женщиной *шабоно* и натолкнулся на своего тестя.

— Ты хочешь сказать, что никто не пришел бы нас спасти? — изумилась я.

— Узнав, что поблизости враг, мужчины никогда не станут выходить из *шабоно*. Слишком легко угодить в засаду.

— Но нас же могли убить! — Женщин убивают очень редко, — убежденно заявила Ритими. — Они бы захватили вас в плен. Но тогда наши мужчины совершили бы набег на деревню Мокототери и привели бы тебя обратно, — утверждала она с поразительным простодушием, словно все это было в порядке вещей.

— Но они же ранили Шотоми в ногу, — я уже чуть не плакала. — И они хотели покалечить меня.

— Это все потому, что они не знали, как тебя захватить, — сказала Ритими, обнимая меня руками за шею. — Они знают, как обращаться с индейскими женщинами. Нас очень легко похищать. А с тобой Мокототери совершенно сбились с толку. Можешь радоваться. Ты храбрая, как настоящий воин. Ирамамове убежден, что у тебя есть особые *хекуры*, которые тебя оберегают, и что они настолько сильны, что даже отклонили выпущенную в тебя стрелу, и та попала в ногу Шотоми.

— А что сделают с Мокототери? — спросила я, заглядывая в хижину Арасуве. Трое мужчин, рассевшись в гамаках, словно гости, ели печеные бананы. — Вы как-то странно обходитесь с врагами.

— Странно? — недоуменно взглянула на меня Ритими. — Мы обходимся с ними как надо. Разве они не раскрыли свои планы? Арасуве очень рад, что они провалились.

Ритими заметила, что все трое, возможно, пробудут какое-то время у Итикотери, особенно если они подозревают о вероятности набега на их деревню со стороны ее соплеменников. Еще со времен ее деда и прадеда, а то и раньше, два эти *шабоно* устраивают набеги друг на друга. Ритими притянула мою голову к себе и прошептала на ухо: — Этева давно уже мечтает отомстить этим Мокототери.

— Этева! Но он же был так рад пойти к ним на праздник, — изумилась я. — Мне казалось, он хорошо к ним относится. Арасуве, я знаю, считает их вероломной публикой, и даже Ирамамове. Но Этева! Он ведь с таким удовольствием пел и плясал у них на празднике.

— Я тебе уже говорила, что на праздники ходят не только петь и плясать, но и выведать чужие планы, — прошептала Ритими и с серьезным видом добавила: — Этева хочет, чтобы его враг думал, будто он не собирается мстить за отца.

— Мокототери убили его отца? Ритими прикрыла мне ладонью рот. — Давай не будем об этом говорить. Вспоминать человека, убитого во время набега, — это не к добру.

— А что, разве готовится набег? — успела я спросить, прежде чем Ритими заткнула мне рот печеным бананом.

Она только улыбнулась и ничего не ответила. При одной мысли о набеге мне стало не по себе, и я чуть не подавилась этим бананом. До сей поры набеги представлялись мне чем-то ушедшим в далекое прошлое. Несколько раз я расспрашивала о них Милагроса, но тот отделялся туманными фразами. И только теперь я подумала, что в голосе Милагроса звучал оттенок сожаления, когда он говорил, что миссионерам удалось положить конец междеревенским распрям.

— Что, готовится набег? — спросила я вошедшего в хижину Этеву.

Он посмотрел на меня, сурово нахмутив брови. — Нечего женщинам задавать такие вопросы.

Уже начинало темнеть, когда в

шабоно

явился Пуривариве. Я не видела его со времени своей болезни, с той самой ночи, когда он стоял посреди поляны с руками, с мольбой распахнутыми во тьму. От Милагроса я узнала что шесть дней и ночей подряд старый

шапори

принимал

эпену.

Старик чуть не сломался под бременем духов, которых призвал в свою грудь, но продолжал упорно молить их о моем исцелении от приступа тропической лихорадки.

Ритими особо отметила, что главная трудность с моим исцелением заключалась в том, что *хекуры* не любят, когда их призывают в сезон дождей. — Тебя спасла только *хекура* колибри, — объясняла она. — Дух колибри, хоть и маленький, но могущественный. Искусный *шапори* призывает его как крайнее средство.

Я без всякого энтузиазма выслушала заверения обнимавшей меня за шею Ритими насчет того, что случись мне умереть, моя душа не отправилась бы скитаться по лесу, а мирно вознеслась бы в Дом Грома, ибо тело мое было бы сожжено, а истолченные в порошок кости съела бы она и вся ее родня.

Я вышла на поляну к Пуривариве и, присев рядом с ним, сказала: — Я уже выздоровела.

Он поднял на меня мутные, почти сонные глаза и погладил по голове. Его темная маленькая ладонь двигалась проворно и легко, хотя казалась тяжелой и неповоротливой. Едва заметная тень нежности смягчила его черты, но он не произнес ни слова. Интересно, подумала я, знает ли он, что во время болезни я почувствовала, как клюв колибри рассекает мне грудь. Об этом я не рассказывала никому.

Вокруг Пуривариве собралась группа мужчин с лицами и телами, раскрашенными черной краской. Они вдули друг другу в нос *эпену* и стали слушать его заклинания, которыми он молил *хекур* покинуть свои убежища в горах. В слабом свете очагов черные мужские фигуры все больше походили на тени. Они тихо вторили песнопениям шамана. Во все убыстряющемся темпе невнятной скороговорки постепенно нарастала мощь и угроза, и я почувствовала, как по спине у меня пробежал холодок.

Вернувшись в хижину, я спросила Ритими, что это за обряд исполняют мужчины.

— Они направляют *хекур* в деревню Мокототери убивать врагов.

— И враги действительно умрут? Подтянув коленки, она вперила задумчивый взгляд в крошечную черноту безлунного и беззвездного неба над пальмовой крышей и тихо сказала: — Умрут.

В полной уверенности, что настоящего набега так и не будет, я засыпала и просыпалась под пение заклинаний. Я не столько слышала, сколько зримо представляла себе звуковые образы, которые взлетали и падали, уносясь с дымом очагов.

Прошло несколько часов. Я поднялась и села у хижины. Почти все мужчины разошлись по своим гамакам. На поляне осталось лишь десять человек, в том числе Этева. Закрыв глаза, они вторили песне Пуривариве. В пропитанном сыростью воздухе слова доносились четко и внятно: Следуй за мной, следуй за моим видением.

Следуй за мной над вершинами деревьев.

Взгляни на птиц и мотыльков; таких красок ты никогда не увидишь на земле.

Я возношусь на небеса к самому Солнцу.

Песню *шапори* внезапно прервал один из мужчин. С криком: — Меня ударило солнце — жжет глаза! — он вскочил и беспомощно оглянулся в темноте. Ноги его подкосились, и он с глухим ударом рухнул на землю. Никто словно ничего и не заметил.

Голос Пуривариве звучал все требовательнее, словно в стремлении возвысить всех мужчин до представленного им образа. Он снова и снова повторял свою песню тем, кто еще оставался рядом. Чтобы мужчины не заплутали в тумане своих видений, он предупредил их, что на пути к Солнцу в лесных дебрях и сплетении корней их подстерегают острые копыта бамбуковых листьев и ядовитые змеи. Но больше всего он убеждал мужчин не впадать в сонное забытие, а шагнуть из тьмы ночи в белую тьму солнца. Он обещал им, что их тела пропитаются жаром *хекур*, & глаза их засияют драгоценным солнечным светом.

Я просидела у хижины до тех пор, пока заря не стерла с земли остатки сумерек, и в надежде обнаружить какое-нибудь явное свидетельство их путешествия к Солнцу, стала переходить от одного мужчины к другому, пристально вглядываясь в их лица.

Пуривариве провожал меня полными любопытства глазами и с насмешливой улыбкой на изрезанном морщинами лице.

— Ты не найдешь видимых следов того, что они летали к Солнцу, — сказал он, словно читая мои мысли. — Глаза их тусклы и красны от бессонной ночи, — добавил он, указывая на мужчин, тупо уставившихся в пустоту и совершенно безразличных к моему присутствию. — Драгоценный свет, отражение которого ты ищешь в их зрачках, сияет теперь у них внутри. И видят его только они сами.

И не дав мне спросить о его путешествии к Солнцу, он вышел из *шабоно* и скрылся в лесу.

В последовавшие за этим дни в деревне воцарилось мрачное тягостное настроение. Поначалу я лишь смутно чувствовала, а затем уже не могла отделаться от уверенности, что от меня намеренно скрывают приближение некоего события. Я стала угрюмой, замкнутой и раздражительной. Пытаясь перебороть ощущение отчужденности, я старалась скрыть свои дурные предчувствия, но меня словно осаждали некие не поддающиеся определению силы.

Если я спрашивала Ритими или любую другую женщину, не надвигаются ли какие-то перемены, они даже не реагировали на мой вопрос и вместо этого затевали разговор о каком-нибудь дурацком случае в надежде меня рассмешить.

— На нас готовится набег? — наконец спросила я у Арасуве в один прекрасный день.

Он повернул ко мне озабоченное лицо, словно пытался, но не мог разобрать мои слова.

Я сконфузилась, разнервничалась и чуть не заплакала.

Я сказала ему, что не такая уж я дура, чтобы не замечать, что мужчины постоянно находятся в боевой готовности, а женщины боятся ходить одни на огороды или рыбную ловлю.

— Почему никто мне не может сказать, что происходит? — выкрикнула я.

— А ничего такого и не происходит, — спокойно ответил Арасуве и, закинув руки за голову, поудобнее растянулся в гамаке. Он тоже заговорил на совершенно постороннюю тему, то и дело посмеиваясь по ходу рассказа. Но меня это не успокоило. Я не стала смеяться вместе с ним, не стала даже слушать его слов и, к его полному изумлению, сердито потопала в свою хижину.

Целыми днями я чувствовала себя несчастной, то обижаясь на всех, то жалея себя. Я стала плохо спать. Я постоянно твердила себе, что ко мне, полностью принявшей новый образ жизни, ни с того ни с сего стали относиться как к чужой. Я злилась и считала себя обманутой. Я не могла смириться с тем, что Арасуве не захотел доверить мне свою тайну. Даже Ритими не проявляла особой охоты меня успокоить. Я страстно желала, чтобы здесь оказался Милагрос.

Уж он бы наверняка развеял все мои тревоги. Уж он бы все мне рассказал.

Однажды ночью, когда я еще не совсем впала в сонное забытие, а витала где-то между сном и явью, на меня обрушилось внезапное озарение. И пришло оно не в словах, но преобразилось в целую последовательность мыслей и воспоминаний, вспыхивавших передо мной яркими образами, и все вдруг предстало в истинном свете.

Меня охватило ликование. Я расхохоталась с облегчением, переросшим в настоящее веселье. Я слышала, как мой смех эхом разносится по всем хижинам. Сев в гамаке, я увидела, что почти все Итикотери хохочут вместе со мной.

Арасуве присел у моего гамака.

— Тебя не свели с ума лесные духи? — спросил он, взяв мою голову в ладони.

— Свели, — все еще смеясь, ответила я и заглянула в его глаза; они блестели в темноте. Я обвела глазами Ритими, Тутеми и Этеву, стоявших возле Арасуве с заспанными любопытными лицами, раскрасневшимися от смеха.

Из меня бесконечным потоком полились слова, громоздясь друг на дружку с поразительной быстротой. Я заговорила по-испански, и не потому что хотела что-то скрыть, а потому что на их языке мои объяснения не имели бы никакого смысла. Арасуве и все остальные слушали так, словно все понимали, словно чувствовали, как мне необходимо избавиться от царившего во мне смятения.

А я, наконец, осознала, что для них я и есть чужачка, и мои требования быть в курсе таких дел, о которых Итикотери не говорят даже в своем кругу, были вызваны только моим повышенным самомнением. И уж в совершенно несносное существо превратила меня мысль о том, что меня оставляют в стороне, не подпускают к чему-то такому, что я имею полное право знать. Это свое право знать я не подвергала ни малейшему сомнению, и это делало меня несчастной, лишало всех тех радостей, которыми я так дорожила прежде. Угрюмость и подавленность находились не вне, а внутри меня и как-то передавались в *шабоно* и к его жителям.

Мозолистая ладонь Арасуве легла на мою тонзуру. Я несколько не стыдилась своих чувств и с радостью поняла, что только я сама могу возродить ощущение чуда и волшебства от пребывания в другом мире.

— Вдуй-ка мне в нос *эпену*, — велел Арасуве Этеве. — Я хочу убедиться, что злые духи не тронут Белую Девушку.

Я услышала бормотание, тихий ропот голосов, приглушенный смех, и под монотонное пение Арасуве погрузилась в спокойный сон, как не спала уже много дней. Маленькая Тешома, которая уже давненько не забиралась ко мне в гамак, разбудила меня на рассвете. — Я слышала, как ты смеялась вчера среди ночи, — сказала она, уютно прижимаясь ко мне. — Ты не смеялась так давно, и я боялась, что ты больше никогда не засмеешься.

Я заглянула в ее блестящие глазенки, словно могла найти в них ответ, который позволил бы мне в будущем избавляться с помощью смеха от всех душевных смут и тревог.

Непривычная тишина глухой пеленой опускалась на *шабоно* по мере того, как вокруг нас сгущались ночные сумерки. Я уже почти засыпала под убаюкивающее прикосновение пальцев Тутеми, искавших вшей у меня в волосах.

Крикливая болтовня женщин, занятых приготовлением ужина и кормлением младенцев,

истаяла до шепота. Словно по чьему-то безмолвному приказу, ребяташки прекратили свои шумные вечерние забавы и собрались в хижине Арасуве послушать сказки старого Камосиве. Он, казалось, был совершенно увлечен собственными речами, драматически жестикулируя по ходу повествования. Но глаз его внимательно следил за длинными клубнями батата, зарытыми в горячие угли. С благоговейным трепетом я смотрела, как старик голыми руками вытаскивает клубни из огня и, не дожидаясь, пока те остынут, отправляет их в рот.

Со своего места я видела над верхушками деревьев луну на ущербе, которую то и дело закрывали бредущие по небу и светившиеся прозрачной белизной облака. Внезапно тишину ночи пронзил жуткий вопль — нечто среднее между визгом и рычанием. В тот же момент из темноты возник Этева с лицом и телом, раскрашенным в черный цвет. Он встал перед кострами, горящими в центре деревенской поляны, и застучал луком о стрелы, подняв их над головой.

Я не видела, из чьей хижины появились остальные, но рядом с Этевой, с такими же черными лицами, на поляне встали еще одиннадцать мужчин.

Арасуве подровнял шеренгу, пока все не выстроилось в одну линию, и, поправив последнего, сам встал в строй и запел низким гнусавым голосом. Последнюю строку песни все подхватили хором. В этой приглушенной гармонии я различала каждый голос в отдельности, не понимая ни слова. Чем дольше они пели, тем большая, казалось, их охватывала ярость. В конце каждой песни они издавали самые свирепые вопли, которые я когда-либо слышала. Как ни странно, мне стало казаться, что чем громче они вопят, тем дальше уходит их ярость, как будто она перестала быть частью их раскрашенных в черное тел.

Внезапно они смолкли. Неверный свет костров подчеркивал гневное выражение их застывших, похожих на маски лиц и лихорадочный огонь в глазах. Я не видела, подал ли Арасуве какую-то команду, но они рявкнули в один голос: — С какой радостью увижу я, как моя стрела вонзается в тело врага. С какой радостью увижу я, как его кровь хлынет на землю.

Держа оружие высоко над головами, воины сломали строй, собрались в тесный кружок и стали что-то выкрикивать, сначала тихо, затем такими пронзительными голосами, что меня мороз продрал по коже. Затем они снова смолкли, и Ритими шепнула мне на ухо, что мужчины вслушиваются в эхо своих криков, чтобы определить, с какой стороны оно вернулось. Эти отголоски, пояснила она, приносят с собой духов врага.

Завывая и стуча оружием, мужчины пустились вскачь по поляне, но Арасуве их успокоил. Еще дважды они собирались в тесный кружок и орали во всю мочь. Затем, вместо того чтобы направиться в лес, как я ожидала и боялась, мужчины подошли к хижинам, стоящим у самого входа в *шабоно*. Там они легли в гамаки и вызвали у себя рвоту.

— Зачем они это делают? — спросила я у Ритими.

— Когда они пели, они пожирали своих врагов, — пояснила она. — А теперь им надо избавиться от гнилого мяса.

Я вздохнула с облегчением, хотя и была неожиданно для себя разочарована тем, что набег состоялся лишь символически. Незадолго до рассвета меня разбудили плач и стенания женщин, и я стала тереть глаза, чтобы удостовериться, что не сплю. Время словно остановилось, потому что мужчины стояли на поляне в той же самой стройной шеренге, что и глубокой ночью. Их крики утратили прежнюю свирепость, как будто женский плач смягчил их гнев.

Забросив банановые гроздья, сложенные у входа в *шабоно*, себе на плечи, они с театральной торжественностью зашагали по тропе в сторону реки.

Мы со старым Камосиве в отдалении последовали за мужчинами. Я подумала было, что начинается дождь, но это была лишь роса, капающая с листка на листок. На мгновение мужчины замерли, и их тени четко обозначились на светлом прибрежном песке. Полумесяц уже прошел свой небесный путь и слабо мерцал в туманном воздухе. Мужчины скрылись с глаз, и песок

словно всосал их тени. Я услышала только удаляющийся в глубину леса шорох листьев и треск веток. Туман сомкнулся вокруг нас непроницаемой стеной, будто ничего и не произошло, будто все увиденное было всего лишь сном.

Присев возле меня на камень, старый Камосиве чуть тронул мою руку. — Я уже не слышу эха их шагов, — сказал он и медленно побрел в воду. Дрожая от холода, я пошла за ним. Я чувствовала, как мелкая рыбешка, прятая в корнях под водой, тычется мне в ноги, но в темной воде ничего не было видно.

Пока я досуха вытирала Камосиве листьями, он тихо посмеивался. — Смотри, какой *сикомасик*, — радостно заметил он, указывая на белые грибы, растущие на гнилом стволе дерева.

Я собрала их для него и завернула в листья. Поджаренные на костре, они считались большим деликатесом, особенно среди стариков.

Камосиве протянул мне кончик своего сломанного лука, и я вытащила его на скользкую тропу, ведущую к *шабоно*. Туман не поднимался весь день, словно солнце побоялось оказаться свидетелем перехода мужчин через лес.

Маленькая Тешома села рядом со мной на поваленное дерево в зарослях бамбуковой травы. — Ты не будешь ловить лягушек? — спросила я.

Она подняла на меня жалобный взгляд. Ее глаза, обычно такие блестящие, потускнели и медленно налились слезами.

— Что ты так загрустила? — спросила я, беря ее на руки. Плачущих детей всегда старались как можно быстрее утешить, опасаясь, что их душа может вылететь через рот.

Взяв ее на закорки, я отправилась в *шабоно*. — Ты такая тяжелая, как целая корзина спелых бананов, — попыталась я рассмешить ее.

Но девочка даже не улыбнулась. Ее личико прижималось к моей шее, а слезы горохом катились у меня по груди.

Я бережно уложила ее в гамак, но она крепко вцепилась в меня, заставив лечь рядом. Вскоре она уснула, но очень беспокойным сном. Время от времени она вздрагивала всем телом, словно в лапах какого-то жуткого кошмара.

С подвязанным к спине младенцем Тутеми в хижину вошла Ритими. Взглянув на спящую рядом со мной девочку, она залилась слезами. — Я уверена, что какой-нибудь злой *шапори* этих Мокототери выманил ее душу прочь. — Ритими заходила в таких душераздирающих рыданиях, что я оставила Тешому и под села к ней. Я не знала толком, что ей сказать. Я не сомневалась, что Ритими плачет не только из-за маленькой дочери, но и из-за Этевы, который вот уже неделя, как ушел с отрядом воинов в набег. После ухода мужа она стала сама не своя: перестала работать на огородах, ни с кем из женщин не ходила в лес за ягодами и дровами. Бесцельно и подавленно она целыми днями бродила по *шабоно*. Большую часть времени она лежала в гамаке, играя с ребенком Тутеми. Как бы я ни старалась ее подбодрить, мне не удавалось стереть жалкое выражение с ее лица. Скорбная улыбка, которой Ритими отвечала на все мои усилия, придавала ей еще более унылый вид.

Обняв за шею, я расцеловала ее в обе щеки и стала уверять, что у Тешомы самая обыкновенная простуда. Но утешить Ритими было невозможно. Рыдания не принесли ей ни облегчения, ни усталости, а лишь углубили ее отчаяние.

— Вдруг что-нибудь случилось с Этевой, — говорила она. — Вдруг какой-нибудь Мокототери убил его.

— Ничего с твоим Этевой не случилось, — заявила я. — Костями чувствую.

Ритими слабо улыбнулась, как бы сомневаясь в моих словах. — Почему же тогда моя дочурка заболела? — Тешома заболела потому, что простыла, играя с лягушками на болотах, — заявила я сухим деловым тоном. — Дети очень быстро заболевают и так же быстро выздоравливают.

— А ты уверена, что это так и есть? — Совершенно уверена, — ответила я.

Ритими с сомнением посмотрела на меня и сказала: — Но ведь больше никто из детей не заболел. Я знаю, что Тешому околдовали.

Не зная, что ответить, я решила, что лучше всего будет позвать дядю Тешомы, и спустя минуту вернулась вместе с Ирамамове. На время отсутствия своего брата Арасуве Ирамамове исполнял обязанности вождя. Его храбрость делала его самым подходящим человеком для защиты *шабоно* от возможного нападения. Его же репутация шамана обеспечивала деревне защиту от злых *хекур*, насланных вражескими колдунами.

Ирамамове посмотрел на девочку и попросил меня принести его тростинку для *эпены* и сосуд с галлюциногенным порошком. Одному из юношей он велел вдуть зелье ему в ноздри и

запел заклинания к *хекурам*, расхаживая перед хижинкой из стороны в сторону. Время от времени он высоко подпрыгивал, крича на злых духов, которые, как он полагал, угнездились в теле ребенка, чтобы те оставили Тешому в покое.

Затем Ирамамове стал осторожно массировать девочку, сначала голову, потом грудь, живот и так до самых ног. Он то и дело встряхивал руками, сбрасывая злых *хекур*, которых вытаскивал из Тешомы. Еще несколько мужчин вдохнули *эпену* и вместе с Ирамамове пели заклинания ночь напролет. А он попеременно то массировал ее тельце, то высасывал хворь из него.

Тем не менее девочке и на другой день не стало лучше.

С покрасневшими и отекавшими глазами она неподвижно лежала в гамаке, ничего не хотела есть и отказалась даже от воды с медом, которой я пыталась ее напоить.

Ирамамове определил, что ее душа покинула тело, и принялся строить в центре поляны помост из шестов и лиан. К своим волосам он прикрепил листья пальмы *ассаи*; глаза и рот обвел кругами из пасты *оното*, смешанной с углем. Пустившись вскачь вокруг помоста, он стал имитировать крики гарпии. Затем веткой с куста, растущего поблизости от *шабоно*, он стал тщательно мести землю, пытаясь найти затерявшуюся душу ребенка.

Не найдя ее, он собрал вокруг себя несколько маленьких приятелей Тешомы, точно так же разукрасил их волосы и лица и поднял их на помост. — Внимательно осмотрите землю сверху, — велел он детям. — Отыщите душу вашей сестры.

Подражая крикам гарпии, дети запрыгали на шатком помосте. Ветками, которые подали им женщины, они стали разметать воздух, но и им не удалось отыскать потерянную душу.

Взяв ветку, поданную мне Ритими, я вместе с остальными взялась за поиски. Мы дочиста вымели тропинки к реке, к огородам и на болота, где Тешома ловила лягушек.

Ирамамове поменялся со мной ветками. — Ты принесла ее в *шабоно*, — сказал он. — Может, ты отыщешь ее душу.

Не задумываясь о бессмысленности этой затеи, я мела землю так же старательно, как и все остальные. — А откуда известно, что душа где-то недалеко? — спросила я Ирамамове, когда мы возвращались по своим следам обратно в *шабоно*.

— Просто известно, и все, — ответил он.

Мы обыскали каждую хижину, чисто вымели под гамаками, вокруг каждого очага и за сложенными в кучи бананами. Мы сдвигали прислоненные к покатым крышам луки и стрелы. Мы разогнали всех пауков и скорпионов из их убежищ в пальмовых крышах. Я прекратила поиски, лишь когда увидела змею, выскользнувшую из-за стропил.

Рассмеявшись, старая Хайяма ловким ударом мачете отсекала змее голову, завернула извивающееся обезглавленное тело в листья *пишаанси* и сунула в огонь. Хайяма подобрала также свалившихся на землю пауков. Они тоже были завернуты в листья и изжарены. Старикам особенно нравились их нежные брюшки. Лапки Хайяма приберегла, чтобы размолоть их позже в порошок, который, как считалось, лечит порезы, укусы и царапины.

К вечеру состояние Тешомы несколько не улучшилось.

Она неподвижно лежала в гамаке, уставясь пустыми глазами в пальмовую крышу. Меня охватило чувство неопишуемой беспомощности, когда Ирамамове снова склонился над ребенком, чтобы массировать и высасывать из нее злых духов.

— Позволь мне попытаться вылечить ребенка, — сказала я.

Ирамамове едва заметно улыбнулся, переводя глаза то на меня, то на Тешому. — А с чего ты взяла, что сможешь вылечить мою внучатую племянницу? — спросил он в глубокой задумчивости. В его тоне не было насмешки, одно лишь смутное любопытство. — Мы не отыскали ее душу.

Какой-то могущественный вражий *шапори* выманил ее прочь. Ты думаешь, что сможешь

противостоять заклятию злого колдуна? — Нет, — поспешно заверила я его. — Это можешь только ты.

— Что же ты тогда будешь делать? — спросил он. — Ты однажды сказала, что никогда никого не исцеляла. Почему же ты думаешь, что сейчас тебе это удастся? — Я помогу Тешоме горячей водой, — сказала я. — А ты исцелишь ее своими заклинаниями к *хекурам*.

Ирамамове на минуту задумался; затем постепенно лицо его смягчилось. Он прикрыл ладонью рот, будто удерживаясь от смеха. — Ты многому научилась у тех *шапори*, которых знала? — Я помню кое-что из их методов лечения, — ответила я, не упомянув, однако, что средство, которое предназначалось Тешоме, применяла моя бабушка, когда не удавалось сломить лихорадку. — Ты сказал, что видел *хекур* у меня в глазах. Если ты будешь петь им заклинания, то, может быть, они мне помогут.

Легкая улыбка появилась и задержалась на губах Ирамамове. Казалось, мои доводы почти убедили его. Тем не менее он с сомнением покачал головой. — Так исцеление не делается. Как я могу просить, чтобы *хекуры* помогли тебе? Ты тоже хочешь принять *эпену*? — Это мне не понадобится, — заверила я его и заметила, что если могущественный *шапори* может приказать своим *хекурам* похитить душу ребенка, тогда такой искусный колдун, как он, вполне может приказать своим духам, которые, как он считает, со мной уже знакомы, чтобы те пришли мне на помощь.

— Я призову *хекур* помочь тебе, — объявил Ирамамове. — Я приму *эпену* вместо тебя.

Пока один из мужчин вдвухал галлюциноген в ноздри Ирамамове, Ритими, Тутеми и жены Арасуве принесли мне полные калабаши горячей воды, которую старая Хайяма нагрела в больших алюминиевых котелках. Я намочила свое разрезанное одеяло в горячей воде и, пользуясь штанинами джинсов вместо перчаток, выжала каждую полоску ткани, пока в ней не осталось ни капли влаги. Потом я осторожно обернула ими все тело Тешомы и накрыла прогретыми над огнем пальмовыми листьями, нарезанными по моей просьбе кем-то из подростков.

Я с трудом могла перемещаться по хижине, куда набилась целая толпа народу. Они молча следили за каждым моим движением, внимательно и настороженно, чтобы не упустить ни единой мелочи. Сидя рядом со мной на корточках, Ирамамове без усталости бросал в ночь свои заклинания. Час проходил за часом, и люди постепенно разошлись по гамакам. Нимало не обескураженная их неодобрением, я продолжала сменять остывающие компрессы. Ритими молча сидела в своем гамаке. Ее сплетенные пальцы безвольно лежали на коленях в жесте полнейшего отчаяния. Всякий раз, поднимая на меня глаза, она заливалась слезами.

Тешома, казалось, никак не реагировала на мои хлопоты. Что если у нее не простуда, а что-то другое? Что если ей станет хуже? Уверенность моя заколебалась, и я с таким жаром стала бормотать молитвы за нее, с каким не молилась с самого детства. Подняв глаза, я натолкнулась на взгляд Ирамамове. Он был встревожен, словно понимал сумятицу противоречивых влияний, одолеваящих меня в эту минуту, — колдовства, религии и страха. Затем с прежней решимостью он стал петь дальше.

К нам присоединился старый Камосиве, присев на корточки у очага. Предраассветная прохлада еще не вползла в хижину, но сам по себе горящий огонь заставил его инстинктивно придвинуться к нему поближе. Он тоже завел тихую песню. Его журчащий голос успокоил меня; он, казалось, принес с собой голоса ушедших поколений.

Дождь, поначалу решительно и энергично забарабанивший по пальмовой крыше, затем ослабел до легкой измороси, которая погрузила меня в какое-то оцепенение.

Уже почти светало, когда Тешома заметалась в гамаке, нетерпеливо срывая мокрые куски одеяла и обернутые вокруг нее пальмовые листья. Широко раскрыв глаза от удивления, она села

и улыбнулась старому Камосиве, Ирамамове и мне, сгрудившимся у ее гамака. — Я хочу пить, — сказала она и одним глотком выпила всю поданную воду с медом.

— Она поправится? — неуверенно спросила Ритими.

— Ирамамове заманил ее душу обратно, — сказала я. — А горячая вода переломила ее лихорадку. Теперь ей нужно только тепло и спокойный сон.

Я вышла на поляну и распрямила затекшие ноги.

Опирающийся о палку старый Камосиве тесно прижал локти к груди, чтобы сохранить тепло. Он был похож на ребенка. Ирамамове остановился рядом со мной по дороге в свою хижину. Не было сказано ни слова, но я точно знала, что мы пережили момент абсолютного взаимопонимания.

Едва заслышав приближающиеся шаги, Тутеми знаком велела мне пригнуться к покрытым плесенью листьям тыквенной лианы. — Это отряд, уходивший в набег, — шепнула она. — Женщинам не полагается видеть, с какой стороны возвращаются воины.

Не в силах совладать с любопытством, я потихоньку встала на ноги. Вместе с мужчинами шли три женщины, одна из них была беременна.

— Не смотри, — взмолилась Тутеми, потянув меня вниз. — Если увидишь тропу, по которой возвращались участники набега, тогда тебя захватят враги.

— До чего же все-таки украшают мужчин эти яркие перья, которые струятся с их наручных повязок, да еще эта сплошная раскраска пастой *оното*, — сказала я и тут же в смятении заметила: — Но Этевы среди них нет! Как по-твоему, его не могли убить? — Тутеми ошеломленно уставилась на меня. Без малейшего намека на нервозность она чуть отвела в сторону широкие листья лианы, чтобы взглянуть на удаляющиеся фигуры. На ее встревоженном лице вспыхнула улыбка, и она схватила меня за руку. — Смотри, вон Этева. — И она притянула к себе мою голову, чтобы я тоже увидела. — Он, *унукаи*.

Далеко позади всех медленно тащился Этева, ссутулив плечи, словно под тяжестью невидимого груза. На нем не было ни украшений из перьев, ни раскраски. Лишь короткие тростниковые палочки были продеты в мочки его ушей и такие же тростинки браслетами были повязаны на обоих запястьях.

— Он что, болен? — Нет. Он *унукаи*, — восхищенно ответила она. — Он убил Мокототери.

Не в состоянии разделить радость Тутеми, я лишь уставилась на нее в немом изумлении. Потом, почувствовав, что вот-вот расплачусь, отвела глаза в сторону. Мы подождали, пока Этева скроется из виду, и неторопливо направились в *шабоно*.

Услышав приветственные крики вышедших из хижин жителей деревни, Тутеми ускорила шаг. В окружении ликующих Иतिकотери среди поляны гордо стояли участники набега. Отвернувшись от мужа, самая младшая жена Арасуве подошла к трем пленным женщинам, которых радостные приветствия обошли стороной. Они молча стояли в некотором отдалении, не сводя настороженных взглядов с приближающейся к ним женщины Иतिकотери.

— Раскрасились *оното* — какая гадость! — завопила жена Арасуве. — Чего же еще ждать от женщины Мокототери? Вы что, думаете, что вас пригласили на праздник? — Злобно глядя на женщин, она схватила палку. — Я всех вас сейчас отлуплю. Если бы меня захватили в плен, я бы убежала, — кричала она.

Три женщины Мокототери сжались в тесную кучку.

— По крайней мере я пришла бы с жалобными рыданиями, — прошипела жена Арасуве, дернув одну из них за волосы.

Арасуве ступил между своей женой и пленницами. — Оставьте их в покое. Они так много ревели, что от их слез промокла вся тропа. Это мы заставили их прекратить плач.

Мы не хотели слышать их завываний. — Арасуве отнял у жены палку. — И это мы велели им раскрасить лица и тела *оното*. Здесь этим женщинам будет хорошо. И обходиться с ними будут хорошо! — Он повернулся к остальным женщинам Иतिकотери, столпившимся возле его жены. — Дайте им что-нибудь поесть. Они проголодались не меньше нас. А мы не ели вот уже два дня.

Но укротить жену Арасуве было не так-то просто. — Ваши мужья убиты? — приставала она с расспросами к женщинам. — Вы сожгли их? Вы съели их пепел? — Затем она набросилась на беременную: — А твой муж тоже убит? Ты что же, считаешь, что мужчина Иतिकотери

станет отцом твоему ребенку? Грубо оттолкнув жену, Арасуве громко объявил: — Убит был только один человек. В него угодила стрела Этевы.

Это был тот самый человек, который убил отца Этевы во время прошлого вероломного набега Мокототери. — Арасуве повернулся к беременной женщине и продолжил без малейшего сочувствия во взгляде или голосе: — Мокототери похитили тебя некоторое время назад. Среди них у тебя нет братьев, которые пришли бы тебя выручать. Так что ты теперь Иतिकотери. И нечего больше реветь. — И Арасуве пустился в объяснения, что трем пленницам будет лучше жить среди его народа. Он особо подчеркнул, что Иतिकотери чуть ли не каждый день едят мясо, и в течение всего сезона дождей у них полно кореньев и бананов, так что никто здесь не голодает.

Одна из пленниц была совсем еще молоденькая девочка, лет десяти или одиннадцати. — Что с ней будет? — спросила я Тутеми.

— Как и остальных, кто-нибудь возьмет ее в жены, — ответила Тутеми. — Мне было примерно столько же, когда меня похитили Иतिकотери. — Губы ее скривились в тоскливой улыбке. — Мне еще повезло, что свекровь Ритими решила, что я стану второй женой Этевы. Он ни разу еще меня не колотил. Ритими относится ко мне как к сестре. Она не ссорится со мной, не заставляет работать за себя... — Тутеми оборвала на полуслове, когда жена Арасуве снова с криками набросилась на женщин Мокототери.

— Какое бесстыдство явиться сюда в раскраске! Вам не хватало еще только воткнуть цветы в уши и пуститься в пляс. — И она следом за тремя пленницами направилась в хижину мужа. — Мужчины изнасиловали вас в лесу? Вот почему вас так долго не было! Должно быть, вам это понравилось. — И толкнув беременную женщину, она добавила: — А с тобой они тоже спали? — Заткнись! — рявкнул Арасуве. — Не то я отколочу тебя до крови. — И он повернулся к шедшим в отдалении женщинам. — А вы должны радоваться, что ваши мужья вернулись живые и здоровые. Вы должны быть довольны, что Этева убил этого человека, а мы привели трех пленниц.

Теперь ступайте в свои хижины и кормите мужей.

Женщины, ворча, вернулись к своим очагам.

— А почему так злится только жена Арасуве? — спросила я Тутеми.

— А ты разве не знаешь? — спросила она, злорадно улыбнувшись. — Она боится, что он выберет себе из этих женщин четвертую жену.

— А зачем ему так много? — У него большая сила и влияние, — категорично заявила Тутеми. — У него много зятьев, которые приносят много дичи и помогают ему на огородах. Арасуве может прокормить много жен.

— Пленниц изнасиловали? — спросила я.

— Одну. — На какую-то долю секунды Тутеми озадачило возмущенное выражение моего лица, но затем она продолжила свои объяснения насчет того, что захваченную в плен женщину обычно насилюют все участники набега. — Так принято.

— А эту молоденькую девушку тоже изнасиловали? — Нет, — небрежно ответила Тутеми. — Она ведь еще не женщина. Не насиловали и ту, что беременна — их вообще никогда не трогают.

Во время всей этой суматохи Ритими не покидала своего гамака. Мне она сказала, что не видит причины утруждать себя из-за этих женщин Мокототери, поскольку и без того знает, что Этева не возьмет себе третью жену. Я же с радостью заметила, что вся грусть и уныние, с которыми она не расставалась последние несколько дней, исчезли бесследно.

— А где Этева? — спросила я. — Он не придет в *шабоно*? Ритими с лихорадочно блестящими от возбуждения глазами стала объяснять, что ее муж, после того как убил врага,

заялся поисками подходящего дерева недалеко от *шабоно*, на котором он мог бы повесить свой старый гамак и колчан. Однако перед этим он должен содрать кору со ствола и ветвей этого дерева.

В направленных на меня глазах Ритими светилась глубокая озабоченность. Она предупредила, что я ни в коем случае не должна смотреть на такое дерево. Почему-то она была уверена, что я не спутаю его с деревом, чья кора была снята для изготовления корыт или лодок. Такие деревья, пояснила она, остаются похожими на деревья, тогда как деревья, с которых снял кору человек, убивший кого-нибудь, походят на призрачные тени, белея среди окружающей их зелени, с гамаком, колчаном, луком и стрелами, болтающимися на его ободранных ветвях. Духи — особенно злые — любят скрываться поблизости от таких деревьев.

Мне пришлось пообещать Ритими, что если я когда-нибудь окажусь по соседству с таким деревом, я убегу от него во всю прыть.

Голосом, тихим настолько, что я было решила, что она разговаривает сама с собой, Ритими поделилась со мной своими опасениями. Она надеялась, что Этева не сломается под тяжестью убитого им человека. *Хекуры* убитого поселяются в груди убийцы и обитают там, пока родственники убитого не сожгут его тело и не съедят истертые в порошок кости. Мокототери могут как можно дольше откладывать церемонию сожжения в надежде, что Этева умрет от слабости.

— Мужчины будут рассказывать о набеге? — спросила я.

— Как только поедят, — ответила Ритими.

С луком и стрелами в руках Этева пересек поляну и вошел в хижину, в которой сын Ирамамове посвящался в шаманы. Мужчины, ходившие с Этевой в набег, накрыли хижину со всех сторон пальмовыми листьями, оставив лишь маленький вход спереди. Ему принесли наполненный водой калабаш и внутри развели огонь.

Этева должен был оставаться в хижине, пока Пуривариве не объявит, что мертвое тело Мокототери уже сожжено. Дни и ночи напролет Этева должен быть настороже на случай, если дух убитого подкрадется к хижине в образе ягуара. Стоит Этеве в эти дни заговорить, прикоснуться к женщине или что-нибудь съесть — и он умрет.

В сопровождении невестки к нам в хижину вошла старая Хайяма. — Хочу узнать, что творится у Арасуве, — сказала старуха, усаживаясь возле меня. Шотоми села на землю, прислонившись головой к моим ногам, свисающим из гамака. Багровый шрам — напоминание о ране — уродовал ее точеную ножку. Но Шотоми это мало беспокоило: она была рада, что рана не загноилась.

— Матуве захватил одну из женщин, — гордо сказала Хайяма. — Самое время ему взять вторую жену. Лучше уж мне выбрать ему подходящую, не то дай ему волю, и он наверняка ошибется.

— Но у него же есть жена, — заикнулась было я, глядя на Шотоми.

— Да, — согласилась старуха. — Но если он вообще собирается взять вторую жену, сейчас самое время. Шотоми молода. Сейчас ей легко будет подружиться с другой женщиной. Матуве следует взять самую молоденькую из трех пленниц. — И Хайяма погладила Шотоми по выбритой тонзуре. — Эта девочка моложе тебя. Она будет тебя слушаться. Когда у тебя будут месячные, она станет нам стряпать. Она может помогать тебе на огородах и собирать топливо для очага. Я уже слишком стара, чтобы много работать.

Шотоми внимательно осмотрела трех пленниц в хижине Арасуве. — Если уж Матуве непременно должен взять себе вторую жену, то я бы хотела, чтобы он взял девочку. Мне она больше по душе. Она будет согреть его гамак, когда я забеременею.

— А ты что, беременна? — спросила я.

— Я в этом не уверена, — ответила она с лукавой улыбкой.

Хайяма мне как-то рассказывала, что, как правило, беременная женщина выжидала от трех до четырех месяцев, а то и дольше, прежде чем сказать об этом мужу. Муж был молчаливым сообщником в этом обмане, ибо и его приводили в ужас всевозможные ограничения в еде и запреты в образе жизни. Если у женщины случался выкидыш, либо она производила на свет ребенка-урода, она никогда не считалась виноватой. Вина всегда падала на мужа. Более того, если женщина раз за разом рожала болезненных младенцев, то поощрялось даже зачатие от другого мужчины.

Тем не менее ее муж должен был соблюдать все положенные табу и воспитывать ребенка как своего собственного.

Хайяма перешла в хижину Арасуве. — Я заберу эту девочку Мокототери. Из нее получится хорошая жена для моего сына, — сказала она, беря девочку за руку. — Она будет жить у меня в хижине.

— Я захватил женщину, — сказал Матуве. — Не нужна мне эта девчонка. Она слишком худая. Мне нужна крепкая женщина, которая родит мне здоровых сыновей.

— Она еще окрепнет, — невозмутимо сказала Хайяма. — Она еще зелена, но скоро созреет. Посмотри на ее груди. Они уже большие. К тому же, — добавила она, — Шотоми не будет против, если ты ее возьмешь. — Тут Хайяма повернулась к мужчинам, собравшимся у хижины Арасуве. — Никто ее пальцем не тронет. Я буду о ней заботиться, пока она не станет женой моего сына. С сегодняшнего дня она моя невестка.

Со стороны мужчин возражений не последовало, и Хайяма отвела девочку к себе в хижину. Остальные Мокототери робко сидели на земле у очага. — Я не буду тебя бить, — сказала Шотоми, беря руку девочки в свои ладони. — Но ты должна делать, что я тебе велю. — Матуве глуповато улыбался нам из дальнего угла хижины. Интересно, подумала я, то ли он гордится, что теперь у него две жены, то ли смущен тем, что его заставили взять девочку, хотя захватил он взрослую женщину.

— А что будет с остальными пленницами? — спросила я.

— Арасуве возьмет себе беременную, — заявила Хайяма.

— Откуда ты знаешь? — И, не дожидаясь ответа, я спросила, что будет с третьей.

— Ее отдадут кому-нибудь в жены после того, как ее возьмет всякий мужчина в *шабоно*, который этого пожелает, — ответила Хайяма.

— Но ее ведь уже насильовали участники набега, — возмутилась я.

Старая Хайяма расхохоталась. — Но не те, кто не принимал в нем участия. — Старуха потрепала меня по голове. — И нечего тебе возмущаться. Таков обычай. И меня как-то раз захватили в плен, и меня насильовало много мужчин. Мне еще повезло, и я нашла способ убежать. Нет, не перебивай меня. Белая Девушка, — сказала Хайяма, прикрыв мне ладонью рот. — Я сбежала не потому, что меня насильовали. Об этом я очень скоро забыла. Я сбежала из-за того, что меня заставляли тяжело работать и кормили впроголодь.

Как и предсказывала старуха, Арасуве взял себе беременную женщину.

— У тебя уже есть три жены, — крикнула ему самая младшая с искаженным от ярости лицом. — Зачем тебе еще одна? Нервно хихикая, две другие жены Арасуве наблюдали из своих гамаков, как младшая толкнула беременную женщину в горящий очаг. Арасуве выскочил из гамака, схватил горящую головню и подал ее упавшей женщине. — Обожги руку моей жене, — потребовал он, прижав свою младшую жену к столбу. Беременная с рыданиями прикрывала обожженное плечо ладонью.

— Давай, обожги! — кричала жена Арасуве, вывернувшись из крепкой хватки мужа. — Только попробуй, и я тебя живьем сожгу — и костей твоих никто не съест. Я разбросаю их по

лесу, и мы будем на них мочиться... Она смолкла, широко раскрыв глаза в неприятном изумлении, когда увидела, как сильно обожжено плечо пленницы. — Да ты и в самом деле обожглась! Тебе очень больно? Подняв глаза, женщина Мокототери утерла залитое слезами лицо. — Боль моя велика.

— Ах ты, бедняжка. — Жена Арасуве заботливо помогла ей подняться и отвела к своему гамаку, потом, достав из калабаша какие-то листья, осторожно приложила их к плечу женщины. — Все быстро заживет, уж я об этом позабочусь.

— Довольно тебе плакать, — сказала старшая жена Арасуве, подсаживаясь к женщине, и ласково похлопала ее по ноге. — Наш муж хороший человек. Он будет хорошо с тобой обращаться, а я позабочусь о том, чтобы никто в *шабоно* тебя не обижал.

— А что будет, когда родится ребенок? — спросила я Хайяму.

— Трудно сказать, — признала старуха. Она немного помолчала, словно глубоко задумавшись. — Может, она его убьет. Однако, если родится мальчик, Арасуве может попросить старшую жену вырастить его как своего сына.

Несколько часов спустя Арасуве размеренным гнусавым тоном начал рассказ о том, как проходил набег.

— В первый день мы *шли* медленно и часто останавливались передохнуть. Наши спины болели под тяжелыми гроздьями бананов. В первую ночь мы почти не спали, ибо дров было недостаточно, чтобы поддерживать тепло. Шел такой сильный дождь, что ночное небо, казалось, смешалось с темнотой вокруг нас. На следующий день мы зашагали уже немного быстрее и подошли к окрестностям деревни Мокототери. Хотя и в эту ночь мы находились в достаточном отдалении, чтобы нас могли обнаружить вражеские охотники, но все же мы были слишком близко, чтобы рискнуть развести огонь на привале.

Лицо Арасуве я видела лишь в профиль и замороженно смотрела, как оживленно, словно по собственной воле, двигаются красные и черные узоры на щеках в такт его речей. Перья в мочках ушей немного смягчали его суровое уставшее лицо и придавали рассказу игривый оттенок, несмотря на всю его жуть.

Несколько дней мы пристально следили за всеми передвижениями врага. У нас была задача убить этого Мокототери, не выдав всему *шабоно* нашего присутствия.

Однажды утром мы увидели, как мужчина, который убил отца Этевы, уходит в заросли с женщиной. Этева выстрелил ему в живот отравленной стрелой. Этот индеец был так ошеломлен, что даже не вскрикнул. Не успел он и глазом моргнуть, как Этева отправил ему в живот вторую стрелу, а потом еще одну в шею возле самого уха. Тут он и свалился замертво.

Словно оглушенный, Этева направился домой в сопровождении моего племянника. Тем временем Матуве отыскал спрятавшуюся в кустах женщину. Мы пригрозили убить ее, если она посмеет хотя бы кашлянуть, и Матуве вместе с моим самым младшим зятем повели упирающуюся женщину в нашу деревню. Позже все мы должны были встретиться в заранее назначенном месте. Пока остальные решали, не разделить ли нам на еще меньшие группы, мы увидели мать с маленьким сыном, беременную женщину и девочку, направляющихся в лес. Против такого искушения мы не устояли и тихонько пошли за ними следом. — Откинувшись в гамаке с руками, сплетенными за головой, Арасуве обвел глазами зачарованных слушателей.

Воспользовавшись тем, что вождь на минуту умолк, поднялся с места другой участник набег. Дав знак собравшимся, чтобы те освободили для него побольше места, он начал свой рассказ с тех самых слов, которыми начал Арасуве: — В первый день мы *шли* медленно.

Но за исключением этих слов, между двумя рассказами не было ничего общего. Бурно жестикулируя, рассказчик с напускным жаром изображал поведение и настроения различных участников похода, вводя таким образом юмористический и мелодраматический оттенок в

сухой деловой отчет Арасуве. Ободренный смехом и похвалами слушателей, мужчина принялся пространно рассказывать о двух самых младших участниках набега, которым было не больше шестнадцати-семнадцати лет. Они не только постоянно жаловались то на стертые в кровь ноги, то на другие болячки, но еще и до смерти боялись крадущихся ягуаров и разных духов во время второго ночлега, когда довелось спать, не разводя огня. Свое повествование мужчина пересыпал подробными сведениями насчет различной дичи и созревающих плодов — их цвета, величины и формы, — замеченных им по дороге.

Как только мужчина сделал паузу, возобновил свой отчет Арасуве. — Когда эти три женщины и девочка отошли достаточно далеко от *шабоно*, — продолжил вождь, — мы пригрозили, что застрелим их, если они попытаются бежать или закричать. Мальчишке удалось нырнуть в кусты, но мы не стали его преследовать, а как можно быстрее пошли восвояси, стараясь не оставлять следов. Мы не сомневались, что, обнаружив убитого, Мокототери немедленно отправятся за нами в погоню.

Незадолго до сумерек мать сбежавшего мальчишки вдруг вскрикнула от боли, сев на землю, схватилась за ногу и с горькими слезами пожаловалась, что ее укусила ядовитая змея. Ее душераздирающие крики так нас расстроили, что мы даже не проверили, была ли эта змея на самом деле. — Что было толку, — рыдала она, — моему сынишке бежать, если у него нет больше матери, которая бы о нем позаботилась? — И не прекращая вопить, что ей невыносимо больно, женщина заползла в кусты. Мы почти сразу поняли, что это уловка, и тщательно обыскали лес, но так и не смогли определить, куда она побежала.

Старый Камосиве смеялся от души. — Это хорошо, что она вас надула. Нет никакого смысла похищать женщину, у которой остался маленький ребенок. Такие либо плачут без конца, пока не заболеют, либо, что еще хуже, и вовсе сбегают.

Мужской разговор затянулся до самой зари, окутавшей *шабоно* покрывалом дождя. Посреди поляны стояла одинокая хижина, где пребывал в заточении Этева. Она была так тиха и обособлена — так близко и все же так далеко от людского смеха и говора.

Неделю спустя Этеву навестил Пуривариве. Управившись с печеным бананом и медом, старик попросил Ирамамове вдуть ему *эпену* и с пением заклинаний пустился в пляс вокруг хижины Этевы. — Мертвеца еще не сожгли, — объявил он. — Его тело уложили в корыто, повесили на высокое дерево, и там оно гниет. Не смей пока прерывать молчания. *Хекуры* мертвеца все еще находятся у тебя в груди. Сделай себе новые стрелы и лук. Скоро уже Мокототери сожгут гниющее тело, ибо из трупа уже выползают черви. — Старый *шапори* еще раз обошел кругом хижину Этевы и, приплясывая, удалился с поляны в лес.

Тремя днями позже Пуривариве объявил, что Мокототери уже сожгли тело убитого. — Вынь тростинки из ушей, отвяжи их от запястий, — сказал он, помогая Этеве подняться. — Через несколько дней отнесешь свой старый лук и стрелы к тому ободранному дереву, на котором ты повесил гамак и колчан.

Пуривариве повел Этеву в лес. Арасуве и еще несколько участников набега последовали за ними.

Вернулись они только под вечер. Волосы Этевы были подстрижены, тонзура выбрита, тело вымыто и заново раскрашено пастой оното. В мочках ушей красовались тростинки с продетыми в них перьями попугая ара. На нем были новые меховые наручные повязки, также украшенные перьями, и толстый хлопковый пояс, который сделала для него Ритими. Арасуве вручил Этеве полную корзину мелкой рыбешки, которую изжарил для него в листьях *пишаанси*.

Еще через три дня Этева в первый раз рискнул один пойти в лес. — Я подстрелил обезьяну, — объявил он несколько часов спустя, выйдя на поляну. Как только его окружила группа мужчин, он подробно объяснил им, где можно найти убитого зверя.

Чтобы заручиться в будущем помощью и защитой *хекур* на охоте, Этева еще дважды уходил в лес один. Каждый раз он возвращался без добычи и сообщал остальным, где ее можно найти. Этева не съел ни кусочка мяса подстреленных им обезьяны и двух пекари.

В один прекрасный день он вернулся с висящей за спиной куропаткой и снял кожу с головки птицы, оставив себе только полоску с курчавыми черными перьями. Теперь она будет служить ему наручной повязкой. Маховые перья он отложил для оперения стрел. На самолично сделанной деревянной решетке он изжарил почти двухфунтовую птицу. Затем, убедившись, что она хорошо прожарилась, он принялся делить ее между детьми и двумя женами.

— А Белая Девушка твоя жена или твой ребенок? — крикнула из своей хижины старая Хайяма, увидев, как Этева подает мне кусок темной грудки.

— Она моя мать, — ответил Этева под хохот Итикотери.

Прошло несколько дней, и под присмотром Арасуве был приготовлен густой банановый суп. В корыто с супом Этева опорожнил небольшой калабаш. Ритими сказала мне, что это остатки истолченных костей отца Этевы. По лицам мужчин и женщин, глотавших суп, катились слезы.

Я приняла из рук Этевы тыквенный черпак с супом и оплакала его умершего отца.

Как только корыто опустело, Арасуве крикнул во всю мочь: — Какой *ваутери* живет среди нас! Он убил своего врага. Он пронес в своей груди *хекуры* мертвеца, и его не сломил ни голод, ни одиночество заточения.

Этева обошел поляну по кругу. — Да, я *ваутери*, — запел он. — *Хекуры* мертвеца могут погубить самого сильного воина. Очень тяжело нести эту ношу столько дней.

От печали и умереть можно. — И Этева стал приплясывать.

— Я больше не думаю о человеке, которого убил. Я пляшу с тенями ночи, а не с тенями смерти. — Чем дольше он плясал, тем легче и быстрее становились его шаги, словно этими движениями он наконец сбрасывал тяжелое бремя, которое носил в груди.

Долго еще по вечерам мужчины обсуждали все перипетии набега. Даже у старого Камосиве появилась своя версия. Единственное, что объединяло все эти рассказы с истинным ходом событий, было то, что Этева убил человека, а три женщины были захвачены в плен. Со временем осталась лишь смутная память о том, как все было на самом деле, а набег превратился в историю из далекого прошлого, как и все прочие истории, которые Итикотери так любят рассказывать.

Крошечные ножки, сучащие по моему животу, вывели меня из мечтательной дремоты. В одно мгновение в голове пронеслись яркие живые образы минувших дней, недель и месяцев. Слова протеста так и заглохли на моих губах, когда Тутеми уложила мне на живот Хоашиве. Я взяла младенца на руки, чтобы не разбудить Тешому, уснувшую в моем гамаке в ожидании, пока я проснусь. Достав погремушку Хоашиве из нанизанных на лиану лягушачьих черепов, которая висела у изголовья моего гамака, я повертела ее перед малышом. Тот, радостно гукая, потянулся за игрушкой.

— Ты уже не спишь? — пробормотала Тешома, легонько коснувшись моей щеки. — Я думала, ты целый день будешь спать.

— Я думала обо всем, что увидела и чему научилась с тех пор, как пришла сюда, — сказала я, беря ее ручку в свою. Узкая ладошка, длинные изящной формы пальцы выглядели удивительно взрослыми для пятилетней девочки и резко контрастировали с детскими ямочками на щеках. — Я и не заметила, что солнце уже взошло.

— Ты даже не заметила, как мои братья выбрались из твоего гамака, когда испеклись бананы, — сказала Тешома. — Ты так крепко задумалась? — Нет, — рассмеялась я. — Это было больше похоже на сновидение. Кажется, время остановилось с того дня, как я пришла в шабоно.

— А по-моему, прошло много времени, — серьезно заметила Тешома, глядя мягкие волосики своего сводного брата. — Когда ты к нам только пришла, младенец еще спал в животе у Тутеми. Я хорошо помню день, когда мои мамы нашли тебя. — И, захихикав, девочка уткнулась мне лицом в шею. — Я знаю, почему ты тогда плакала. Ты боялась моего дядю Ирамамове — у него уродливое лицо.

— В тот день, — заговорщицки прошептала я, — я боялась всех Иतिकотери. — Почувствовав, как по животу потекло что-то теплое и мокрое, я на вытянутых руках чуть отстранила от себя Хоашиве.

Сидящий верхом на своем гамаке Этева весело заулыбался, глядя, как его сын пускает струю в огонь очага.

— Всех нас? — спросила Тешома. — Даже моего отца и дедушку? Даже моих мам и старую Хайяму? — Наклонившись к моему лицу, она недоверчиво и чуть встревоженно всмотрелась в мои глаза, словно пытаясь что-то найти в них. — Ты и меня боялась? — Нет. Тебя я не боялась, — заверила я ее, подбрасывая в воздух улыбающегося Хоашиве.

— И я тебя не боялась. — Со вздохом облегчения Тешома откинулась в гамаке. — Я не спряталась, как почти все дети, когда ты в первый раз вошла к нам в хижину. Мы слышали, что белые люди очень высокие и волосатые, как обезьяны. А ты была такая маленькая. Я знала, что ты не можешь быть настоящей белой.

Надежно закрепив на спине корзину, Тутеми взяла у меня с колен ребенка и ловко усадила его в петлю из мягкого луба у себя на груди. — Готово, — сказала она, улыбнувшись и вопросительно взглянула на Этеву и Ритими.

Этева усмехнулся и взял в руки мачете, лук и стрелы.

— Ты придешь попозже? — спросила Ритими, поправляя в носу длинную тонкую палочку. Уголки ее рта, лишённые привычных палочек, приподнялись в улыбке, обозначив ямочки на щеках. Слово почувствовав мою нерешительность, Ритими не стала дожидаться ответа и вслед за мужем и Тутеми пошла на огороды.

— Хайяма идет, — прошептала Тешома. — Хочет знать, почему ты не пришла есть печеные бананы. — Девочка выскользнула из гамака и побежала к играющей неподалеку компании

ребятишек.

Хайяма, что-то ворча себе под нос, прошла через хижину Тутеми. Ее старческая кожа длинными вертикальными складками висела на бедрах и животе. Напустив на себя строгую мину, она подала мне половинку калабаша с банановым пюре. Потом со вздохом уселась в гамак Ритими и стала раскачиваться, взяв рукой по земле, явно замороженная ритмичным поскрипыванием узла на лиане. — Жаль, что мне так и не удалось тебя откормить, — после долгого молчания сказала старуха.

Я стала убеждать Хайяму, что ее бананы творят настоящие чудеса, и что еще немного, и я даже начну толстеть.

— Не так уж много этого времени, — тихо заметила Хайяма. — Ты же уйдешь в миссию.

— Что? — вскричала я, пораженная недвусмысленностью ее тона. — Кто такое говорит? — Милагрос перед уходом взял с Арасуве обещание, что если нам придется перебраться на один из старых огородов в глубине леса, то тебя мы с собой не возьмем. — Черты Хайямы смягчило ностальгическое, почти мечтательное выражение глаз, когда она напонила, что довольно много семей уже ушло на старые огороды еще несколько недель назад. Полагая, что они скоро вернуться, я не обратила тогда на это внимания. Хайяма же говорила дальше, что большое семейство Арасуве со всеми его родными и двоюродными братьями, сыновьями и дочерьми не отправилось вслед за остальными по той простой причине, что вождь ожидает вестей от Милагроса.

— Значит, жители покинут это *шабоно*? — спросила я. — А как же здешние огороды? Их же совсем недавно расширили. И что будет с молодыми посадками бананов? — взволнованно продолжала спрашивать я.

— Они будут расти. — Лицо Хайямы сморщилось в веселой улыбке. — Здесь останутся старики и большинство детей. Мы построим временные хижины поближе к банановым посадкам, потому что никому неохота жить в опустевшем *шабоно*. Мы будем ухаживать за огородами, пока не вернуться остальные. К тому времени созреют и бананы, и плоды *раша*, и снова наступит пора праздника.

— Но почему уходит так много народу Иतिकотери? — спросила я. — Разве здесь недостаточно еды? Хайяма сказала напрямик, что с продовольствием сейчас туго, однако подчеркнула, что старые огороды превратились в настоящую кормушку для обезьян, птиц, агути, пекари и тапиров. Там мужчины смогут без особого труда охотиться, а женщины отыщут на огородах множество корней и плодов, чтобы продержаться, пока не будет дичи. — К тому же, — продолжала Хайяма, — временное переселение всегда полезно, особенно после набега. Не будь я так стара, я бы тоже ушла.

— Как на выходной, — заметила я.

— Да. Выходной, — рассмеялась Хайяма, когда я объяснила значение слова. — О, как бы я хотела пойти и сидеть себе в тени, обедаясь плодами *кафу*.

Деревья *кафу* высоко ценятся за их кору и лубяные волокна. Гроздь плодов, величиной около десяти дюймов каждый, теснятся на одном общем стебле. Мясистый желеобразный плод полон крошечных семян и по вкусу напоминает перезрелый инжир.

— Если мне нельзя перебраться с Арасуве и его семейством на старые огороды, — сказала я, присев у изголовья Хайямы, — тогда я останусь с тобой. Мне незачем возвращаться в миссию. Мы вместе станем ждать возвращения остальных.

В глазах Хайямы, остановившихся на моем лице, появился неестественный блеск. Медленно, тщательно обдумывая каждое слово, она растолковала мне, что хотя и не в обычаях их племени учинять набеги на опустевшие *шабоно* или убивать стариков и детей, Мокототери наверняка устроят какую-нибудь пакость, если узнают, — а старуха заверила меня, что узнают

непременно, — что я осталась в незащищенной деревне.

Меня пробрала дрожь при воспоминании о том, как несколько недель назад в *шабоно* явилась ватага мужчин Мокототери, вооруженных дубинками, и потребовала возвращения своих женщин. После бурного обмена угрозами и оскорблениями Арасуве заявил воинам Мокототери, что по дороге домой они сами освободили одну из похищенных женщин. Он подчеркнул, что их ни на минуту не ввела в заблуждение ее уловка со змеиным укусом. Тем не менее, после некоторых препирательств вождь неохотно отдал им девочку, которую Хайяма выбрала в жены своему младшему сыну. Пригрозив скорым возмездием, Мокототери убралась восвояси.

Этева пояснил мне, что хотя Мокототери не собирались затевать перестрелку, поскольку оставили луки и стрелы спрятанными в лесу, вождь поступил мудро, быстро отдав им девочку. Итикотери уступали им в численности, так как несколько мужчин уже ушли на заброшенные огороды.

— А когда Арасуве пойдет на старые огороды? — спросила я Хайяму.

— Очень скоро, — сказала она. — Арасуве отправил несколько человек на поиски Милагроса. Правда, до сих пор им не удалось его отыскать.

Я в душе улыбнулась и самодовольно заметила: — Похоже, что несмотря на обещание Арасуве, я все-таки пойду с Ритими и Этевой.

— Не пойдешь, — уверенно заявила Хайяма с коварной усмешкой. — Мы должны защитить тебя не только от Мокототери. По пути на огороды тебя может похитить *шанори* и держать в отдаленной хижине как свою жену.

— Сомневаюсь, — хихикнув, заметила я. — Ты мне сама говорила, что меня, такую тощую, не захочет ни один мужчина. — И я рассказала старухе о том, что приключилось в горах между мной и Этевой.

Прижав к обвисшим грудям скрещенные руки, Хайяма хохотала до тех пор, пока по ее морщинистым щекам не покатались слезы. — Да, Этева готов взять первую попавшуюся женщину, — сказала она. — Но тебя он боится. — И наполовину высунувшись из гамака, Хайяма прошептала: — *Шанори* — это не обычный мужчина. Он не захочет иметь тебя для собственного удовольствия. *Шанори* необходимо иметь в своем теле женское начало. — Тут она снова откинулась в гамак. — А ты знаешь, где находится женское начало? — Нет.

Старуха посмотрела на меня, как на полоумную. — Во влагалище, — наконец выговорила она, задыхаясь от смеха.

— По-твоему, Пуривариве мог бы меня похитить? — насмешливо спросила я. — А по-моему, он слишком стар, чтобы интересоваться женщинами.

Глаза ее раскрылись в искреннем изумлении. — Ты что, ничего не видела? Тебе никто не рассказывал, что старый *шанори* будет крепче любого мужчины в *шабоно*? — спросила она. — Бывает, по ночам этот старик ходит из хижины в хижину и трахает всех женщин подряд, не зная устали. А на заре, возвращаясь в лес, он свеж и полон сил как ни в чем не бывало. — Хайяма, правда, заверила, что Пуривариве не стал бы меня похищать, ибо ему уже ничего не нужно. Она, однако, предупредила меня, что есть и другие шаманы, не столь могущественные, как этот старик, которые вполне на это способны.

Закрыв глаза, она громко вздохнула. Я было подумала, что она уснула, но словно почувствовав, что я собираюсь подняться, старуха резко обернулась, положила обе руки мне на плечи и спросила дрогнувшим от волнения голосом: — Знаешь, почему тебе так нравится у нас? Я недоуменно взглянула на нее и не успела открыть рот, чтобы ответить, как Хайяма продолжила: — Ты счастлива у нас, потому что у тебя нет никаких обязанностей. Ты живешь как мы. Ты хорошо выучилась говорить по-нашему и знаешь многие наши обычаи. Для нас ты не ребенок и не взрослый, не мужчина и не женщина. Мы ничего от тебя не требуем. Иначе ты бы

стала обижаться на нас. — Глаза Хайямы, удерживавшие мой взгляд, так потемнели, что мне стало не по себе. На ее морщинистом лице они казались громадными и яркими, словно горели каким-то неистощимым внутренним светом. После долгой паузы она добавила с вызовом: — Если бы тебе довелось стать женщиной *шапори*, ты была бы очень несчастлива.

В ее словах я почувствовала угрозу. Тем не менее, гордя в ответ всякую чепуху в свою защиту, я внезапно поняла, что она права, и мне неудержимо захотелось рассмеяться.

Старуха ласково прижала пальцы к моим губам. — В дальних уголках леса, где обитают *хекуры* зверей и растений, живут могущественные *шапори*, — сказала Хайяма.

— Во мраке ночи эти мужчины сходятся с прекрасными женскими духами.

— Я очень рада, что я не прекрасный дух, — сказала я.

— Нет. Ты не красавица. -Я не в состоянии была обидеться на нелестное замечание Хайямы, сказанное под вкрадчивый смех и с чуть насмешливым взглядом. — Однако для многих из нас ты особа необычная.

С неожиданной нежностью в голосе она принялась объяснять мне, почему Мокототери так хотели забрать меня к себе в *шабоно*. Их интерес ко мне был вызван не теми традиционными причинами, по которым индейцы ищут дружбы с белыми, — получением мачете, посуды и одежды, — но тем, что по мнению Мокототери, я обладаю некоей силой. До них дошли слухи и о том, как я вылечила маленькую Тешому, и о случае с *эпенной*, и о том, как Ирамамове увидел отражение *хекур* в моих глазах. Они даже видели, как я стреляла из лука.

Все мои попытки внушить старухе, что никакой особой силой я не обладаю, и один лишь здравый рассудок помог мне вылечить простуженного ребенка, оказались тщетными. Я стала доказывать, что и ее можно считать обладательницей дара исцеления, — она ведь вправляет кости и готовит какие-то тайные отвары из внутренностей животных, корней и листьев для лечения укусов, царапин и порезов. Но все мои доводы пропали впустую. Для нее существовала громадная разница между вправлением кости и заманиванием заблудшей души ребенка обратно в тело.

На это, подчеркивала она, способен только *шапори*.

— Но это же Ирамамове вернул ее душу, — упорствовала я. — Я только вылечила ее от простуды.

— Нет, не он, — настаивала Хайяма. — Он слышал твои заклинания.

— Это была молитва, — слабо возразила я, осознавая, что молитва в сущности ничем не отличается от заклинаний Ирамамове к *хекурам*.

— Я знаю, что белые не такие, как мы, — перебила меня Хайяма, решительно настроенная не допускать моих дальнейших возражений. — Я говорю о совершенно иных вещах. Даже если бы ты по рождению была Итикотери, ты все равно была бы непохожа на Ритими, Тутеми или на меня. — Хайяма коснулась моего лица, проведя длинными костлявыми пальцами по лбу и щекам. — Моя сестра Анхелика никогда не стала бы просить тебя пойти с нею в лес. Милагрос никогда не привел бы тебя к нам, будь ты похожа на тех белых, которых он знает. — Она задумчиво посмотрела на меня и, словно запоздалая мысль только что пришла ей в голову, добавила: — Интересно, был бы любой другой белый так же счастлив с нами, как ты? — Наверняка да, — тихо сказала я. — Не так уж много на свете белых, у которых есть шанс сюда попасть.

Хайяма пожала плечами. — Ты помнишь историю об Имаваами, женщине-*шапори*? — спросила она.

— Это же миф! — и опасаясь, что старуха попытается провести какую-то параллель между Имаваами и мной, я поспешно добавила: — Это ведь как история о птичке, которая похитила огонь из пасти аллигатора.

— Может быть, — мечтательно заметила Хайяма. — Я в последнее время много думала над тем, что рассказывали мне отец, дед и прадед о белых людях, которых они видели путешествующими по большим рекам. Должно быть, белые путешествовали по лесам задолго до времен моего прадеда.

Возможно, Имаваами была одной из них. — Хайяма склонила ко мне серьезное лицо и продолжала шепотом: — Должно быть, какой-нибудь *шапори* похитил ее, полагая, что белая женщина — это прекрасный дух. Но она оказалась могущественнее самого *шапори*. Она похитила его *хекуры* и сама стала колдуньей. — И Хайяма посмотрела на меня с вызовом, словно ожидая возражений.

Рассуждения старухи меня не удивили. Для Итикотери было обычным делом подстраивать свою мифологию к современности либо вводить в нее факты реальной жизни. — А индейские женщины становятся когда-нибудь *шапори*? — спросила я.

— Да, — не задумываясь ответила Хайяма. — Странные существа эти женщины-*шапори*. Подобно мужчинам, они охотятся с луком и стрелами. Свои тела они украшают точками и пятнами, как у ягуара. Они вдыхают *эпену* и песнями заманивают *хекур* к себе в грудь. Женщины-*шапори* имеют мужей, которые им служат. Но стоит им родить ребенка, как они снова становятся обыкновенными женщинами.

— Анхелика была такой *шапори*, правда? — Я не сразу поняла, что произнесла эту мысль вслух. Она просто явилась мне с очевидностью откровения. Я припомнила, как Анхелика вызволила меня из кошмарного сна в миссии, как меня успокоила ее невразумительная песня.

Она походила не на мелодичные песни женщин Итикотери, а на монотонные заклинания шаманов. Как и они, Анхелика, казалось, имела два голоса: один — исходящий откуда-то из самых глубин ее существа, и другой — из гортани. Я вспомнила и те дни, когда шла через лес вместе с Милагросом и Анхеликой, и то, как очаровали меня слова Анхелики о таящихся в сумраке лесных духах, и о том, что с ними всегда надо лишь плясать, не позволяя им пасть на себя тяжким бременем. Передо мной встал живой образ Анхелики, как она плясала в то утро, — с поднятыми над головой руками, семена мелкими подпрыгивающими шажками, как пляшут мужчины Итикотери, одурманенные *эпеной*. До сих пор мне не казалось странным, что Анхелика, в отличие от прочих индейских женщин в миссии, сочла для меня вполне естественным делом приехать в джунгли на охоту.

Из раздумий меня вывели слова Хайямы: — Моя сестра говорила тебе, что она *шапори*? — Глаза Хайямы наполнились глубокой печалью, в уголках блеснули слезы, но они так и не покатались по щекам, а затерялись в сеточке мелких морщин.

— Никогда не говорила, — пробормотала я и улеглась в гамак. Свесив ногу, я тоже стала раскачиваться вперед и назад, приравливая свой ритм к ритму Хайямы, чтобы узлы гамаков поскрипывали в унисон.

— Моя сестра была *шапори*, — сказала Хайяма после долгого молчания. — Я не знаю, что с ней было после ухода из *шабоно*. Пока она была с нами, она была почитаемым всеми *шапори*, но родив Милагроса, она утратила всякую силу. — Хайяма резко села. — Его отец был белый.

Я прикрыла глаза, боясь, что они выдадут мое любопытство, и затаила дыхание, чтобы ни малейший звук не прервал воспоминаний старухи. Нечего было и думать о том, чтобы узнать, из каких краев был отец Милагроса.

Независимо от национальности, любой не-индеец именовался нам.

— Отец Милагроса был белый, — повторила Хайяма. — Давным-давно, когда мы жили ближе к большой реке, в нашей деревне поселился один *напе*. Анхелика надеялась, что сможет заполучить его силу. А вместо этого забеременела.

— Почему же она не избавилась от ребенка? Морщинистое лицо Хайямы расплылось в

широкой улыбке. — Возможно, Анхелика была слишком уверена в себе, — пробормотала старуха. — А может, надеялась, что, родив ребенка от белого, она все равно останется *шапори*.

Рот Хайямы широко раскрылся в хохоте, обнажив желтоватые зубы. — В Милагросе нет ничего от белого, — лукаво заметила она. — Несмотря даже на то, что Анхелика забрала его с собой. Несмотря на все то, чему он научился у белых, Милагрос навсегда останется Итикотери. — Глаза Хайямы светились твердо и непреклонно, а лицо выдавало смутное затаенное торжество.

Мысль о том, что скоро придется возвращаться в миссию, наполнила меня тревогой. Несколько раз со времени моей болезни я пыталась представить себе возвращение в Каракас и Лос-Анжелес. Каково мне будет встретиться с родней и друзьями? В такие моменты я точно знала, что никогда не уйду отсюда по собственной воле.

— Когда Милагрос отведет меня в миссию? — спросила я.

— Не думаю, чтобы Арасуве стал дожидаться Милагроса. Вождь не может больше откладывать свой уход, — сказала Хайяма. — Тебя отведет Ирамамове.

— Ирамамове! — воскликнула я, не веря своим ушам. — А почему не Этева? Хайяма принялась терпеливо объяснять мне, что Ирамамове несколько раз бывал в окрестностях миссии и знает дорогу лучше всякого другого Итикотери. Существовала также вероятность того, что Этеву выследят охотники Мокототери, и тогда его убьют, а меня похитят. — С другой стороны, — заверила меня Хайяма, — Ирамамове может сделаться в лесу невидимым.

— Но я-то не могу! — возразила я.

— Тебя будут оберегать *хекуры* Ирамамове, — убежденно заявила Хайяма. Затем старуха тяжело поднялась, немного постояла, уперевшись руками в бедра, взяла меня за руку и неторопливо повела к себе в хижину. — Ирамамове уже охранял тебя прежде, — напомнила она, усаживаясь в свой гамак.

— Да, — согласилась я. — Но я не могу отправиться в миссию без Милагроса. Мне нужны сардины и сухари.

— От этого добра тебя только стошнит, — пренебрежительно сказала она и пообещала, что по дороге мне голодать не придется, поскольку стрелы Ирамамове добудут уйму дичи. К тому же она даст мне с собой полную корзину бананов.

— У меня не хватит сил тащить такой тяжелый груз, — возразила я, зная, что Ирамамове не понесет ничего, кроме лука и стрел.

Хайяма какое-то время разглядывала меня с мягкой улыбкой, потом растянулась в гамаке, зевнула во весь рот и вскоре заснула.

Я вышла на поляну. Ватага ребятишек — в основном девочек — играла со щенком. Каждая пыталась заставить щенка сосать из своих плоских сосков.

За исключением немногих стариков, лежащих в своих гамаках, да нескольких женщин у очагов, в хижинах никого не было. Переходя от жилища к жилищу, я думала, знают ли они, что мне приходит пора уходить. Какой-то старик угостил меня своей табачной жвачкой. Я с улыбкой отказалась. «Как можно отказываться от такого угощения?» — казалось, говорили его глаза, пока он запихивал жвачку на свое место между нижней губой и десной.

Ближе к вечеру я зашла в хижину Ирамамове. Его старшая жена, только что вернувшись с реки, подвешивала к стропилам наполненные водой калабаши. Мы подружились с той поры, как ее сын Шорове был посвящен в *шапори*, и много предвечерних часов провели в разговорах о нем. Время от времени Шорове возвращался в *шабоно* лечить людей от простуды, лихорадки и поноса. Он пел заклинания к *хекурам* с не меньшим рвением и силой, чем более опытные шаманы. Однако, по мнению Пуривариве, пройдет еще немало времени, прежде чем Шорове сможет направлять своих духов чинить вред в селении врага. Только тогда он будет считаться

вполне оперившимся колдуном.

Жена Ирамамове налила в небольшой калабаш немного воды и добавила меду. Я не сводила жадных глаз с вязкой массы, начиненной пчелами на разных стадиях развития. Тщательно размешав все пальцем, она подала мне сосуд, и причмокивая при каждом глотке, я выпила все до дна и вылизала доньшко. — До чего же вкусно! — воскликнула я. — Наверняка это мед пчел *амоши*. Это была нежалящая разновидность, которая очень ценилась за темный душистый мед.

Согласно улыбнувшись, жена Ирамамове дала мне знак сесть рядом с ней в гамак и стала искать у меня на спине укусы mosкитов и блох. Обнаружив два свежих укуса, она высосала из них яд. Свет, проникавший в хижину, потускнел. Казалось, бесконечно много времени прошло после утреннего разговора с Хайямой. И я сонно закрыла глаза.

Мне приснилось, что я с детьми на реке. Тысячи бабочек слетали с деревьев, кружа в воздухе, словно осенние листья. Они садились на наши волосы, лица, тела, покрывая нас зыбким золотым светом сумерек. Я горестно смотрела на прощальные взмахи их крылышек, словно чьих-то нежных ручек. — Не надо грустить, — говорили дети. А я заглядывала в каждое лицо и целовала смех на их губах.

Вместо привычного бамбукового ножа Ритими подстригла мне волосы острой травинкой. Сосредоточенно хмурясь, она старательно подровняла концы волос по всей окружности головы.

— Не трогай тонзуру, — сказала я, прикрыв макушку обеими руками. — Там больно.

— Не будь такой трусихой, — рассмеялась Ритими. — Не хочешь же ты появиться в миссии, как дикарка.

Я не смогла втолковать ей, что буду очень курьезно выглядеть среди белых с выбритым кружком на темени.

Ритими утверждала, что дело здесь не столько в эстетических соображениях, сколько в чисто практических.

— Вши, — заметила она, — больше всего любят это самое место. Ирамамове наверняка не станет искать тебе вшей по вечерам.

— Может быть, ты тогда обреешь мне голову наголо, — предложила я. — Это лучший способ от них избавиться.

Ритими посмотрела на меня с ужасом. — Только очень больные люди бреют себе голову. Ты же изуродуешь себя.

Согласно кивнув, я поручила себя ее заботам. Покончив с бритьем, она натерла плешь пастой *оното*, потом очень аккуратно раскрасила мне лицо. Она провела широкую прямую линию чуть ниже челки и волнистые линии по щекам, расставив между ними ряды точек. — Какая досада, что я не сделала тебе проколов в носу и уголках рта сразу же, как ты к нам пришла, — сказала она разочарованно. Вынув тонкую отполированную палочку из ноздрей, она приложила ее к моему носу. — Как бы это было красиво, — вздохнула она в комическом отчаянии и принялась раскрашивать мне спину широкими полосами *оното*, закруглявшимися ближе к ягодицам. Спереди, начав немного ниже груди, она провела волнистые линии до самых бедер. И наконец обвела мои колени широкими красными полосами. Глядя на мои ноги, можно было подумать, что я хожу в носках.

Тутеми повязала мне на талии новенький хлопковый пояс так, чтобы бахрама прикрывала лобок. Довольная моим внешним видом, она хлопнула в ладоши и запрыгала на месте. — Ах, еще уши! — воскликнула она, дав знак Ритими подать связку пушистых белых перьев, и привязала их к моим сережкам. На предплечьях и под коленями Тутеми повязала красные хлопковые шнурки.

Обнимая за талию, Ритими повела меня от хижины к хижине, чтобы все Иतिकотери могли мною полюбоваться. В последний раз я видела свое отражение в блестящих глазах женщин и веселье в насмешливых улыбках мужчин. Старый Камосиве, зевнув, потянулся так, что его костлявые руки чуть не выскочили из суставов. Открыв свой единственный глаз, он стал пристально изучать мое лицо, словно старался запомнить каждую черточку. Медленными осторожными движениями он развязал мешочек, висевший у него на шее, и достал из него подаренную мной жемчужину. — Я буду думать о тебе, когда буду катать этот камешек в ладонях.

Отказываясь поверить в то, что никогда больше нога моя не ступит сюда, в *шабоно*, что никогда больше меня не разбудит смех ребятишек, забравшихся на заре ко мне в гамак, я заплакала.

Прощания не было. Я просто пошла в лес следом за Ирамамове и Этевой. Позади шли Ритими и Тутеми, будто бы выбравшись в лес за дровами. Целый день мы молча шагали по тропе, делая лишь короткие остановки, чтобы перекусить.

Солнце уже опускалось за линию деревьев, когда мы остановились в густой тени трех гигантских сейб. Они росли так близко друг от друга, что казались одним деревом.

Ритими отвязала корзину, которую несла вместо меня. В ней были бананы, жареное обезьянье мясо, калабаш с медом, несколько пустых сосудов, мой гамак и рюкзак, в котором лежали джинсы и рваная майка.

— Тебя не станет одолевать грусть, если всякий раз после купания в реке ты будешь раскрашивать себе тело пастой *оното*, — сказала Ритими, повязывая мне на пояс маленький калабаш, отполированный листьями. Белый и гладкий, он висел у меня на поясе, как огромная слеза.

Лес, три улыбающихся лица — все поплыло передо мной. Не говоря ни слова, Ритими первая направилась в заросли. Только Этева обернулся перед тем, как растаять в сумраке. Лицо его осветила улыбка, и он взмахнул мне рукой, как это часто у него на глазах делал, прощаясь, Милагрос.

А я полностью отдалась воцарившейся во мне пустоте.

Легче от этого не стало, наоборот, меня лишь еще сильнее охватило уныние. И все же, чувствуя себя совершенно несчастной, я как-то странно осознавала присутствие этих трех сейб. Словно во сне, я узнала эти деревья. Когда-то я уже была на этом самом месте. И Милагрос сидел передо мной на корточках и бесстрастно смотрел, как дождь смывает пепел Анхелики с моего лица и тела. Сегодня на том же месте сидел Ирамамове и смотрел, как слезы безудержно катятся по моим щекам.

— Вот здесь я впервые встретила Ритими, Тутеми и Этеву, — сказала я, только теперь поняв, что Ритими намеренно пошла провожать меня так далеко. Я поняла все, что осталось недосказанным, поняла, как глубоки были ее чувства. Она вернула мне корзину и калабаш, — две вещи, которые я несла в тот далекий день. Только теперь в сосуде был не пепел, а *оното*, символ жизни и счастья. Тихое одиночество, смиренное и безропотное, заполонило мое сердце. Осторожно, чтобы не смазать раскраску с лица, я отерла слезы.

— Может быть, Ритими еще когда-нибудь найдет тебя на этом же месте, — сказал Ирамамове, и его обычно суровое лицо смягчилось в мимолетной улыбке. — Пройдем-ка еще немного до ночлега. — И взяв тяжелую банановую гроздь из моей корзины, он забросил ее на плечо. Спина его слегка изогнулась, живот выпятился.

Должно быть, Ирамамове что-то подгоняло в дорогу не меньше, чем меня. А мои ноги, казалось, шагали сами по себе, точно зная, куда ступить в темноте. Я не упускала из виду колчан Ирамамове, прижатый к спине банановой гроздью. Я шла сквозь тьму, и мне виделось, что это лес от меня уходит, а не я от него.

— Заночуем здесь, — сказал Ирамамове, осмотрев потрепанный непогодой навес в стороне от тропы. Там он развел небольшой огонь и повесил свой гамак рядом с моим.

Лежа без сна, я смотрела сквозь дыру в крыше на звезды и тающую луну. В темноте начал сгущаться туман, пока не осталось ни искорки света. Деревья и небо образовали сплошную массу, сквозь которую мне представлялись луки, густым дождем сыплющиеся из туч, *хекуры*, вздымающиеся из невидимых расщелин в земле и пляшущие под песни шамана.

Солнце было уже высоко, когда меня разбудил Ирамамове. Разделавшись с печеным бананом и куском обезьяньего мяса, я предложила ему свой калабаш с медом.

— Тебе это понадобится на многие дни пути. — Ласковый взгляд смягчил слова отказа. — По дороге мы найдем еще, — пообещал он, берясь за мачете, лук и стрелы.

Мы шли ровным шагом, причем намного быстрее, чем я когда-либо ходила в жизни. Мы переправлялись через реки, взбирались и спускались по холмам без каких-либо узнаваемых ориентиров. Дни переходов, ночи сна сменялись, обгоняя друг друга. Мои мысли не покидали

пределов каждого отдельного дня или ночи. А между ними не было ничего, кроме стремительной зари и вечерних сумерек, когда мы садились поесть.

— Я знаю это место! — воскликнула я однажды, прервав долгое молчание, и указала на торчащие из земли черные скалы, которые встали вертикальной стеной вдоль речного берега. Но чем дальше я смотрела, тем меньше была уверена, что когда-то бывала здесь. Я перелезла через поваленное дерево, во всю длину лежащее на воде. Целый день царило полное безветрие, но теперь листва легонько зашевелилась, пуская по течению шепот свежего ветерка. Изогнутые ветви и ползучие растения касались водной глади и погружались в темную глубину, отпугивая рыб и москитов. — Нам уже недалеко до миссии? — спросила я, повернувшись к Ирамамову.

Он не ответил и спустя мгновение, словно раздосадованный молчанием, которого сам не захотел нарушить, дал мне знак идти дальше.

Я устала — каждый шаг давался мне с трудом, хотя не припомню, чтобы мы так уж много прошли в тот день. Услышав крик птицы, я подняла голову. С ветки, словно гигантская бабочка спорхнул желтый лист и, боясь упасть и сгнить на земле, прилип к моей ноге. Ирамамове выпрямил руку за спиной, ведя мне замереть на месте, затем крадучись стал пробираться вдоль берега. — Сегодня на ужин у нас будет мясо, — шепнул он и растворился в неверном свете. Тело его стало лишь черточкой на фоне мерцающей реки.

Улегшись на темный песок, я вначале смотрела, как на короткое время вспыхнуло небо, когда земля поглотила солнце. Потом я допила остатки меда, найденного утром Ирамамове, и уснула со сладостью на губах. Я проснулась от потрескивания костра и перевернулась на живот. На небольшой решетке Ирамамове поджаривал почти двухфутового агути.

— Нехорошо спать по ночам без огня, — сказал он, повернув ко мне лицо. — Тебя могут околдовать лесные духи.

— Я так устала, — и зевнув, я подвинулась ближе к огню. — Я могла бы проспать несколько дней кряду.

— Ночью будет дождь, — объявил Ирамамове и начал устанавливать вокруг костра три шеста, опоры нашего убежища. Я помогла ему накрыть хижину банановыми листьями, которые он нарезал, пока я спала. Он подвесил гамаки ближе к огню, чтобы мы, не вставая, могли подталкивать поленья в костер.

Сочное и нежное мясо агути напоминало по вкусу жареную свинину. Недоеденные остатки Ирамамове подвязал к шесту высоко над огнем. — Остальное мы съедим утром. — И с довольной улыбкой он растянулся во весь рост в гамаке. — Оно даст нам силы, чтобы подняться в горы.

— Горы? — спросила я. — Когда я шла сюда с Анхеликой и Милагросом, на пути у нас были только холмы. — Я наклонилась к Ирамамову. — Единственный раз я поднималась в горы, когда возвращалась в *шабоно* с Ритими и Этевой после праздника у Мокототери. Эти горы были недалеко от *шабоно*. — Я коснулась его лица. — Ты уверен, что знаешь дорогу в миссию? — Что за вопрос, — ответил он, закрыв глаза и скрестив руки на груди. Его щетинистые брови вразлет расходились к вискам. На верхней губе виднелось несколько волосков. Кожа на высоких скулах была туго натянута, от раскраски *оното* остался едва заметный след. Словно раздраженный моим пристальным взглядом, он открыл глаза; в них отражался свет костра, но взгляд не выражал ничего.

Я улеглась в гамак и провела пальцами по лбу и щекам, чтобы проверить, не сошли ли и с моего лица нарисованные узоры. Завтра выкупаюсь в реке, подумала я. И все мое беспокойство, а скорее всего, просто усталость, исчезнет, как только я заново раскрашусь *оното*. Однако сколько я ни пыталась приободриться, я не в силах была унять нарастающего недоверия. Мой разум и тело напряглись в какомто смутном предчувствии, которого не выразить словами.

Воздух стал зябким. Наклонившись, я подтолкнула полено ближе к огню.

— В горах будет еще холоднее, — негромко вымолвил Ирамамове. — Я приготовлю напиток из растений, который нас согреет.

Приободрившись от его слов, я начала усиленно и глубоко дышать, отгоняя от себя всякие мысли, пока не перестала воспринимать ничего, кроме шелеста дождя, прогретого дымом воздуха и запаха влажной земли. Так я и заснула спокойным тихим сном до самого утра.

Утром мы искупались в реке и раскрасили друг другу лица и тела пастой *оното*. Ирамамове дал мне четкие указания, какими узорами его раскрасить: извивающаяся линия со лба должна была спускаться до челюстей и затем вокруг рта; один круг между бровями, круги в уголках глаз и по одному на щеках. На груди он захотел иметь волнистые линии, спускающиеся до пупка, а на спине — прямые линии. Меня же он с чуть насмешливой улыбкой разрисовал с головы до ног одинаковыми кругами.

— Что они означают? — нетерпеливо спросила я.

Ритими никогда меня так не раскрашивала.

— Ничего, — ответил он, смеясь. — Просто так ты не выглядишь такой тощей.

Поначалу подъем по узкой тропе был довольно легким.

В подлеске не было ни острой, как пила, травы, ни колючих кустов. Теплый туман пеленой окутывал лес, творя полупрозрачный свет, сквозь который верхушки высоких пальм казались свисающими с небес. Шум водопадов призрачным эхом раздавался в туманном воздухе, и всякий раз, когда я задевала ветку или лист, на меня сыпались капельки влаги. Однако послеполуденный дождь превратил тропу в раскисший кошмар. Я то и дело разбивала пальцы о корни и камни, спрятанные в жидкой грязи.

Мы устроили привал, когда день стал клониться к вечеру, на полпути к вершине. Совершенно измученная, я села на землю и стала смотреть, как Ирамамове забивает колья в землю. У меня не было сил, чтобы помочь ему накрыть треугольное сооружение пальмовыми листьями.

— Ты будешь возвращаться в *шабоно* этим же путем? — спросила я, недоумевая, почему он так основательно укрепляет хижину. Для пристанища на одну ночь она выглядела даже слишком крепкой.

Ирамамове только покосился на меня, но ничего не ответил.

— Сегодня ночью будет гроза? — уже раздраженно спросила я.

Неудержимая улыбка заиграла на его губах, а в лице появилось что-то детское, когда он присел со мной рядом.

Лукавая искорка, словно он затеял какую-то проделку, светилась в его глазах. — Сегодня ты хорошо будешь спать, — наконец сказал он и принялся разводить огонь в уютной хижине. Мой гамак он повесил у задней стенки, свой — поближе к узкому выходу. — Сегодня мы не почувствуем холода, — сказал он, ища глазами сосуд с измельченными листьями и бледно-желтыми цветами какого-то растения, найденного им накануне на прогретых солнцем скалах у речного берега. Он открыл калабаш, плеснул туда воды и поместил его над огнем. Затем он тихо запел, не сводя глаз с темной кипящей жидкости.

Пытаясь разобрать слова его песни, я уснула, но вскоре он меня разбудил. — Выпей это, — велел он, поднося сосуд к моим губам. — Его остудила горная роса.

Я сделала глоток. Вкус был как у травяного чая, горьковатый, но не слишком неприятный. После нескольких глотков я оттолкнула калабаш.

— Выпей все, — стал уговаривать меня Ирамамове. — Это тебя согреет. Ты целыми днями будешь спать.

— Целыми днями? — я выпила все до дна, посмеиваясь над его словами как над шуткой,

хотя мне почудилось, что он произнес это с заганенным коварством. Но пока до меня окончательно дошло, что он и не думает шутить, по всему телу растеклось приятное оцепенение, перетопившее мою тревогу в успокоительную тяжесть, от которой голова так налилась свинцом, что, казалось, вот-вот отвалится. Представив, как она, словно шар со стеклянными глазами, покатится по земле, я судорожно расхохоталась.

Присев у костра, Ирамамове наблюдал за мной со все нарастающим любопытством. А я медленно поднялась на ноги. Я утратила свою физическую сущность, подумала я.

Попытавшись двинуться с места, я поняла, что ноги меня не слушаются, и удрученно плюхнулась на землю рядом с Ирамамове. — Ты почему не смеешься? — спросила я, удивляясь собственным словам. На самом-то деле я хотела узнать, не означает ли лopotание дождя по крыше, что пришла гроза. Я тут же засомневалась, действительно ли я что-то сказала, ибо отголоски слов звенели у меня в голове, как дальнее эхо. Боясь пропустить ответ, я подсела к Ирамамове поближе.

Тишину прорезал крик ночной обезьяны, и лицо его напряглось. Ноздри раздулись, полные губы сжались в прямую линию. Он впился в меня глазами, которые становились все больше. В них светилось глубокое одиночество и еще нежность, такая неожиданная на его суровом, похожем на маску лице.

Словно приведенная в движение неким неповоротливым механизмом, я с огромным трудом подползла к порогу хижины. Мои сухожилия будто кто-то заменил эластичными струнами. Я с удовольствием чувствовала, что могу растянуться в любом направлении, принять самые нелепые, самые невообразимые позы.

Из висящего на шее мешочка Ирамамове отсыпал на ладонь *эпену*, глубоко втянул галлюциноген в ноздри и запел. Я ощутила его песню в себе и вокруг себя, почувствовала ее мощное притяжение. Без тени сомнения я отпила еще из сосуда, который он поднес к моим губам. Темное варево больше не горчило.

Мое ощущение времени и пространства совершенно перекошилось. Ирамамове и костер оказались так далеко, что меня одолел страх потерять их в ставшей необъятной хижине. И сразу же его глаза так приблизились к моим, что я увидела свое отражение в их темных зрачках. Меня сокрушила тяжесть его тела, руки сами сложились у него под грудью. Он шептал мне что-то на ухо, но я не слышала.

Ветерок развел листья в стороны, и открылась полная теней ночь, деревья касались верхушками звезд, бесчисленных звезд, собравшихся в кучу, словно готовых вот-вот упасть.

Я протянула руку; рука схватила листья в алмазах капель.

На мгновение они повисли у меня на пальцах, а потом исчезли, как роса.

Тяжелое тело Ирамамове держало меня; его глаза сеяли во мне зерна света; его нежный голос звал меня за собой сквозь сны дня и ночи, сны дождевой воды и горькой листвы. В его пленившем меня теле не было ничего от насилия. Наслаждение волнами сливалось с видениями гор и рек, тех дальних краев, где обитают *хекуры*. Я плясала с духами зверей и деревьев, скользя с ними в тумане мимо корней и стволов, мимо веток и листьев. Я подпевала голосам птиц и пауков, ягуаров и змей. Я разделяла сны тех, кто живет *эпенной*, горькими цветами и листьями.

Я уже не знала, сплю я или бодрствую. Временами мне смутно вспоминались слова Хайямы о шаманах, телам которых необходимо женское начало. Но эти воспоминания были расплывчатые и скоротечные, оставаясь глухими неуверенными предчувствиями. А Ирамамове всегда чутко улавливал, когда я готова погрузиться в настоящий сон, когда у меня на кончике языка повисали вопросы, а когда я вот-вот заплачу.

— Если ты не можешь видеть сны, я тебя заставлю, — сказал он, обнимая меня и отирая мне слезы своей щекой.

И вся моя решимость отказаться пить из сосуда, который подобно лесному духу стоял у огня, исчезла без следа. Я жадно выпила темное, приносящее видения зелье и снова повисла в безвременье, которое не было ни днем, ни ночью.

И снова я влетела в ритм дыхания Ирамамове, в биение его сердца, сливаясь со светом и тьмой внутри него.

Время вернулось ко мне, когда я почувствовала, что как-то перемещаюсь сквозь листву, деревья и неподвижные лианы подлеска. Я знала, что не иду сама, и тем не менее я спускалась из холодного, погруженного в туман леса.

Ноги мои были связаны, а голова безвольно болталась, словно сосуд, выпитый до дна. Видения вытекали из моих ушей, носа и рта, оставляя тонкий след капель на крутой тропе. И напоследок передо мной всплыли образы *шабоно*, в которых жили мужчины и женщины-шаманы из иных времен.

Когда я проснулась, Ирамамове сидел у костра. На лице его играли огненные блики и слабый свет луны, заглядывавшей в хижину. И я подумала, сколько же дней миновало с той ночи, когда он в первый раз дал мне горькое зелье. Сосуда у костра не было. В том, что мы уже не в горах, я не сомневалась. Ночь была безоблачна. Тихий ветерок, шелестящий в кронах деревьев, расплел мои мысли, и я уплыла в сон без сновидений под монотонные песни Ирамамове к *хекурам*.

Меня разбудило сильное урчание в животе. Неуверенно встав на ноги в пустой хижине, я почувствовала головокружение. Все мое тело было разрисовано волнистыми линиями. Как странно все это было, подумала я. Сожалений не было; не было ни ненависти, ни отвращения. И вовсе не потому, что все мои чувства как бы оцепенели.

Скорее у меня было состояние, которое испытываешь, пробудившись ото сна, значения которого не можешь объяснить.

У огня лежал сверток с жареными лягушками. Сев на землю, я стала дочиста обгладывать тонкие косточки. Стоящее у одного из шестов мачете означало, что Ирамамове где-то поблизости.

Ориентируясь на журчание реки, я стала пробираться сквозь лесную чащу. Внезапно заметив, как Ирамамове совсем близко от меня прибывает к берегу маленькое каноэ я спряталась в кустарнике. По виду суденышка я определила, что оно сделано индейцами Макиритаре. Я уже видела в миссии такие лодки, выдолбленные из древесного ствола. При мысли о том, что мы, возможно, находимся совсем близко от какой-нибудь их деревни или далее от миссии, сердце застучало быстрее. Ирамамове не подавал виду, что как-то заметил мое появление, и я украдкой вернулась к хижине, недоумевая, где он мог раздобыть каноэ.

Не прошло и минуты, как с перекинутым на лиане за спину увесистым свертком в хижину вошел Ирамамове. — Рыба, — сказал он, сбрасывая сверток на землю.

Я покраснела и смущенно рассмеялась. А он неторопливо разложил завернутую в листья рыбу между угольями, следя за тем, чтобы жара было достаточно, но огонь не задевал листья *платанийо*. Он так и остался сидеть у костра, целиком поглощенный поджариванием рыбы. Как только испарилась последняя влага, он с помощью раздвоенной палочки убрал сверток с огня и раскрыл его. — Хорошо, — сказал он, отправляя пригоршню крошащегося белого мяса в рот, и подвинул сверток ко мне.

— Что произошло в горах? — спросила я.

Вздвигнув от моего воинственного тона, он так и остался сидеть с раскрытым ртом. Непрожеванный кусок рыбы выпал в золу. Он автоматически, не счистив налипшей грязи, сунул его обратно в рот и потянулся за лежащей на земле лианой.

Меня охватил неудержимый страх. Я не сомневалась, что Ирамамове сейчас свяжет меня и

унесет в лесные дебри.

Куда подевалась моя недавняя уверенность, что мы находимся совсем рядом с деревней Макиритаре или даже с миссией. Я была лишь в состоянии думать о рассказе Хайямы о шаманах, прятавших похищенных ими женщин в лесной глуши. Я уже не сомневалась, что Ирамамове никогда не отведет меня в миссию. Мысль о том, что пожелай он спрятать меня где-то в лесу, он не стал бы приносить меня с гор сюда, в тот момент как-то не пришла мне в голову.

Я уже не верила ни его улыбке, ни ласковому блеску в глазах. Взяв стоящий у огня калабаш с водой, я протянула его ему. Он с улыбкой отложил веревку. Я подвинулась ближе, будто собираясь поднести сосуд к его губам, но вместо этого изо всех сил врезала ему между глаз. Захваченный врасплох, он упал навзничь, глядя на меня с немым изумлением, а кровь с обеих сторон потекла у него по носу.

Не обращая внимания на колючки, корни и острые клинки травы, я рванулась сквозь заросли к тому месту, где видела каноэ. Однако я неверно рассчитала, куда Ирамамове его привязал, и добежав до реки, не увидела ничего, кроме разбросанных вдоль берега камней. Суденьшко оказалось выше по течению. Я запрыгала с камня на камень с ловкостью и быстротой, каких в себе не подозревала, и с трудом переводя дух, повалилась на землю рядом с каноэ, наполовину вытащенным на берег. Увидев стоящего передо мной Ирамамове, я не смогла сдержать крика.

Он присел и рассмеялся, широко раскрыв рот. Хохот накатывал на него порывами и так сотрясал все тело с головы до ног, что подо мной задрожала земля. Слезы катились у него по щекам и смешивались с кровью из рассеченного лба. — Ты забыла это, — сказал он, помахав рюкзаком у меня перед носом, потом открыл его и подал мне джинсы и рваную майку. — Сегодня ты доберешься до миссии.

— Это та река, на которой стоит миссия? — спросила я, глядя в его окровавленное лицо. — Я не узнаю этого места.

Ты была здесь с Анхеликой и Милагросом, — заверил он меня. Дожди так же меняют лицо лесов и рек, как облака меняют лицо неба.

Я надела джинсы; они мешковато повисли, грозя свалиться с бедер. Сырая, пропахшая плесенью майка заставила меня расчихаться. Почувствовав неловкость, я подняла неуверенный взгляд на Ирамамове: — Как я выгляжу? Он обошел меня кругом и придирчиво осмотрел со всех сторон. Затем, после минутного размышления, снова присел и со смехом произнес: — Ты лучше выглядишь в раскраске из оното.

Я присела возле него. Ветра не было; на реке все словно замерло. Тени высоких деревьев тянулись над водой, ложась не песок у наших ног. Я хотела извиниться за то, что разбила ему калабашем лицо, и объяснить свои подозрения.

Я хотела, чтобы он рассказал мне о днях, проведенных в горах, но мне не хотелось прерывать молчание.

Словно зная, в каком я затруднении, и забавляясь этим, Ирамамове уткнулся лицом в колени и тихо засмеялся, как бы деля свое веселье с каплями крови, падающими между широко расставленными пальцами ног. — Я хотел взять себе *хекуры*, которые однажды видел в твоих глазах, — негромко промолвил он. И дальше он рассказал, что не только он сам, но и старый *шапори* Пуривариве видел во мне *хекур*. — Всякий раз, когда я лежал с тобой и чувствовал, какая в тебе бурлит энергия, я надеялся переманить духов в свою грудь, — сказал Ирамамове. — Но они не захотели тебя покинуть. — Он обратил на меня протестующий взгляд. — *Хекуры* не пожелали откликнуться на мой зов; не пожелали прислушаться к моим песням. А потом я испугался, что ты можешь забрать *хекур* из моего тела.

Гнев и невыразимая печаль на мгновение лишили меня дара речи. — Мы пробыли в горах

больше суток? — наконец спросила я, ибо любопытство все же взяло во мне верх.

Ирамамове кивнул, но не сказал, как долго мы пробыли в хижине. — Когда я убедился, что не смогу изменить твоего тела, когда понял, что *хекуры* ни за что тебя не покинут, я отнес тебя на лямках сюда.

— А если бы ты изменил мое тело, ты бы держал меня в лесу? Ирамамове застенчиво посмотрел на меня. Губы его разомкнулись в улыбке облегчения, но глаза туманило смутное сожаление. — В тебе обитает душа и тень Иतिकотери, — тихо промолвил он. — Ты ела пепел наших мертвых. Но у тебя тело и голова *напе*. — И молчание выделило эту последнюю фразу, прежде чем он добавил: — Впереди у меня ночи, когда ветер принесет твой голос вместе с голосами обезьян и ягуаров. И я увижу, как твоя тень пляшет на земле в пятнах лунного света. В такие ночи я буду думать о тебе. Он встал и толкнул каноэ в воду. — Держись поближе к берегу — не то течение понесет тебя слишком быстро, — сказал он, давая мне знак сесть в лодку.

— А ты не поедешь? — встревоженно спросила я.

— Это хорошее каноэ, — сказал он, подавая мне весло.

У него была красивой формы ручка, круглое древко и овальная лопасть в форме остроконечного вогнутого щита. — В нем ты спокойно доберешься до миссии.

— Подожди! — воскликнула я, прежде чем он отпустил лодку, и дрожащими руками стала раздвигать непослушный замок бокового кармана рюкзака. Достав кожаный мешочек, я подала его ему. — Ты помнишь камень, который дал мне шаман Хуан Каридад? — спросила я. — Теперь он твой.

Его потрясенное и изумленное лицо на мгновение застыло. Пальцы его медленно сжали мешочек, а лицо смягчилось в улыбке. Ни слова не говоря, он толкнул каноэ в воду и, сложив на груди руки, смотрел, как меня относит течение. Я часто оглядывалась, пока он не скрылся из виду. В какой-то момент мне показалось, что я все еще вижу его фигуру, но это лишь играющий тенями ветер подшутил над моими глазами.

Деревья по обоим берегам и ползущие по небу облака затеняли реку. Желая сократить промежуток времени между тем миром, который остался в прошлом, и тем, который поджидал меня впереди, я гребла изо всех сил. Однако вскоре я устала, и теперь только отталкивалась веслом, когда течение заносило меня слишком близко к берегу.

Временами река светлела, и тогда буйная зелень отражалась в ней неестественно ярко. В лесном сумраке и глубокой тишине вокруг меня было что-то навевающее покой.

Деревья, казалось, прощально мне кивали, слегка кланяясь на послеполуденном ветру, а может быть, они только оплакивали уход еще одного дня и угасание последних лучей солнца на небе. Незадолго до того, как сгустились сумерки, я подвела каноэ к противоположному берегу, где заметила среди черных скал песчаные проплешины.

Как только лодка врезалась в песок, я выпрыгнула из нее и вытащила каноэ на сушу, поближе к лесной опушке, где свисающие лианы и ветки образовали укромное убежище. Оглянувшись на дальние горы, уже фиолетовые в наступивших сумерках, я подумала, что провела там, пожалуй, не меньше недели, прежде чем Ирамамове принес меня в хижину, где я проснулась этим утром. Взобравшись на самую высокую скалу, я окинула окрестности взглядом в надежде увидеть огни миссии. Должно быть, она дальше, чем рассчитывал Ирамамове, подумала я. Одна лишь темнота, выползая из реки, медленно взбиралась на скалы по мере того, как в небе таяли последние следы солнца. Я проголодалась, но не рискнула обследовать песчаный берег в поисках черепаших яиц.

Лежа в каноэ, я никак не могла решить, то ли мне положить рюкзак под голову, как подушку, то ли укутать им озябшие ноги. Сквозь густое сплетение ветвей я видела прозрачное небо, полное бесчисленных крошечных звезд, сверкающих, словно золотые пылинки. Упрятав ноги в рюкзак и уплывая в сон, я надеялась, что мои чувства, как свет звезд, дойдут до тех, кого я любила в этой лесной глуши.

Вскоре я проснулась. Воздух звенел криками сверчков и лягушек. Я села и огляделась, словно взглядом могла разогнать темноту. Потоки лунного света сочились сквозь полог ветвей, разрисовывая песок причудливыми тенями, оживающими при малейшем шорохе ветра. Даже закрыв глаза, я остро чувствовала, как эти тени задевают каноэ.

Стоило сверчку прервать свое неумолчное стрекотание, как я открывала глаза и ждала, пока он запоет снова. Наконец рассвет заставил смолкнуть все крики, шорохи и посвисты ночного леса. Окутанные туманом листья были как бы осыпаны тончайшей серебряной пылью.

Над деревьями взошло солнце, окрасив облака в оранжевый, пурпурный и розовый цвета. Я выкупалась, выстирала одежду мелким речным песком, разложила ее для просушки на каноэ и раскрасила себя пастой *оното*.

Я была даже рада, что не добралась до миссии накануне, как надеялась поначалу, и что у меня еще есть время посмотреть, как облака изменяют облик неба. На востоке, омрачая горизонт, громоздились тучи. Вдали сверкали молнии, спустя долгое время доносились громовые раскаты, и белые полосы дождя неслись по небу на север, значительно опережая меня. Я подумала, не греются ли где-нибудь здесь на солнышке аллигаторы среди разбросанного на песке плавника. Немного проплыв дальше, я вынеслась на широкий разлив вод. Течение стало таким сильным, что я с большим трудом уводила лодку от водоворотов на мелководье у каменистых берегов.

На какое-то мгновение я решила, что мне привиделся длинный долбленный челнок, пробирающийся против течения вдоль другого берега. Я встала во весь рост, отчаянно замахала

майкой и расплакалась от радости, увидев, как челнок направляется ко мне через водную ширь. С хорошо рассчитанной точностью тридцатифутовое каноэ пристало к берегу всего в нескольких шагах от меня.

Из каноэ, улыбаясь, выбрались двенадцать человек — четыре женщины, четверо мужчин и четверо детей. Они странно выглядели в своей цивилизованной одежде и с лицами в пурпурных узорах. Их волосы были острижены, как мои, но макушки не были выбриты.

— Макиритаре? — спросила я.

Женщины закивали, прикусив губы, словно пытались сдержать смешок. Потом их подбородки дрогнули, и они разразились неудержимым хохотом, которому стали вторить мужчины. Я поспешно натянула джинсы и майку.

Самая старшая из женщин подошла поближе. Она была невысока ростом, коренаста, ее платье без рукавов открывало круглые толстые руки и длинные груди, свисавшие до самого пояса. — Ты та самая, что ушла в лес со старухой Иतिकотери, — сказала она, словно встретить меня плывущей по реке в челноке, сделанном ее народом, было самым обычным в мире делом. — Мы знаем о тебе от отца в миссии. — После официального рукопожатия старуха познакомила меня со своим мужем, тремя дочерьми, их мужьями и детьми.

— Мы недалеко от миссии? — спросила я.

— Мы выехали оттуда ранним утром, — сказал муж старухи. — Мы навещали родственников, которые живут неподалеку.

— Она стала настоящей дикаркой, — воскликнула младшая из дочерей, указывая на мои изрезанные ноги с таким возмущенным видом, что я едва удержалась от смеха. А та обыскала мое каноэ и потрясла пустым рюкзаком. — У нее нет обуви, — изумленно сказала она. — Она настоящая дикарка! Я посмотрела на ее босые ноги.

— Наша-то обувь лежит в каноэ, — заявила она и принялась доставать из лодки целую кучу разнообразной обуви. — Видишь? У нас всех есть обувь.

— У вас есть какая-нибудь еда? — спросила я.

— Есть, — заверила меня старуха, попросив дочь отнести обувь в лодку и подать один из лубяных коробов.

Короб, изнутри выстланный листьями *платанийо*, был полон маниоковых лепешек. Я набросилась на еду, с нежностью макая кусок за куском в калабаш с водой, прежде чем отправить его в рот. — Мой желудок полон и счастлив, — сказала я, наполовину опустошив короб.

Макиритаре выразили сожаление, что у них нет с собой мяса, а есть лишь сахарный тростник. Старик отрубил кусок длиной в фут, снял с помощью мачете кору, похожую на кору бамбука, и подал его мне. — Он придаст тебе силы, — сказал он.

И я принялась жевать и высасывать белые жесткие волокна, пока они не стали совсем сухими и безвкусными.

Макиритаре слышали о Милагросе. Один из зятьев знал его лично, но никто из них не знал, где он сейчас.

— Мы отвезем тебя в миссию, — сказал старик.

Я слабо попыталась втолковать ему, что им нет никакой необходимости возвращаться назад, но убежденности в моих словах было маловато, так что я быстро забралась в их лодку, усевшись среди женщин и детей. Чтобы воспользоваться мощным течением, мужчины вывели каноэ на самую середину реки. Они гребли, не говоря друг другу ни слова, но ритм одного так был согласован с ритмом другого, что они заранее предугадывали движения соседа. И я вспомнила слова Милагроса о том, что Макиритаре — это не только самые лучшие строители лодок на всем Ориноко, но и самые искусные гребцы.

Усталость тяжело навалилась мне на глаза. Ритмичный плеск весел нагнал на меня такую дремоту, что я то и дело клевала носом. Безвозвратно ушедшие дни и ночи проплывали у меня в мозгу, как обрывки снов из иного времени.

Все уже казалось таким смутным, таким далеким, словно мираж.

Был уже полдень, когда меня разбудил отец Кориолано, войдя в комнату с кружкой кофе. — Восемнадцать часов сна — неплохо для начала, — сказал он. В его улыбке была та же ободряющая теплота, как и тогда, когда он встретил меня у лодки Макиритаре.

С глазами, в которых еще клубился сон, я села на полотняной койке. Спина затекла от долгого лежания. Я маленькими глотками стала медленно тянуть горячий черный кофе, такой крепкий и сладкий, что меня даже немного затошнило.

— У меня еще есть шоколад, — сказал отец Кориолано.

Я одернула на себе ситцевую сорочку с чужого плеча и отправилась вслед за ним на кухню. С видом шеф-повара, готовящего замысловатое блюдо, он смешал в кипящей на керосинке кастрюльке с водой две чайные ложки сухого молока, две — порошкового шоколада «Нестле», четыре ложки сахара и несколько крупинок соли.

Он вылил недопитый мною кофе, пока я пила с ложечки божественно вкусный шоколад. — Я могу передать по радио вашим друзьям в Каракасе, чтобы они забрали вас своим самолетом, когда вы захотите.

— О, пока не надо, — еле слышно сказала я.

Дни ползли за днями. По утрам я бесцельно бродила у огородов вдоль реки, а в полдень усаживалась в тени большого, уже не плодоносящего мангового дерева вблизи часовни. Отец Кориолано не спрашивал меня ни о планах, ни о том, как долго я еще намерена пробыть в миссии. Казалось, он воспринимал мое присутствие как неизбежность.

По вечерам я целыми часами беседовала с отцом Кориолано и часто заходившим на огонек мистером Бартом. Мы говорили об урожае, о школе, о диспансере, словом, на самые нейтральные темы. Я была рада, что ни один из них не расспрашивал меня, где я пробыла больше года, что я там делала или что видела. Я все равно не смогла бы им ответить — и не потому, что хотела сохранить это в секрете, а потому, что мне просто нечего было сказать. Если темы для разговора исчерпывались, мистер Барт читал нам статьи из газет и журналов примерно двадцатилетней давности. Независимо от того, слушали мы или нет, он трещал без умолку сколько хотел, то и дело громко хохоча.

Но несмотря на весь их юмор и приветливость, бывали вечера, когда и на их лица напознала тень одиночества, и мы сидели, молча прислушиваясь к лopotанию дождя по ржавой крыше или крику обезьяны-ревуна, устраивающейся на ночлег. В такие минуты я задавалась вопросом, не прикоснулись ли и они когда-то к тайнам леса, — тайнам окутанных туманом пещер, к тихому журчанию древесного сока, бегущего по ветвям и стволам, не прислушивались ли к паукам, прядущим свою серебристую паутину? В такие минуты я задумывалась, не об этом ли предупреждал меня отец Кориолано, когда говорил об опасностях, подстерегающих в лесу? И не это ли, думала я, удерживает их от возвращения в некогда покинутый ими мир? По ночам, в четырех стенах комнаты, я ощущала необъятную пустоту. Мне очень не хватало скученности хижин, запаха людей и дыма. Журчание реки под окном уносило меня в сны, где я снова оказывалась у Итикотери.

Я слышала смех Ритими, видела улыбающиеся лица детей, и был еще неизменный Ирамамове, который, сидя на корточках у порога хижины, призывал к себе ускользнувших от него *хекур*.

Как-то раз я шла вдоль берега, и меня вдруг охватила неумемная печаль. Река громко шумела, заглушая голоса болтавших неподалеку людей. В полдень прошел дождь, и теперь солнце лишь

проглядывало сквозь ключья облаков, не припекая в полную силу. Бесцельно бродя по песчаному берегу, я заметила вдалеке одинокую фигуру идущего мне навстречу человека. В своих защитного цвета штанах и красной клетчатой рубашке он был неотличим от любого другого цивилизованного индейца в миссии. Но в его вальяжной походке было что-то неуловимо знакомое.

— Милагрос! — закричала я и стала ждать, пока он ко мне подойдет. Его лицо казалось незнакомым под потрепанной соломенной шляпой, сквозь которую, будто выкрашенные в черный цвет пучки пальмовых волокон, пробивались пряди волос. — Я так рада, что ты пришел.

Улыбнувшись, он дал мне знак присесть рядом и провел ладонью по моей макушке. — Волосы у тебя отросли, — заметил он. — Я знал, что ты не уедешь, пока не повидеешься со мной.

— Я возвращаюсь в Лос-Анжелес, — сказала я.

Я так много хотела у него спросить, но сейчас, когда он был рядом со мной, я как-то не видела надобности в объяснениях. Мы смотрели, как над рекой и лесом растекаются сумерки. Темноту наполнили крики лягушек и сверчков.

На небо взошла полная луна. Забираясь все выше, она становилась все меньше и заливала реку серебристой рябью. — Как сон, — тихо вымолвила я.

— Сон, — повторил Милагрос. — Сон, который будет сниться тебе всегда. Сон о переходах по лесу, о смехе и о печали. — И после долгого молчания он заговорил снова: — Даже если твое тело утратило наш запах, какая-то частица тебя навсегда сохранит кусочек нашего мира, — с этими словами он махнул рукой куда-то вдаль. — Ты никогда не освободишься от этого.

— Я даже не поблагодарила их, — сказала я. В твоём языке нет слова «спасибо».

— Нет в нём и слова «прощай», — добавил он.

Что-то холодное, как капля дождя или росы, коснулось моего лба. Когда я оглянулась, Милагроса рядом уже не было. Из-за реки, из темной дали ветер донес смех Иतिकотери.

— Слово «прощай» говорится глазами. — Голос прошелестел в старых деревьях и растаял, как серебристая рябь на воде.

Ашукамаки (*Ah shuh kah mah kee*) — лиана, используемая для придания густоты яду кураре.

Айори-тото (*Ah yo ree toh toh*) — лиана, используемая как яд для рыбы.

Эпена (*Eh pen nah*) — галлюциногенный нюхательный порошок, изготавливаемый либо из коры дерева эпена, либо из семян дерева хисиома. Оба эти вещества изготавливаются и принимаются внутрь одинаковым способом.

Хекуры (*Heh kuh rahs*) — крошечные человекоподобные духи, обитающие в скалах и горах. Шаманы вступают в контакт с хекурами, вдыхая галлюциногенный порошок эпену. Посредством заклинаний шаманы заманивают хекур к себе в грудь. Преуспевающие шаманы подчиняют хекур своей воле.

Мамукори (*Mah tuh ko ree*) — толстая лиана, используемая для приготовления яда кураре.

Момо (*Moh moh*) — съедобные семена, похожие на орехи.

Набруши (*Nah bru shee*) — шестифутовая боевая палица.

Напе (*Nah peh*) — чужеземец. Всякий, кто не является индейцем, независимо от цвета кожи, расовой или национальной принадлежности.

Око-шики (*Oh koh shee kee*) — волшебные растения, применяемые с целью нанесения вреда.

Оното (*Oh no toh*) — красный растительный краситель, получаемый из толченых семян растения *Vixa orellana*. Краска используется для украшения лица и тела, равно как и корзин, наконечников стрел и иных украшений.

Пишаанси (*Pee sha kah see*) — широкие листья, используемые либо для заворачивания мяса, либо при приготовлении еды, либо как тара.

Платанийо (*Plah tah neeyo*) — крупный, широкий, твердый лист, используемый в качестве оберточного материала либо как подстилка.

Похоро (*Ph oh roh*) — дикорастущее какао.

Раша (*Rah sha*) — возделываемая персиковая пальма со стволом, усеянным колючками. Высоко ценится за плоды, плодоносит пятьдесят и более лет. После бананов это, пожалуй, наиболее важное растение на индейских огородах.

Такая пальма принадлежит тому, кто ее посадил.

Шабано (*Sha boh noh*) — долговременное поселение индейцев Яномама в виде кольца из хижин с открытым пространством посередине.

Шапори (*Sha poh ree*) шаман, знахарь, колдун.

Унукаи (*Uh nuh kah ee*) — человек, который убил врага.

Ваитери (*Wah ee teh ree*) — храбрый, мужественный воин.

